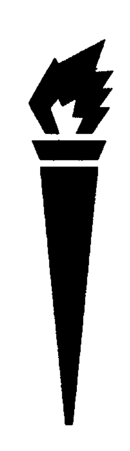
Жизнь ®
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Серия биографий

Основана в 1890 году
Ф. Павленковым
и продолжена в 1933 году
М. Горьким



ВЫПУСК

1212

(1012)

Ольга Семенова

ЮЛИАН СЕМЕНОВ

МОСКВА
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ
2006

УДК 821.161.1.0(092)
ББК 83.3(2Рос=Рус)6
С 30

ISBN 5-235-02924-0

ПРЕДИСЛОВИЕ

О том, что Юлиан Семенов — выдающийся писатель, создатель жанра политического детектива у нас в стране, говорят его книги, переведенные на многие языки и прочитанные миллионами людей, сценарии кинофильмов, которые просмотрели миллионы кино- и телезрителей в десятках стран мира. Достаточно назвать только сериал «Семнадцать мгновений весны», повторяемый по телевидению из года в год.

Но не только литературный талант сделал Юлиана Семенова знаменитым автором. Он был широкообразованным человеком. Если бы Юлиан Семенов не был писателем, он мог бы стать и выдающимся дипломатом, и разведчиком, и политическим деятелем.

Еще одна черта, отличающая Юлиана Семенова, — это отсутствие конъюнктурного подлаживания под события, это неизменная принципиальность в оценке происходящего.

Я был дружен с Юлианом Ляндресом (Семеновым) еще со студенческих времен. И никогда не забуду, как он смело, пренебрегая угрозами, требованиями прекратить писать «во все инстанции», боролся за освобождение своего отца, арестованного по политическому обвинению в начале 50-х годов. Он поплатился — такие уж были времена — за это исключением с пятого курса института. Потом справедливость восторжествовала, и Юлиан окончил Московский институт востоковедения.

Много дней мы провели вместе с моим другом в разговорах о настоящем и будущем нашей страны. Он хорошо видел теневые стороны тогдашней жизни, но никогда не замыкался в них, оставался настоящим патриотом. Эта любовь к своей стране, к людям, отдающим свои силы и знания ради ее благополучия, прошла через все его книги.

Академик Е. Примаков

ДЕТСТВО

Осенним днем 1931 года в приемном покое роддома на Землянке не находил себе места худой бледный молодой человек с тонким профилем и взъерошенными черными волосами. Вечером к нему вышел врач, подбодрил: «Не волнуйтесь, товарищ Ляндрес, все идет нормально. Вы бы сходили домой, отдохнули». — «Ничего, я посижу», — слабо улыбнулся тот. На следующее утро медик не лукавил: «Ребенка спасти не удастся, будем вытаскивать вашу жену, она слабеет на глазах». Младенца щипцевали, не особо ожидая результата, шлепнули по попе, а он возьми и закричи.

«Вот так, девочка, и появился на свет твой отец», — торжественно заканчивала моя бабушка, Галина Николаевна Ноздрина, судорожно вздохнув. Эту историю она рассказывала мне часто, с удовольствием описывая свои мучения и наслаждаясь произведенным эффектом. По семейной легенде в тот же день, 8 октября, привезли в роддом жену английского посла на сносях. Она тоже разродилась мальчиком, и их положили в соседнюю палату. Это совпадение впоследствии служило папе поводом для розыгрышей, на которые он был мастер:

— Неудивительно, что я так хорошо говорю по-английски — родной язык.

— ?

— Нас в роддоме поменяли местами: советского младенца увезли в посольство, а английского, меня то бишь, отдали родителям-коммунистам.

— Зачем?! — изумленно спрашивала я, а затем и другие одураченные.

— Девочка, — говорил он заговорщически тихо, вибрирующе-грудным голосом, подражая Галине Николаевне, навсегда напуганной сталинским режимом, — еще не все можно рассказать.

Потрясенный слушатель замолкал, а отец разражался

раскатистым, заразительным хохотом: никогда не встречала кого-либо, умеющего так добро смеяться...

Папин отец — Семен Александрович Ляндрес работал заместителем Бухарина в газете «Известия», часто оставался в редакции до рассвета. Галина Николаевна преподавала историю в школе, а по вечерам допоздна засиживалась в библиотеках — готовилась к очередному заочному экзамену (была помешана на учебе, постоянно заочно училась) или повышала квалификацию. Дом держала ее мама, Евдокия Федоровна — набожная, добрая, чистоплотная, хозяйственная. Все звали ее баба Дуня. Из мещанок, восемнадцатилетней девочкой она влюбилась в мелкопоместного дворянина. Тот обещал жениться, проволочку со сватовством объяснял необходимостью подготовить к неравному браку родителей, а когда Евдокия Федоровна поняла, что ждет ребенка, явился с тонким золотым кольцом на безымянном пальце.

— Что это? — растерянно спросила она.

— Дунечка, родители заставили меня обручиться с другой, но поверьте, я вас по-прежнему люблю, наши отношения...

Худенькая Евдокия Федоровна, не дослушав, вскочила, высоко подняла стул над головой и тихо сказала:

— Вон отсюда, мерзавец. Немедленно.

...Дело происходило в 1905 году, незаконнорожденный ребенок считался позором для всей семьи. Евдокия Федоровна уехала со своей старой няней в Москву и устроилась работать телефонисткой. Родившуюся девочку назвала Галиной. В телефонистки тогда брали только барышень, поэтому существование ребенка держалось в тайне...

Как-то няня вывела пятилетнюю Галочку на прогулку недалеко от работы Евдокии Федоровны. Та, закончив смену, вышла на улицу вместе со строгой пожилой начальницей.

«Мамочка!» — весело закричала Галя, увидев издалека мать, и кинулась к ней на шею, бросив няню. Начальница, вооружившись моноклем, с неодобрительным изумлением разглядывала ребенка.

— Насколько я понимаю, это ваша дочь, сударыня? — сурово спросила она.

— Что вы, это моя крестница! — неожиданно для самой себя соврала Евдокия Федоровна. — Малышка так ко мне привязана, что при встрече всегда называет мамой.

После этого случая няня с Галей гуляли от маминой работы как можно дальше.

В 14-м году Евдокия Федоровна вышла замуж и родила второго ребенка — дочку Люсеньку. Когда грянула револю-

ция, муж хотел увезти всю семью за границу, но Евдокия Федоровна побоялась отправляться в путешествие с маленьким ребенком. Как и многие, не представляя размаха и последствий наступавших изменений, надеялась, что все уляжется. Муж, прислав несколько отчаянных писем, пропал где-то без вести. Работая за двоих, баба Дуня быстро состарилась, подурнела, но осталась на редкость доброжелательной, спокойной, и девочек своих постаралась вырастить такими же...

Папина мама в детстве была на редкость набожна, каждый день, до школы, затемно, бегая на заутрени. Но после революции обрезала косу, повязала красную косынку и бросилась в новую, сулящую коммунистическое счастье жизнь. Пламенным коммунистом оказался и вошедший в семью Семен Александрович (в тринадцать лет вступил в подпольную комсомольскую ячейку), а вот баба Дуня продолжала, несмотря на укоризненные взгляды молодых, ходить в церковь и тайком жечь лампадку.

Как только родители принесли новорожденного домой и отлучились по делам, она поспешила с внуком в храм, где батюшка окрестил его и дал имя Степан. Узнав о крестинах, родители-атеисты пришли в ужас, немедленно отнесли сына в загс и зарегистрировали под именем Юлиан — в честь императора Юлиана Богоотступника. Несмотря на столь радикальную меру, папа свое первое имя не забыл и дал главному герою нескольких, во многом автобиографических повестей фамилию Степанов. Убежденный социалист (выступал за социализм цивилизованный, европейский, с частной собственностью, бизнесом и открытыми границами, в компартию принципиально не вступал), отец умудрился соединить несоединимое — в его рабочем кабинете в правом углу висела икона Богородицы с младенцем, из левого на всех входящих пытливо смотрели Ленин и Дзержинский. А на полках, среди множества книг на четырех языках, в соседстве с томами Маркса, Ленина, Герцена и Радищева, стояла на видном месте Библия, которую папа, для нашего безбожного времени, знал прекрасно, часто читал и ни одного важного решения в жизни не принимал, с ней не «посоветовавшись» — открывал наугад и читал первую попавшуюся фразу.

В начале тридцатых семья жила в коммунальной квартире на Каланчёвке. В комнате наверху обитал какой-то помешанный на музыке паренек — с раннего утра и до позднего вечера у него трескуче блеял патефон. Сначала маленький папа пронзительно кричал, потом к шуму привык и, как

оказалось, на всю жизнь: как бы громко моя старшая сестра Дарья или я ни «врубали» в течение многих лет сначала «Битлз», потом «Пинк Флойд», затем итальянцев, Майкла Джексона и Мадонну, отец невозмутимо стучал у себя в кабинете на машинке, попыхивая двадцатой или тридцатой за день — спроси его, он и сам не знал, — сигаретой.

Семен Александрович не только с Бухариным работал, но и дружил: вместе сидели по ночам в редакции над выпусками, вместе выбирались с семьями на отдых, на охоту. Николай Иванович Бухарин любил частушки и часто просил Галину Николаевну: «Спойте что-нибудь, Галочка». Бабушка не заставляла себя упрашивать и звонко пела: «С неба звездочка упала цвета голубого; / При тебе люблю тебя, без тебя другого». Очень Николая Ивановича эта незамысловатая песенка веселила.

Однажды, субботней ночью, в редакцию «Известий» позвонил Сталин и попросил Бухарина к телефону. Тот уже ушел домой к маленькому сыну, поэтому ответил Семен Александрович. Сталин хотел внести замечания по выпуску и работе редакции и вызвал его к себе на дачу.

Следующим утром, с радостно бьющимся сердцем, Семен Александрович посадил пятилетнего папу в машину: «Сынок, мы едем к товарищу Сталину!» — и, счастливо улыбаясь, полетел по еще пустой трассе.

На госдаче, оставив папу на травке возле рослых охранников, пошел к «творцу всех наших побед». Сталин работал в саду, вскапывая землю. Деда, тогда двадцатидевятилетнего, встретил дружелюбно, высказал свои замечания по работе газеты, велел не бояться статей с нелицеприятной критикой. Дал указание не понижать, в связи с возросшей популярностью и увеличением тиража газеты, ее стоимость, как предлагал Бухарин, а, наоборот, повысить, а затем неожиданно спросил, есть ли у Семена Александровича дети.

— Есть, сын Юлька.

— Трудно содержать ребенка?

— Нет, товарищ Сталин, не трудно, — ответил дед.

— Могли бы содержать двоих детей?

— Мог бы, товарищ Сталин!

— Ну а троих? Честно отвечайте!

— Конечно, товарищ Сталин, смог бы!

Узнав, что маленький папа сидел один возле машины, Сталин велел его привести. Отец не смог поднять глаз на вождя, потому что торжественное, цепеняще-робкое смущение обуяло его, но он увидел его небольшие руки, ощутил их тепло. Сталин легко поднял отца, посадил его на колени,

погладил по голове и, кивнув на газету, что лежала на плетеном столике, сказал Семену Александровичу:

— Этот номер «Известий» возьмите с собой. Тут есть ряд замечаний по верстке. Может быть, пригодятся Бухарину и Радеку. Счастливой дороги.

Когда был принят указ, запрещающий аборты, дед ликующе говорил всем о мудрости Кобы, всегда сначала советующегося с рядовыми работниками, а потом уж санкционирующего указ государства. Бухарин молчал, грустно улыбаясь. А брат Семена Александровича, работник НКВД Илья, покачал головой:

— Сенька, ты что, как тетерев, заливаешься? Ты хоть знаешь, где аборты запрещают? В католических странах, где последнее слово за церковью. А коммунисты поддерживают женщин, которые выступают за то, чтобы не власть, а они сами решали, как им поступить... Кому охота нищих да несчастных плодить?!

В 36-м году, во время процесса над Каменевым и Зиновьевым, Бухарин с Семеном Александровичем были на Памире. Узнав о приговоре, Николай Иванович отправил Сталину телеграмму с просьбой не приводить его в исполнение — невиданного мужества поступок.

Когда вскоре в «Известиях» напечатали сообщение о их расстреле, лицо Бухарина сделалось желтым, измученным, он лег на землю, взял свечку, зажал ее в руках, сложил их на щуплой груди и, посмотрев на деда, усмехнулся: «Семен, я похож на покойника, а?»

Вскоре Бухарина вывели из Политбюро, Ягода, по указанию Сталина, установил за ним слежку, а потом посадил под домашний арест на сходненской даче, где Семен Александрович и Галина Николаевна его навещали. Через несколько месяцев он был брошен в тюрьму и расстрелян.

Работу в «Известиях» Семен Александрович потерял, из партии его выгнали, не посадили чудом, зато забрали Илью... Отец был уверен и написал об этом в «Ненаписанных романах», что все решилось на авиапараде в Тушине.

Сталин сидел на правительственной трибуне с Молотовым, Кагановичем, Ворошиловым, Микояном и Ежовым. Бухарин приехал с Семеном Александровичем, на трибуну не пошел, остался на поле. Тогда-то к ним и подошел Илья, отвечавший в тот день за деятельность ОРУДа. Наблюдая в бинокль за самолетами, Николай Иванович случайно увидел, что «Усатый» неотрывно рассматривает его в бинокль, и, не оборачиваясь к Семену Александровичу, попросил его отойти. Вскоре Бухарина забрали. Забрали, обвинив в пре-

ступной связи с врагом народа, и Илью. Он был осужден и этапирован в Магадан на рудник «Запятая». Партию арестантов, в которую входил Илья, привезли на рудник зимой. Конвоиры выгрузили их на тридцатиградусном морозе в поле, швырнули брезент, несколько рваных простынь и сказали: «Обустраивайтесь!» Обливая брезент и простыни ледяной водой, моментально застывавшей на холоде, соорудили арестанты несколько палаток — там и жили.

А Семен Александрович и Галина Николаевна каждую ночь ждали неумолимо-настойчивого звонка в дверь. Самым страшным временем было три часа утра — тогда обычно приезжали, и только когда забрезживал рассвет, понимали, что им отпущен еще один день. И не могли они тогда знать, что к ним все-таки позвонят, пусть не сейчас, а через пятнадцать лет, но позвонят обязательно. И Семен Александрович выходил с маленьким папой на пустынную еще улицу и шел по притихшей Москве в гараж мыть машины — это была его новая работа. И наступало утро, и вставало солнце, и было лето 37-го...

После расстрела Ежова дед забомбардировал ЦК и НКВД письмами о невиновности Ильи, и того в сороковом выпустили: Берия, нарабатывая имя борца за справедливость, реабилитировал несколько тысяч заключенных. Илья попал в число счастливчиков, Семена Александровича восстановили в партии. В лагерях остались миллионы осужденных...

Когда началась война, десятилетний папа убрал со стола учебник немецкого языка и твердо сказал, что язык врага учить отказывается. Галина Николаевна, ставшая к тому времени завучем, была в отчаянии: «Мальчик (кстати, даже когда папа стал дедушкой, она продолжала так его называть), мальчик, ты ведь так любишь языки, почему?!»

...Языки папа действительно любил всегда, мелодику их хватал моментально и часто, дошколенком еще, забравшись на табурет, развлекал гостей, замечательно имитируя английский, немецкий, испанский, французский, арабский. Позднее он освоил их все, за исключением языка Мольера, его продолжал имитировать, и так удачно, что надолго ввел в заблуждение свою будущую жену и нашу маму (тогда только ухаживал за ней). Лингвистический обман открылся случайно: когда он в очередной раз эмоционально картавил, мама уловила слово явно не французское — «пирамидон» и все поняла. Но это было потом, а в 41-м немецкий папа отказался учить наотрез — так в первый раз проявился его

бойцовский характер. Он даже забастовку класса устроил: старый учитель, немец-коммунист Август Карлович, говоривший по-русски с чудовищным акцентом, возмущенно тряс седыми космами: «Бэссовэстный Ландрэс, вы портить мне всю работ класса, отправляйтесь немедленно в кабинет к директор!» Папа стоически выносил муки у школьного начальства, но «сопротивление» продолжал, а в 44-м собрал в кулек шерстяные носки, рубашку, носовой платок и паек хлеба и сбежал на фронт. Его сняли с поезда в двухстах километрах от Москвы и вернули домой. Он, наверное, сбежал бы опять, но наступил май 45-го, приехал друг Семена Александровича — полковник Константин Корнеевич Лесин и забрал его с собой в Берлин (Семен Александрович в то время был там военным корреспондентом).

...На один из приемов — собирались офицеры армий-победительниц — взяли и отца. Волновался он очень, и не удивительно: разноголосие, разноязычие, блестящие военные... За столом его посадили рядом с седовласым, пронзительно-голубоглазым американским полковником в красивейшем парадном мундире. Подали курицу. Вооружившись ножом и вилкой, тринадцатилетний папа начал сражаться с неподатливой ножкой, она выскользнула и, о ужас, брякнулась на выутюженные брюки полковника! Мундир был погублен, папа от смущения стал пунцовым, но полковник лишь улыбнулся. «Невер майнд, — дружелюбно сказал он, затерев пятна до хруста накрахмаленной салфеткой, и, наклонившись к папе, доверительно-тихо добавил на ломаном русском: — В следующий раз не мучься ты с этим ножом, сынок, бери пример с меня — считай, что курица — дичь, и ешь ее руками».

А потом папа смотрел на разрушенный рейхстаг и фотографировался: развалины, покореженная свастика в пыли на земле и на каменной глыбе — маленький мальчик с добрым, абсолютно счастливым лицом, да и каким еще оно могло быть, если так пьянило ощущение Победы и так верилось, что теперь обязательно все будет хорошо.

Вернувшись в Москву, он достал спрятанный учебник немецкого и постарался наверстать упущенное. Учился легко, с удовольствием, не очень давалась математика, зато история, русский, география и литература стали родной стихией.

Единственным богатством Семена Александровича, кроме маленького фордика, полученного в награду от Серго Орджоникидзе за отличную работу над организацией выставки «Наши достижения», были книги. Библиотеку он собрал удивительную (у меня сохранилось дедовское много-

томное собрание сочинений Достоевского — дореволюционное, в голубой, с черно-золотой вязью, обложке), и в детстве папа часами просиживал возле книжных полок, «заглатывая» русскую и зарубежную классику. В одиннадцать лет посвятил Семену Александровичу «Оду о лесе», начинавшуюся словами: «Деревья, устремленные в небо, как мачты, шумят и печально так шепчутся с ветром. О, лес!» Семен Александрович с удивлением прочел стихи и хитро прищурился: «Признавайся, Юлька, у какого японского поэта списал?» Обиделся папа тогда очень... Надо сказать, это был первый и последний раз, когда Семен Александрович сына обидел. Он был редким отцом: о его чувстве такта и деликатности папа не раз писал.

Отрывок из рассказа «Папа, прости меня, пожалуйста».

Самое страшное, это когда кричат на детей. Отец никогда в жизни не крикнул на меня. Он позволял спорить с ним, он терпел даже тогда, когда я начал повышать голос: если не хватает логики, верх берут чувства — он обижался, затворялся в себе, но ни разу, сколько я помню его, не смел унизить меня окриком, потому что ребенок лишен права на защиту, ибо его защита — слезы, а это путь в трусость и бессилие.

Папу часто отправляли от школы на литературные конкурсы, викторины и конференции. На одной из конференций в 47-м году шестнадцатилетним мальчишкой он впервые повстречался с писателем Борисом Полевым, с которым впоследствии неоднократно пересекался по репортерским и писательским делам.

Из дневника отца 1963 года.

Первое знакомство наше состоялось в библиотеке имени Сталина на читательской конференции, посвященной «Повести о настоящем человеке». На эту конференцию приехал Борис Николаевич.

Отец дал машину — маленький вишневый БМВ, и мы поехали за Полевым в «Правду», и я, молодой барчук, сидя в машине рядом с шофером, хвастал Полевому о том, как я жил в Германии в 45-м году. Он тогда, как я сейчас припоминаю, очень весело, с каким-то забавным недоумением смотрел на меня, кивал головой и улыбался. Вот ведь любопытно — всегда этот человек ассоциируется у меня с улыбкой. А потом, в зале,

я взял слово и стал выступать, причем выступал, как я сейчас вспоминаю, неприлично, скучно и ему знакомо. Правда, наши матроны и ахали и восхищались мною, но я-то почти слово в слово повторял критическую статью о Полевом, которая была напечатана то ли в «Знамени», то ли в «Новом мире», то ли еще в каком-то толстом журнале. Полевой чувствовал, что выступает не читатель, а тот самый выступатель, которого готовят, как жеребца перед пробежкой, учитель литературы, комкающий в уголке платочек от нервного возбуждения, и библиотекарша с холодными от волнения руками.

Помню, я тогда сказал Полевому: «Вот, Борис Николаевич, у Вас в “Повести” серьезная ошибка. Там написано, что Мересьев полз по зимнему лесу и слушал, как куковала кукушка, а на самом деле кукушка зимой не кукует». Это я, конечно, вычитал в критической статье. Мои слушатели захлопали. А Полевой все с той же доброй, спокойной улыбкой смотрел на меня и кивал головой. Потом его прекрасное выступление в печати против лактионовского замазывания в живописи. Против ларионовской картины, когда в новую комнату вселяется семья и первой входит девочка, неся в руках портрет Сталина. Он очень честно выступал в это время.

Однажды старенькая Евдокия Федоровна вошла в дом весело, добро смеясь: «Галюша, я только что на улице столкнулась с твоим отцом. Старый-престарый, еще хуже меня, а сразу же узнал! Я от него — он за мной: “Евдокия Федоровна, постойте, выслушайте. За мою низость я был страшно наказан. Я болен и одинок, умоляю, простите!”»

На деле убедившись в непререкаемой справедливости «Мне отмщение и аз воздам», баба Дуня обманщика от всей души простила, стала еще добрее и терпеливее с домашними, а через несколько месяцев тихо, как и жила, умерла... Папа, бабушкой выращенный, долгое время не находил себе места, писал грустные, беспомощные стихи и начал тайком покуривать: детство закончилось...

ДЕД

До шестнадцати лет отец мечтал о карьере дирижера и, закрывшись в комнате, самозабвенно дирижировал. Всегда считал музыку, наравне с живописью, совершеннейшим искусством — никаких языковых барьеров и зависимости от переводчика. Музыкантом не стал, но научился брать несколько аккордов и иногда напевал мне, маленькой, аккомпанируя на дребезжащем пианино, модную в годы его юности песенку: «Осторо-о-ожен будь, никто пока что не бы-ы-л в таинственной стране Мадагаска-а-р!»...

В последний год школы его потянуло в лицедейство, всерьез думал о ГИКе, а Семен Александрович папу тактично, доказательно и дружески отговаривал и просил пойти по стопам деда-лесника.

— Получи профессию, — говорил Семен Александрович, — если есть в тебе искра, придешь в искусство. Нет ничего страшнее, чем быть к искусству приписанным — обидно это и нечестно.

Отец сначала удивлялся: почему обязательно лесником? Потом догадался.

Отрывок из рассказа «Папа, прости меня, пожалуйста».

Напору техники стремительного нашего века сможет противостоять лишь природа, потому что техника однолика в своей устремленной мощи, а каждое дерево — это поэзия; Старик, видно, хотел приблизить меня к высокой культуре природы, которая — единственно — и может открыть в человеке Слово. Парадоксальность поколения наших отцов заключалась в том, что они, служа технике, «которая решает все», были романтиками в глубине души, а всякий романтизм произрастает особенно пышно там, где взору открыты долины, леса и снежные пики гор...

В лесники папа не пошел, но и актерство отверг, хотя актер из него получился бы великолепный. Как компромисс выбрал Институт востоковедения — там была и романтика далеких стран и культур, и языки, к которым его тянуло... В том же, 1949 году познакомился с прекрасными ребятами, учившимися на разных факультетах: Женей Примаковым, Олегом Пересыпкиным, Володей Цветовым, Сашей Быковым, Юрой Виноградовым, Валентином Александровым. Они организовали веселую компанию со смешным названием «Потуга» и проводили вместе много времени. В Москве учились, ходили на вечеринки, танцы, устраивали процессы — так в то время назывались драки. Летом уезжали в открытый папой небольшой поселок Архипо-Осиповка, недалеко от Новороссийска — с огромными дубами на холмах, маленькими домиками и чистейшим морем...

Вместе с будущими академиками Е. Примаковым и З. Буниятовым, журналистом К. Гейвадовым, послом А. Калининым и многими другими студентами работал папа лектором МГК ВЛКСМ. Однажды его отправили выступать в рабочее общежитие Орехово-Зуева. Тема лекции была типичная: угнетение трудящихся капиталистами Запада. Материалы об этом были обширные, классифицированы и подобраны вполне искусно, оперировать ими было одно удовольствие. Поскольку на Западе ни один из папиных друзей не был, а сам он, хоть и провел в 45-м году три месяца под Берлином, в местечке Рансдорф, поражаясь количеству велосипедов и чистоте коттеджей, но ничего кроме ненависти к фашистам у него при воспоминании о том путешествии не рождалось, поэтому и выступали все молодые лекторы убедительно и искренно, что называется, заливались соловьями. Закончив просвещать стариков и детишек, папа поклонился аплодисментам и предложил задавать вопросы. Поднялся беззубый старик в ватнике и, комкая шапку в огромных, с синими жилами, измученных работой руках, прокричал: «Спасибо товарищу Сталину за нашу свободную и счастливую жизнь! Ни в одной стране мира рабочий человек не живет так хорошо, как на родине победившего счастья!» Старики и дети снова зааплодировали: вопросов не задавали, стали быстро расходиться...

Папа попросил деда показать его квартиру. Он с радостью согласился, повел по тюремному коридору, остановился возле покосившейся двери, отпер ее (замков было три), пропустил первым: «Заходи, товарищ лектор, гостем будешь!» Комната была узенькая, как пенал, одна стена — фанерная, оконце под потолком, маленький кухонный стол,

покрытый клеенкой, четыре табуретки, две раскладушки у стены, возле двери керосинка и умывальник. Над койкой висел портрет вождя, вырезанный из журнала.

— Вы тут давно живете? — спросил папа.

— Да ведь уж давно, — живо откликнулся дедок, — с тридцать второго... Раньше-то в деревне жил — ни водопровода тебе, ни электричества с радиом, — он кивнул на черную лепешку репродуктора, — ни обратно, лавки — бабка сама хлебы пекла, спину гнула от зари до зари, а теперь счастье настало, никаких забот рабочему человеку — только трудись на благо родины!

От старика девятнадцатилетний отец вышел с ощущением потаенного ужаса: шесть человек в шестиметровой комнатенке, одна уборная на этаж — не менее как двести человек, строили еще при царе, только при Сталине комнаты перегородили в «пеналы», а старик о счастье... Позднее записал: «Мысль, появившись, покою не дает, это верно. Но когда тебя, студента второго курса, принимают за твои лекции в члены — соревнователи общества “Знание”, платят за час молотьбы языком пятьдесят рублей (два обеда в ресторане), недопустимо крамольная мысль про то, как ужасно живут люди в стране “победившего счастья”, уступает место иной, отъединяющей тебя, ставящей в положение верховенства, приобщенности к элите. Притча о тридцати сребрениках никогда не умрет из-за людского несовершенства, рожденного честолюбивой корыстью. Нас не столько обманывали, сколько покупали — умело и расчетливо, такова правда и надобно ее сказать себе открыто и честно. Ведь нет ничего чище, чем исповедь...»

Тогда отец начал серьезно тренироваться в «Спартаке», в боксерской секции Виталия Островерхова. Секция помещалась на Бауманской, в старой приземистой церкви. В 30-е годы в ней устроили овощной склад, потом передали под нужды секции боксеров и тяжелоатлетов — там он три раза в неделю и выходил на ринг. Бокс научил его бесстрашию: сколько себя помню, отец никогда ничего не боялся. Хотя вот вопрос: есть ли вообще люди, лишенные страха? Может, есть лишь те, кто умеет страху не поддаваться, хорошо его скрывать, — не знаю...

...Однажды ночью, в одном из переулочков, примыкающих к улице Горького, к отцу привязалась «кодла» человек в шесть. Встав к стене, он начал биться, пуская в ход свой излюбленный «левый снизу», нескольких уложил, но остальные наседали и неизвестно, чем бы все закончилось, не приди к нему неожиданно на помощь незнакомец — высокий

красивый парень с хриплым голосом. У него тоже оказался хороший «левый снизу» — «кодла» развалилась.

Папа протянул незнакомцу руку:

— Будем знакомы, меня зовут Юлиан.

— Очень приятно, — улыбнулся парень, — Василий Ливанов.

Это стало началом добрых отношений, которые продолжались несколько десятилетий. Ливанов снялся в папином фильме «Жизнь и смерть Фердинанда Люса»* по повести «Бомба для председателя». Потом отцу пришла идея создать в Москве театр «Детектив», и вместе они удачно воплотили ее в жизнь.

На третьем курсе отец уже вовсю говорил и писал на пушту, удивляя мудреной арабской вязью друзей сияющего от гордости Семена Александровича, и в совершенстве овладел английским, освоив пижонское оксфордское придыхание: специально собирались с ребятами после занятий отшлифовать акцент. Когда сидели у папы, заказывали Галине Николаевне ее коронное блюдо — жареную картошку с луком...

К Семену Александровичу привязались все папины друзья. Худой, с тонким профилем, мудрыми грустными глазами, не расстававшийся с маленькой трубочкой, он сразу производил впечатление рафинированного интеллигента и эрудита и действительно был настоящей ходячей энциклопедией. Ему можно было задать любой вопрос — он знал ответ. Что любопытно, в МГУ деду попасть не удалось — начал работать в пятнадцать лет, закончил рабфак, прослушал курс лекций у Бухарина на кафедре красной профессуры, в 1934 году окончил факультет экономики Промакадемии, а потом занялся самообразованием и стал блестящим знатоком литературы и истории. Вскоре после смерти Сталина Семена Александровича назначат главным редактором толстого московского журнала «Вопросы литературы», шутливо называемого «Вопли»...

...Белорусский еврей, родился он в маленьком местечке Березино. В семье было тринадцать детей, выжило пять. Дедовский отец — Александр (по-еврейски Авезер) появлялся дома лишь к зиме, всю весну, лето и осень, до первого ледка, сплавляя по быстрым, темным рекам лес. Честно воевал Авезер в Русско-японскую войну, а когда часть попала в окружение, провел с однополчанами несколько месяцев в пле-

* *Люс* — Ляндрес Юлиан Семенович.

ну. Вернувшись домой, объявил, что японцы — самые чистоплотные в мире люди, и велел жене Марье Даниловне крахмалить каждый день до ломкой хрусткости белые вафельные полотенца, чтобы было в их крохотном домишке чисто и уютно, как у японцев. Таким же чистюлей и аккуратистом был всю жизнь и Семен Александрович.

Дед умер в шестьдесят с небольшим, в 1968 году, от рака поджелудочной железы. Понимал, что не выздоровеет, но держался молодцом. Он был не только интеллигентом и эрудитом, но и мужественным человеком. Последние месяцы лежал в больнице Академии наук. Папа постоянно к нему ездил с друзьями. Те устраивались в палате с гитарами, пели песню «Тополиный пух»: «Ты одна идешь по Семеновской в тополином пуху, как в снегу...» Дед вымученно улыбался, тихонько говорил маме: «Вот, Катенька, живу в обнимку с болью». Отпускало только после укола морфия. Тогда мечтал уехать на дачу, лечь в траву и увидеть мураша...

Отца отправили в командировку в Америку. Сначала он отказался, но дед, узнав, уговорил. Прилетев через две недели, папа первым делом спросил встречавших: «Жив?!» — «Жив». Прямо из аэропорта помчался в больницу с привезенным из Штатов новым лекарством, погружавшим неизлечимых больных в чудесные галлюцинации. И, перед тем как уйти, Семен Александрович смог увидеть и высокую траву, и ползущего в ней мураша.

...Я всегда вспоминаю моих деда и прадеда, которых знаю лишь по рассказам и фотографиям (деда не стало, когда мне был год с небольшим), читая Бориса Слуцкого — отвоевавшего, тяжело раненного, отсидевшего и писавшего горько и талантливо:

Евреи хлеба не сеют,
Евреи в лавках торгуют,
Евреи раньше лысеют,
Евреи больше воруют.

Евреи — люди лихие,
Они солдаты плохие:
Иван воюет в окопе,
Абрам торгует в рабкопе.

Я все это слышал с детства,
Скоро совсем постарею,
Но все никуда не деться
От крика: «Евреи, евреи!»

Не торговавши ни разу,
Не воровавши ни разу,
Ношу в себе, как заразу,
Проклятую эту расу.

Пуля меня миновала,
Чтоб говорилось нелживо:
«Евреев не убивало!
Все воротились живы!»

...Известный французский адвокат Серж Кларсфельд, сделавший имя на защите жертв нацизма и отлове, вместе со своей женой — дочкой эсэсовца, военных преступников, сказал как-то: «Быть евреем — трагедия, быть русским евреем — трагедия двойная». Он знал, о чем говорил, — его родители были евреями, между собой говорили по-русски и до последней минуты (отца, участника Сопротивления, сожгли в Освенциме) тосковали не по Франции, где жили, а по России, где родились...

Русский — по матери, еврей — по отцу, кем ощущал себя папа?

По степени открытости, раскованности и внутренней свободы был гражданином мира и убежденным космополитом. По преданности русской культуре и языку (словарь Даля держал на рабочем столе, часто консультировал, литературный язык его по праву считался одним из самых богатых среди российских писателей) чувствовал себя русским. По безумной, до самопожертвования доходившей любви к нам, дочкам, всю жизнь оставался идеальным еврейским отцом. А по умению работать 16 часов в сутки и железной дисциплине походил на немца или японца.

Национальная принадлежность определялась для отца гражданской позицией и реальным добром, которое человек приносит своей стране, а никак не процентным соотношением славянской и семитской крови, формой черепа, цветом глаз и прочим фашизоидальным бредом... Как идеальный пример решения национального вопроса приводил биографию Левитана, напечатанную в Советской энциклопедии: «Великий русский художник Левитан родился в бедной еврейской семье». Часто вспоминал правдивую историю об американском и советском чиновниках, беседующих на международном музыкальном фестивале. Советский с гордостью говорит американцу: «Известно ли вам, что в нашем оркестре 80 процентов музыкантов — еврейской национальности? А еще рассказывают, что мы, русские, антисемиты! А как у вас?» — «А у нас, — с недоумением отвечает американец, — никому и в голову не придет наводить справки о национальности наших оркестрантов...»

...Папа никогда не скрывал еврейского происхождения Семена Александровича, слишком любил он своего Старика и им гордился, а уж как реагировали люди — дело другое.

Помню, в 80-м году мы с ним ехали в ФРГ, где он возглавил корреспондентский пункт «Литературной газеты». В поезде познакомились с милым советским дипломатом, красивым открыточной, голливудской красотой. В Бонне тот пригласил папу домой на ужин. «Дипломатическая» жена принялась расспрашивать о родителях. Когда дело дошло до Семена Александровича, лицо дамы вытянулось в печальном изумлении. «Как, — горько выдохнула она с таким видом, будто ей сообщили, что дед болел какой-то постыдной, заразной и передающейся по наследству болезнью, — ваш отец был евреем?!»

Сколько же таких лиц перевидал папа на своем веку...

Наступил 1952 год: уже несколько лет, как зверски убили Михоэлса, вовсю шла война с «безродным космополитизмом», начались процессы против агентов «Джойнта» и произошло разоблачение врачей-убийц... Катились по вновь притихшей стране волны арестов — брали всех, от мала до велика, забрали и Семена Александровича...

Из воспоминаний Г. Н. Ноздриной.

Это случилось 29 апреля 1952 года. В институте у Юлиана устраивали первомайский вечер. Он предупредил меня, что придет домой поздно, чтобы я не волновалась. Около 12 часов ночи раздался звонок в дверь. Я подумала, что сын вернулся с вечера, и открыла. На пороге стоял незнакомый человек средних лет, в штатском, с очень неприятным лицом и бегающим взглядом. Не представляясь, он вошел и сказал, что нужно проверить документы всех, кто проживает в квартире в связи с тем, что наши окна выходят на правительственную трассу. Я вынесла ему в прихожую свой и Юлика паспорта. Он спросил:

— А где паспорт вашего мужа?

— Муж ночует у своей мамы, — ответила я.

— Давайте адрес.

Он вышел, запретив мне подходить к телефону и входить в комнату сына. Скоро вернулся с каким-то военным, дворничихой и пожилым мужчиной. Велели идти в мою комнату и не выходить. Я слышала, как они стали что-то выносить из комнаты сына. Догадалась, что это могли быть немецкие журналы, привезенные его отцом из Германии в 1945 году. В голове мелькнуло: это криминал!

Около четырех утра раздался звонок в дверь. Я поспешила открывать. Пожилой незнакомец шел следом, приказав ничего

не объяснять сыну. Юлик вошел веселым, румяным, улыбающимся. Видно, после вечера в институте провожал домой сокурсницу. Лицо его изменилось, когда он увидел рядом со мной пожилого незнакомца. Не успел опомниться, как военный обыскал его и... обнаружил стартовый пистолет. Его одолжил сыну заведующий военной кафедрой, чтобы отпугивать по вечерам хулиганов. Я заплакала и стала утверждать, что это не настоящий пистолет, а стартовый, а Юлик не выдержал и закричал:

— Что ты перед этой сволочью унижаешься и плачешь?!

Мужчина в военной форме рявкнул на него:

— Сиди и молчи!

...В шесть часов утра вернулся тот, что в штатском с бегающими глазами, и объявил:

— Ваш муж арестован. Сейчас будем производить у вас обыск.

...В кабинете у Семена Александровича вся стена была уставлена книжными полками. Эту библиотеку с любовью он собирал многие годы. Они брали книги, трясли их и бросали на пол. Если что-то из них выпадало, скомкав, бросали. Такого варварского отношения к книгам я нигде и никогда не видала. На столе лежал наш семейный альбом с фотографиями. Они тщательно просмотрели и его. На одной из них увидели фото мужа моей тети в модной красивой шляпе Семена Александровича. Спросили:

— Это что за иностранец?

Пришлось назвать фамилию. Потом стали разглядывать фотографию сына, снятую в Гороховецком военном лагере, где все студенты проходили военную подготовку. Юлиан был на ней запечатлен в форме, в пилотке набекрень, небритый...

— Это что за военнопленный?

Тоже пришлось объяснять.Обыск продолжался с шести утра до двух часов следующего дня. Лазали повсюду, даже бедные цветы подвергались экзекуции: горшки протыкали чем-то острым, разрезая тем самым корни растений. На полу среди книг, разбросанных документов и фотографий лежал приказ по Наркомтяжпрому о награждении Семена автомобилем, подписанный Серго Орджоникидзе. Юлиан увидел эту бумагу и ногой подвинул под тахту. Все фотографии с Серго, Константином Симоновым и Ворошиловым увезли, кабинет опечатали.

Из воспоминаний отца.

В одиннадцать утра в дверь постучали: я знал, что это Сашка по кличке «Солоб», его брата «Сахарозу», внука первого народного комиссара юстиции Дмитрия Ивановича Курского, забрали незадолго перед этим — двадцать лет, вполне сфор-

мировавшийся «террорист». Подполковник Кобцов, руководивший «налетом», приказал нам молчать, подкрался к двери и спросил отвратительно-ласковым голосом: «Кто там?» — «Я», — ответил Солоб. Кобцов распахнул дверь, сухо сказал: «Входите». Солоб от волнения не бледнел, а краснел: никогда не забуду, как его лицо (восемнадцатилетний парень) сделалось старчески-апоплексическим, синюшно-красным. Его повернули лицом к стенному шкафу, обыскали, приказали сидеть, не переговариваясь со мной. Когда обыск закончился, мы бросились в ломбард: Кобцов сказал, что отцу можно дать передачу, двести рублей. Мы успели заложить часы, получили триста, стольник пропили в одночасье, хмель не брал, только трясти перестало. Солоб процедил сквозь зубы: «Живем, как немецкие подпольщики во времена фюрера — хватают одних коммунистов, ничего, а?!»

...Ночью папа вскрыл форточку в комнате деда и достал из-под тахты спрятанный им утром приказ Серго. Потом это во многом помогло делу — отпадало одно из самых серьезных обвинений — получение подарка от троцкистского диверсанта Бухарина. ...Бабушку перевели с поста директора детской школы учителем в школу рабочей молодежи. Подселили инвалида-пьяницу с женой.

До ареста у Семена Александровича после старой контузии уже отнималась правая рука, в тюрьме деда так избивали во время допросов, что руку парализовало полностью и отнялись ноги. Он писал из лазарета корявые письма левой рукой, не жаловался, обещал подняться, просил прислать очки.

...Папа в то время встречался с дочкой высокопоставленного начальника. Узнав об аресте Семена Александровича, отец девушки запретил ей даже смотреть в сторону сына врага народа. Папу не удивила реакция начальственного отца — инстинкт самосохранения, ничего не поделаешь, но поразила легкость, с которой предала его подруга, не раздумывая подчинившись родительскому требованию...

Вспоминает выпускник Института востоковедения Валентин Александров.

В Институте востоковедения все студенты знали, что есть на втором этаже комната с железной дверью, рядом с отделом кадров. Никто, мне думается, туда добровольно не заглядывал. Находился за той дверью человек с голой, как бильярдный шар, головой, о котором только то и было известно, что его надо сторониться.

Находит меня как-то девочка из деканата и сообщает, что мне надлежит немедля за ту дверь зайти. Иду. Комната, какими, наверное, бывают камеры. Решетка на окне. Закрывшаяся дверь щелкнула замком, не предвещая пустопорожнего разговора.

— У вас на факультете учится некто по имени Юлиан?

— Да, на афганском отделении.

— Он всюду обивает пороги, клевещет на советские органы, пишет, что его отца неправомерно осудили. Разве у нас допустимы ошибки в приговоре? Как может такой клеветник учиться в институте, разлагать окружающих да еще состоять в комсомоле? Гнать надо взашей сначала из комсомола, а потом из института. И не возражайте, что он имеет право. Нет у него права клеветать, а у вас — прикрывать его. Идите.

Александров пытался своего институтского товарища защитить. Увы, не получилось. Его исключили и из института, и из комсомола. Назло всем папа продолжал посещать лекции вольным слушателем, ночью подрабатывал грузчиком, по вечерам шел на ринг.

Однажды я спросила его, в каком бою ему сломали нос.

— В платном, Кузьма (так он меня и сестру часто называл), — нужно было заработать.

— А разве такие бои были? — удивилась я.

— Конечно, — весело ответил он, — выпускают против тебя боксера порядка на четыре сильнее, ты стараешься продержаться достойно и как можно дольше, чтоб было зрелище, а после боя получаешь тридцатку, — огромный гонорар по тем временам, — и понимаешь, что жизнь прекрасна, и черт с ним, с этим носом, не это главное.

Главным тогда для папы было добиться освобождения отца. С трудом полученные в боях тридцатки шли на жизнь и на передачи Семену Александровичу.

Из письма Ю. Семенова отцу 26 октября 1952 года.

Милый мой, дорогой папулек!

Сейчас иду на почту посылать тебе письмо и бандероль:

4 банки сгущеного молока
2 пачки сахару
1 банку русского масла, перемешанного с луком
400 гр. конфет мятных
3 лимона
9 витаминов С

9 пачек папирос «Спорт»

1 пачка печенья

1 банка лещ в томате. Когда начнешь кушать — перецеди в блюдечко.

Штанишки для гимнастики тебе вышлю в следующий раз, т. е. дней через десять. Крепко целую тебя, твой Юлька.

Папа не любил говорить о том времени, а цикл его рассказов «37—56», написанный об этом в конце 50-х, долго лежал в столе, был опубликован лишь после перестройки, в книге «Ненаписанные романы», да и о себе он упоминал немного. Поэтому, когда в 93-м отца не стало, я обратилась к его институтскому другу — Евгению Максимовичу Примакову. В тот период он руководил российской контрразведкой и сразу же назначил мне встречу на работе. Я пришла по адресу: небольшой особнячок без вывески в центре Москвы. Не успела позвонить, как дверь бесшумно открылась — на пороге стоял интеллигентного вида молодой человек в элегантном сером костюме: «Проходите, Ольга Юлиановна, Евгений Максимович ждет вас...» Примаков встретил тепло, с улыбкой, у него замечательная улыбка — добрая, немного грустная, и оттого мудрая, и рассказал о том, что от отца при жизни я не слышала...

Вспоминает академик Евгений Примаков.

Я очень любил Юлиана, и мы дружили и в институтское время и после. Он был цельной натурой, это сразу чувствовалось, особенно в те трагические дни, когда арестовали отца. Юлиан был тогда вместе со мной в лекторской группе МГК комсомола, я был руководителем нашей секции и, естественно, дал ему отличную характеристику (кстати, это не в заслугу мне будет сказано, просто он был отличный лектор), характеристика не спасла — его исключили из комсомола и института. Исключили потому, что он решил добиваться освобождения отца и писал письма в органы. Его запугивали: «Перестаньте лить грязь на наших доблестных чекистов!» — но его ничто не могло остановить. Он мне потом рассказывал, как был во Владимирской тюрьме, где встретился с отцом, и как потом сняли начальника этой тюрьмы за то, что он эту встречу организовал. Юлиан мог добиваться всего и добивался. Он был, как маленький бульдозер, шел и шел, потому что обожал отца, потому что увидел — самый близкий ему человек находится в тяжелом положении, и терпеть он этого не мог, и не мог отступить —

в этом его глубокая порядочность и целостность натуры. И никто не мог его с этого пути свалить, он был готов на самопожертвование, на самосожжение, на что угодно, лишь бы только спасти отца. Помню, мы шли с ним по улице Горького, мимо Центрального телеграфа: темно, ночь. Я тогда был пламенным сталинистом, а он ругал Сталина по-страшному. Был пятьдесят второй год, но он мог это позволить со мной, потому что знал — я его друг. И потом он мне сказал: «Знаешь, я хочу подарить тебе книгу». Эта маленькая книжечка, стихи Иосифа Уткина, хранится у меня до сих пор. На титульном листе Юлиан написал: «В день выхода отца из тюрьмы».

Из рассказа «Осень пятьдесят второго».

Приехав в Ярославль, к тюрьме я добрался ранним утром. От Волги тянуло великолепным запахом свежей рыбы, дегтя и дымка. Из открытых тюремных ворот попарно шли зэки с чемоданчиками и вещмешками. Они спускались к баржам, а по обе стороны тюрьмы, оттесненные конвоем, стояли женщины: все в белых платочках, с коричневыми лицами и натруженными руками. Заключенные шли быстро, стараясь не смотреть на своих баб, а те кричали, и невозможно было разобрать, что они кричали, потому что их голоса сливались в один. Там были имена — в их вопле слились воедино десятки Николаев, Иванов, Петров. Шла волна, когда забирали колхозников, и поэтому имена были земные, прекрасные и многострадальные...

Среди сотен женщин в очереди на передачу двое мужчин: безногий полковник запаса Швец и я. Раньше Швец передвигался на протезах, но с тех пор, как арестовали по пятьдесят восьмой статье его сына — студента филфака, полковник свои протезы бросил и стал передвигаться на тележке.

В приемной камере стоял тяжелый запах карболки и хозяйственного мыла. Прямо напротив входной двери было окошко, а налево — железная дверь, запертая на громадный замок. Окошко открылось...

Полковник Швец, стоявший под оконцем, выкрикнул с пола:

— Константин Иванович Швец, тридцать третьего года рождения, осужден ОСО на десять лет!

Младший лейтенант рассерженно сказал:

— Что за шутки, заявитель, покажитесь!

— Не мо-гу!

— Не можете, так покиньте помещение!

— Мальчишка! — крикнул Швец и, резко закинув голову, зажмурился.

— Что?!

— То самое, молокосос!

Младший лейтенант стремительно высунулся из окошка.

— Вниз посмотри! — исступленно прокричал полковник. — На меня смотри!

Младший лейтенант недоуменно посмотрел вниз, увидел Швеца на платформе с подшипниками, в его лице что-то на мгновение дрогнуло, а потом замерло, будто захолодело.

Он спрятался в свое оконце и сказал:

— Выбыл на этап.

— Когда?

— Вчера.

— Куда?

— По месту отбытия наказания.

Швец попросил:

— А ну, подними меня.

Я уцепил его под мышки и поднял к окну. Выставив колено, я опустил на него платформочку. Швец уцепился своими громадными, как у всех безногих, ручищами за деревянное оконце и сказал:

— Ну-ка, лейтенант, посмотри мне в глаза.

— А в чем дело? — тихо осведомился младший лейтенант.

— Дела никакого нет. Просто посмотри мне в глаза. Вот так. Только не мигай, сынок. Тебе не совестно, а? Как же тебе не совестно, сынок?!

Я опустил его на пол.

— Следующий, — тихо позвали из окна.

Подошел я и, передохнув, сказал:

— Тут у вас в лазарете мой отец.

— Фамилия?

Я назвал.

Младший лейтенант посмотрел на меня огромными глазами святого.

— Вам нельзя с ним видеться. И передачи тоже нельзя.

— А записку? — спросил я. — Просто, чтоб он знал.

Он молча покачал головой. Швец из угла выкрикнул:

— Какого черта ты унижаешься перед этим мракобесом?!

После долгой паузы младший лейтенант ответил:

— Я — не мракобес... Я службу несу.

Он сказал это тихо-тихо, почти беззвучно. Я достал листок, написал карандашом: «Я здесь» — и протянул младшему лейтенанту. Тот проглядел записку со всех сторон, а потом закрыл оконце. Я ждал ответа, опершись спиной о холодную стену. Вдруг молчащую громадину тюрьмы разрезал высокий, кричащий плач. Я бросился к двери, через которую нас сюда впустили, отбросил щеколду и закричал:

— Старик, я тут!

Плач прервался, и я услышал страшный, совсем не знакомый мне, но такой родной отцовский голос:

— Пустите, не затыкайте мне рот! Сын пришел! Пустите же!

— Папа!

Отец глухо завыл. Я бросился в тюремный двор.

— Назад! — крикнул с вышки охранник.

— Па-па!!! — кричал я что было сил.

И в это время тюрьма загрохотала, завопила, заулюлюкала. Слышно было, как в камерах стучали чем-то деревянным по стенам, топали и вопили визгливыми голосами:

— Дайте свиданку! Дайте им свиданку, псы! Старика пустите, пустите его, свиданку дайте!..

Моего отца внесли на руках два здоровенных зэка — он дрожал, словно в ознобе, ноги свисали, будто ватные.

— Сынок, — обсмотрев меня, жарко зашептал он, — пиши товарищу Сталину, одна надежда: его обманывают враги! Запомни: если ты сможешь передать письмо Иосифу Виссарионовичу, меня освободят завтра же!..

Я вернулся в Москву и написал письмо товарищу Сталину о несправедливом аресте отца — двадцатое по счету; воистину «двадцать писем к другу».

До ареста у деда после старой контузии уже начала отниматься правая рука. После тюремных избиений его парализовало полностью. Он писал папе из лазарета корявые письма левой рукой, не жаловался. Обещал подняться и просил прислать очки (старые разбили при допросах).

Из письма Ю. Семенова отцу 27 октября 1952 года.

Мой милый и дорогой папулек!

Как ты недуги свои лечишь, как скоро пришлешь мне письмо, в котором известишь, что такого-то числа стал на ноги и, с помощью санитара, или костыля, или, что, конечно, лучше всего, просто с палочкой, прошелся по двору. Сделал 15 шагов. Это было бы, несомненно, нашей с тобой первой радостью со времен 29.04.52.

Из заявления Семена Александровича Ляндреса в адрес Особого совещания 5-го управления МГБ.

В 1950 году в возрасте 43 лет я оказался после двух контузий инвалидом второй группы с диагнозом: травма централь-

ной нервной системы, паралич правой руки и грудная жаба. После выписки из клиники института неврологии АМН СССР в апреле 1952 года я был арестован. Ордер и санкция прокурора мне были предъявлены через сутки после того, как меня обработали под арестанта как «опасного» преступника. В канун 1 Мая меня посадили больного в карцер. В 20-х числах июля в одиночную камеру № 25 госпиталя Бутырской тюрьмы, где я находился, пришел молодой человек и объявил, что решением Особого совещания (куда меня не возили и не допрашивали) 5 июля я приговорен к 8 годам тюремного заключения по статье 58-10-11... Потеряв в тюрьме зрение, без очков, я не мог прочесть и подписать это решение.

Насколько я мог уловить на слух, решение в мотивировочной части явилось сплошным вымыслом. Особое совещание, с моей точки зрения, было введено в заблуждение отдельными недобросовестными работниками 5-го Управления МГБ. Протоколы моих допросов, следователь «шутя» называл их «сценарием», он писал в своей редакции, вопреки истине, несмотря на мои попытки возражать. Я был вынужден подписывать эти бумаги под нажимом страшных угроз и непосильной физической нагрузки. В состоянии трясучего паралича меня заставляли просиживать на стуле по 6—7 часов непрерывно, лишая обеда и ужина. На допросы привозили и увозили в коляске, а в камере начинались припадки.

Я просил свидания с начальником 5-го Управления, разрешения написать в ЦК ВКП(б), очных ставок, на которые имел право. Мне отказывали. Четыре раза я пытался через корпусных требовать свидания с прокурором, но вместо него являлся все тот же следователь и спрашивал: «Зачем вам прокурор?» Когда я жаловался корпусным на это обстоятельство, мне объясняли, что здесь хозяин следователь, а тюремная администрация только выполняет его указания...

Все мои попытки обжаловать аморальные и тенденциозные действия следователя были тщетны. Однако я убежден, что таких людей в среде коммунистов-чекистов остались считаные единицы. Написать или продиктовать то, что я хотел рассказать прокурору, я не смею, так как по ходу дела должны быть изложены государственные тайны, а я лучше умру в тюрьме, чем это сделаю. В связи с изложенным прошу вас:

1. Дать указание произвести по моему делу новое следствие и снять с меня стенографический передопрос и показания о том, как велось следствие.

2. Взять под контроль ход расследования, так как у меня есть все основания предполагать, что авторы моего дела бу-

дут пытаться противодействовать честному пересмотру дела и прекращению моих мучений. Издевательства, причиненные мне отдельными карьеристами, не сломят во мне веру в Советское правосудие и преданности товарищу Сталину.

Когда Сталин умер и вся страна содрогалась от рыданий: кто-то притворно всхлипывал, но большинство плакало искренно, до истерики, с криками: «На кого же ты нас оставил, отец родной?!» — двадцатидвухлетний сияющий папа скакал по кровати так, что надрывно — вот-вот пружины вылезут — скрипел матрас, и, к ужасу Галины Николаевны, боявшейся шпионивших соседей, громко, ликующе кричал: «Сдох! Сдох! Сдо-о-ох!!!»

Из письма С. А. Ляндреса сыну 2 ноября 1953 года.

Дорогие мое родные! Юлианка и мамуля распрехорошие!

Поздравляю вас всех с праздником Октября! Пусть в этот день вам особенно ярко светит солнце. Мне же очень хочется хоть какой-нибудь музыки. О 4-й симфонии Чайковского и Реквиеме Моцарта могу только мечтать. И еще: положи у портрета Ильича, что у тебя на книжной полке, цветок или веточку зелени.

...Я недавно перечел книгу Гиппократа. Она начинается словами: «Унять боль — божественное дело». Твои письма унимают мою боль. Следовательно, по законам логики, образуется симогизм: ты — мое божество. Перейдем к животу (таков уж человек, начнет, как бог, кончит, как свинья. Не всегда, конечно, но преимущественно). Получил посылки и пирую, как предпоследний Лукулл. Только соловьиных язычков не хватает... Присланная куртка — мудрейшая вещь, тепло, не промокает. Почему я против присылки штанов от куртки? Я бы не прочь, да грехи... Как тебе известно, мне довелось поставить рекорд и побывать в тюрьмах и в пересыльных пунктах... И вдруг (мало ли что бывает) мне, для ровного счета, доведется побывать еще?! Каково тащить мой груз сопровождающим? А возможные встречи с «урками», прекрасно разбирающимися «Что такое хорошо, а что такое плохо»!? Вот из таких предпосылок исходит мой отказ от брюк. Сейчас пытаюсь исправить ватные брюки. В результате прожарок вата в этих брюках съежилась и сбежалась в место, которое у овец называется «курдюк». Распоров штаны, я пытаюсь растащить бывшую вату в район колен, ягодиц и по прочим местам нижней части своего скелета. Надеюсь,

скворцы еще не успеют прилететь, я закончу свою «творческую» работу...

...Ищи отдых, утешения посредством созерцания природы, в свободное от трудов время.

Ins grüne на природу — как говорил Гете. Бутерброд в карман, палку в руки и трамваем в Фили, в дубовую рощу. Есть больше времени, — автобусом в «Узкое». Лес, пруды, поляны! Снег — еще лучше! Все чисто, ново, и за каждой ложбинкой новые горизонты, правильные хорошие мысли и новые извилинки в мозгу. Когда видишь горизонты, то и ухабы нипочем. Они неизбежны и преодолимы. Пожалуйста, мой милый. Держать хвост трубой! Есть держать! Да? Две трети оптимизма, плюс одна треть скепсиса, плюс труд, плюс гимнастика и холодный душ, плюс природа, плюс хорошие люди, и все будет хорошо! Чтобы не быть назойливым и скучным, окончу эту часть вспомнившейся мне записью Пушкина в альбом к Вяземскому: «Душа моя, Павел! Держись таких правил: люби то-то, то-то, не делай того-то. Кажись, это ясно, прощай, мой прекрасный!» Ехидно и здорово! Только Пушкину по плечу такая умная чертовщина. Он был трезвый, гениальный парень без завиральных идей. Эх! Кабы не Николай Палкин и Наташка Гончарова, этот Человечище затмил бы Шекспира.

....Мое здоровье? Вернее мои болезни. Открой 1-й том медицинской энциклопедии и читай подряд, пока не заснешь.

...Будь здоров, мой дорогой. Жду письма, большого, большого и разборчиво написанного.

Из письма С. А. Ляндреса сыну 6 января 1954 года.

Благодарю тебя, Юлианушка, за роскошные (ватные) и нежнейшие, тончайшие шаровары цвета бедра новорожденной нимфы. В такой одежде мне не страшны ни сырость, ни мороз. Мне почему-то кажется, что с моим письмом к Ворошилову познакомился Р. А. Руденко. Предчувствие, что письмо попало в руки, которые дали ход делу. Верно, мне надоело целовать вас и прижимать к сердцу письменно. Очень, очень мне хочется все это произвести на самом деле. Нет сладости в проштемпелеванных поцелуях.

...Семена Александровича выпустили в апреле 1954 года. Папа тогда позвонил Примакову, тот сразу же пришел и был первым, кто деда увидел. Узнать его было невозможно: в сорок семь лет он превратился в старика с отбитыми на допросах почками и печенью, весом в пятьдесят килограммов —

не человек, мощи... С трудом, шаркающей походкой дошел до кровати, лег и попросил поднести телефонный аппарат: «Надо срочно позвонить в обком, доложиться»...

Как миллионы людей, бабушка и дед, несмотря на гибель друзей, отсидки членов семьи и нечеловеческие унижения, остались «верующими» коммунистами до самой смерти. В этом не было позы или неискренности — они были такими, и все тут...

Жертвы массового гипноза? Бессловесные пешки, раздавленные системой? Люди, понявшие, что отдали жизнь непретворимой на практике мечте идеалистов-платоновцев, и отказавшиеся смотреть правде в глаза?

Не знаю... У нас умеют судить — быстро, необъективно, по-детски жестоко. Умеют отрекаться — легко, не оглядываясь. Умеют забывать — и людей, и историю. У нас охотно ищут и всегда находят виновных. Мы часто становимся Иванами, не помнящими родства, веруя, что, предав забвению, можно исправить. Мы по-азиатски шумно каемся в грехах, а опьяненные ощущением прощения, совершаем новые ошибки, и нет конца судорожным шараханьям, нереальным иллюзиям и реальным бедам... Отец часто говорил, что не по-божески, когда дети становятся судьями родителей. Он был прав: не надо наших стариков судить; не надо их и оправдывать. Они не нуждаются в оправдании, потому что даже в своих заблуждениях были честнее и смелее многих из нас. Их надо всего лишь помнить, ибо в памяти заложены и любовь, и надежда на разумное, достойное будущее.

Хемингуэй — отцовский кумир с юношеских лет — решил стать писателем, вернувшись с греко-турецкой войны: боль должна была трансформироваться в литературу, иначе бы сердце не выдержало — разорвалось. Папа после возвращения Семена Александровича написал очень много стихов. Он писал хорошие стихи, но не публиковал их, считая, что прозаик стихи не пишет, а ими грешит. Он научился пить, стал дымить как паровоз, но в литературу пришел позднее.

По природе веселый, общительный, компанейский, отец в то же время понял, что светские дипломатические рауты и посольская рутина, о которых жарко мечтали многие сокурсники, — не для него. Его захватила история. После восстановления в институте защитил в 1954 году дипломную работу на тему «Классовая структура афганского общества на современном этапе» и был рекомендован заведующим кафедрой А. Кузнецовым в аспирантуру МГУ. Папиным на-

учным руководителем на историческом факультете Московского университета оказался брат легендарной Ларисы Рейснер — человек мудрый, своеобычный, много ему давший...

Всю жизнь отец не уставал повторять пушкинское: «Мы ленивы и не любопытны», но к нему это никак не относилось. Его интересовало все: он был в курсе политических интриг, международных новостей, литературных новинок. Энергичный, вдумчивый, эрудированный, отец быстро привлек внимание руководства и его включили в комиссию по организации празднования двухсотлетнего юбилея университета. Он развил бурную деятельность, прекрасно справился с работой, его наградили грамотой, объявили благодарность и взяли на заметку как редкого организатора...Чуть позже доверили переводить переговоры Н. С. Хрущева с последним шахом Ирана Мохаммедом Реза Пехлеви и отправили в Кабул на торгово-промышленную ярмарку переводить с пушту и английского...

Параллельно с научной работой отец переводил афганские сказки, вышедшие вскоре отдельной книгой. Откопав ее как-то в нашей библиотеке и прочитав за день от корки до корки, я пришла в восторг:

— Какие дивные у афганцев сказки, еще интереснее, чем русские!

— Да? — растерялся он. — Значит, я перестарался.

— Хочешь сказать, что...

— Кузьма, — отрезал отец, — любой переводчик имеет право на творческий поиск и авторизацию при условии, что это не вредит оригиналу. Переводчик, как и писатель, не должен страшиться раскрепощенности — без оной творчество невозможно. Позиция ясна?

...Перевод переводу рознь, и в те суровые времена таил в себе порой большие опасности. Папа вспоминал, как в 1949 году, когда он только поступил в институт, был переведен на арабский язык «Коммунистический манифест» Маркса и Энгельса. У переводчиков тогда возникли страшнейшие неприятности из-за того, что они не удосужились разобраться во всех тонкостях языковых нюансов и, переводя фразу «призрак бродит по Европе», написали знакомое им арабское слово — «синоним» призрака, — которое, как оказалось, имеет в арабском языке также значения «привидение» и «кошмар». Ляпсус получился ужасный, но книжку приостановили, и в арабские страны она не попала...

МАМА

Уже шел 1927 год, а двадцатичетырехлетней Наталье Петровне Кончаловской — умненькой, веселой, пикантной — все никак не удавалось включиться в бурную послереволюционную жизнь. Главными занятиями ее в то время были: чтение по-французски Гюго и Альфонса Доде; путешествия по Италии и Франции, где отец, Петр Петрович, любил писать и учиться у мастеров, ходя по музеям; ведение хозяйства с мамой — Ольгой Васильевной, урожденной Суриковой; и игра в четыре руки на пианино Третьей симфонии Моцарта с подружкой Лизой Самариной (дочкой бывшего предводителя дворянства, прокурора Святейшего синода и внучкой Мамонтова).

Она пользовалась успехом и была желанной гостьей на всех праздниках, как сейчас говорят, золотой молодежи. На одной вечеринке зашел разговор о будущем: юноши и девушки наперебой излагали грандиозные планы, а Наталья Петровна заявила: «Выйду замуж и рожу пятерых детей».Тут на нее и обратил внимание самый солидный гость — сорокалетний красавец Алексей Алексеевич Богданов. Он был сыном богатого московского купца первой гильдии, державшего до революции завидную торговлю чаем (род пошел с бабки — крепостной, получившей волю и начавшей дело с лотка), и строгой чопорной эстонки Марии Романовны Фельдман, пришедшей в дом вдовца с детьми гувернанткой и сумевшей стать хозяйкой. Алексей Алексеевич получил хорошее образование в Англии — с фотографий тех лет на меня чуть свысока смотрит по-кошачьи удлиненными глазами настоящий английский денди в котелке, модном костюме и двухцветных штиблетах с пуговками. Его старший сводный брат — Петр Алексеевич, женившись на смуглой, стремительной еврейке-подпольщице Асе, ринулся в революцию и работал с Лениным в Совнархозе, а по-эстонски спокойный, медлительный Алексей Алексеевич сперва держался от

политики в стороне. Вернувшись в Москву, блестяще закончил Московскую консерваторию по классу фортепьяно (шел на золотую медаль, но по-джентльменски от нее отказался в пользу учившейся с ним невесты), женился, пошел по стопам отца — в коммерцию. Тогда и предложил ему старший брат, ставший председателем Амторга — государственного предприятия, занимавшегося торговлей с Америкой, с ним поработать.

Гремел фокстротами и стрелял шампанским нэп, чуть пополневший, но неизменно красивый Богданов педантично просматривал счета и бумаги, — голубые глаза довольно поблескивали — дела предприятия шли прекрасно. И дома все было хорошо, и жена-умница, только вот детей Бог не дал, но об этом Алексей Алексеевич старался не думать, готовился с братом к длительной поездке в Америку, для закупки китобойных судов.

Через несколько недель молодая женщина в густой черной вуалетке, полностью закрывавшей лицо, зашла в тамбур поезда Москва — Владивосток. Алексей Алексеевич, попрощавшись в купе с женой и проводив ее на перрон, завел незнакомку к себе. Наталья Петровна сняла вуалетку: «Даже не верится, что мы сейчас уедем!»... Развод в то время был делом простым: отправлялось по почте заявление одного из супругов, да и вся недолга. Алексей Алексеевич, не решившийся объясниться с женой в Москве, так и сделал. В Америку Наталья Петровна приехала его законной половиной. Поселились в Сиэтле, Богданов занялся торговлей, Наталья Петровна, ожидая первого ребенка, вела дом. Разбирая как-то бумаги на столе Алексея Алексеевича, наткнулась на письмо его первой жены: та проклинала его, ее и все потомство до третьего колена. Ночью случился выкидыш.

...Ее заветной мечтой было сделать из мужа пианиста. Каждый вечер, облачась после работы в длинный шелковый халат, садился он по настоянию Наташеньки за рояль. Восхитительно играл Листа, по воспоминаниям Петра Петровича Кончаловского, лучше многих профессиональных пианистов, но лишь для своих, на публике терялся, мешала врожденная стеснительность.

Шло время, Наталья Петровна продолжала мечтать об обращении мужа в лоно искусства и о большой семье. Шесть раз обрывались беременности. Когда, перед возвращением в Россию, родился мертвый ребенок, поняла, что остается надеяться на чудо. Приехав в Москву, пошла в церковь в Брюсовском переулке, встала в благостном полумра-

ке — лишь теплый свет от множества свечек и лампадок — на колени перед иконой Взыскания всех погибших и, чувствуя закипающие на глазах слезы, обратилась с горячей молитвой к всепрощающему лику Богородицы...

7 ноября 1931 года озорные мальчишки забрались на колокольню московской церкви, стоящей недалеко от роддома, и встретили красный день календаря радостным колокольным перезвоном. Под этот перезвон и родилась у Натальи Петровны дочь Екатерина — моя мама. Большая, в пять килограммов, за богатырский вес прозванная веселыми акушерками царь-бабой.

Первое ее лето прошло в Буграх, в усадьбе Петра Петровича, купленной им у профессора Трояновского. В просторном доме, сложенном в конце XIX века из широченных столетних сосен, пахло деревом, красками и антоновскими яблоками. Перед террасой неистово цвела сирень, без устали пели соловьи и белел за окнами цветущий яблоневый сад. Сначала дом был куплен у профессора Трояновского тремя молодыми живописцами, основателями общества «Бубновый валет» — Кончаловским, Машковым и Лентуловым, но постепенно семьи росли, друзьям становилось тесно, и в год рождения первой внучки Петр Петрович выкупил всю усадьбу. Лентулов поселился на даче в Песках, Машков уехал в Абрамцево.

По утрам Богданов уходил на охоту с собакой Альмой — породистой, вислоухой, со все понимающими печальными глазами. Наталья Петровна самозабвенно играла с долгожданной дочкой на траве перед домом... За обедом Алексей Алексеевич обстоятельно говорил о коммерческих делах, а потом, подчиняясь умоляющему взгляду Наташеньки, садился за рояль. Если бывали гости, сразу путался. Выбирался из музыкальных дебрей благодаря хорошей технике. Никто, кроме Натальи Петровны, конфуза не замечал, мало ли, возможно, редкая вариация.

В Бугры часто наведывались Прокофьев, Алексей Толстой, Машков, Лентулов. Молодой Рихтер, гостивший во флигельке, сохраненном за дочкой бывшего хозяина, закатав брюки до колен, в белой рубашке, прогуливался каждое утро босиком по высокой росистой траве.

Творчеством была насыщена сама атмосфера дома. Было не принято говорить о деньгах. За столом не произносилось: «Ах, как вкусно!» — это считалось дурным тоном. Известное маниловское «Открой, душенька, ротик, я положу тебе этот кусочек» Кончаловскими не принималось. Сюсюканье и слащавость вызывали иронию. Они радовались самым про-

стым вещам — солнцу («О-о! Пойдем на этюды!»), дождю («Прекрасно, будем писать натюрморт»), горке свежего салата к ужину («Как красиво, какой сочный цвет!»).

Живописи в этой семье было подчинено все: о ней велись разговоры, ей радовались, для нее жили. Каждый день Петр Петрович работал в мастерской в глубине сада, — часто писал маму, ставшую любимой моделью. Закончив вещь, показывал Олечке — мнение жены было свято, она вела строгий учет картин, составляла каталоги.

Прошло еще два года, прежде чем Наталья Петровна разрешила себе признаться в том, что давно уже поняла — муж никогда не станет профессиональным пианистом. Ей, выросшей в семье, где на первом месте стояло творчество, мысль эта была невыносима. Посвятить жизнь творцу она была готова, примером стала Ольга Васильевна. Отдать ее человеку, творчества бегущего, отказывалась. В день рождения Алексея Алексеевича она сказала:

— Лешенька, я от тебя ухожу.

Алексей Алексеевич, к этому внутренне готовый, спокойно ответил:

— Знаю, Наташенька. Кофейку приготовишь?

Попив кофе, они расстались. Наталья Петровна бросилась наверстывать упущенное за эти годы. Ходила вольной слушательницей в университет (Катенька с упоением бегала между шуб студентов под надзором старенькой гардеробщицы). Работала над переводами, писала оперные либретто. Время от времени делала изящные дамские шляпки по парижским фасонам: столичные модницы прекрасно за это платили.

Последнее мамино воспоминание об Алексее Алексеевиче смутно — ей было слишком мало лет. Он пришел повидать дочь, взяв на руки, поцеловал и, грустно наблюдая за ее игрой в куклы, тихо заметил: «Катеньке надо ногти подстричь».

...Сталин готовил удары по «старой гвардии» загодя, не торопясь. Все проходило согласно хорошо отработанной схеме: «полное доверие», назначение на ответственный пост, командировка за границу, обвинение в шпионаже. Когда Петра Алексеевича арестовали, Алексей Алексеевич, обычно спокойный и невозмутимый, взорвался: «Если советская власть не ценит таких людей, как мой брат, она ничего не стоит!» Забрали и его. В лагере он вскрыл себе вены. С того момента имя Богданова старались в семье не упоминать.

Сергей Владимирович Михалков — мамин отчим — всегда был к ней добр и внимателен. Водил четырехлетнюю

кроху по ресторанам (маминым любимым блюдом были котлеты) и говорил прыскающим в кулак официанткам с белыми кружевными наколочками на головах: «К-к-котлеты мы съедим з-з-здесь, а к-к-кисель вы нам, п-п-пожалуйста, з-з-заверните в б-б-бумажку...» Вместе ходили они и по детским издательствам: длинный худой поэт и маленькая толстая девочка с туго заплетенными косичками. Привыкнув к потешной парочке, сотрудники приветливо их встречали: «А вот идут писатель и читатель!»

Наталью Петровну надеялись заполучить в жены многие. В этом вопросе Сергей Владимирович и мама проявили редкую солидарность. «Ну что, К-к-катенька, тот п-п-противный, с очками п-п-приходил?» — спрашивал Михалков маму про одного писателя, ухаживавшего за Натальей Петровной. «Приходил вчера, чай пил», — тяжело вздыхала маленькая мама. Вскоре она, пятилетняя, взяла ситуацию под контроль и начала действовать с казацкой яростью. «Или ты выйдешь замуж за Сережу или за никого!» — заявила она Наталье Петровне. Явившегося с очередным визитом соперника встретила на пороге словами: «Будешь еще к нам ходить, отправишься домой без калош!»

Через два месяца Наталья Петровна и Сергей Владимирович уехали в свадебное путешествие по Средней Азии...

До революции у семьи Кончаловских были большая мастерская и просторная квартира на Большой Садовой, в доме 10. Комиссары в скрипучих кожанках предложили выбрать — квартира или мастерская. «Мастерская!» — не сомневаясь, ответил Петр Петрович и поселился с женой и сыном Мишей в углу мастерской, отгороженном занавесками. Расщедрившиеся хозяева жизни оставили им и самую маленькую — метров двенадцать — комнатку в прежней квартире — там жила до отъезда в Америку Наталья Петровна, туда же и вернулась. Маме в той комнатке запомнились деревянная дверь с цаплями на матовом стекле, японский зонтик вместо абажура, с такими же цаплями, нарисованными черной тушью, и купания в настоящей ванне, которую ей еженедельно устраивали. Старшие Кончаловские, прописанные в мастерской, на эту роскошь права не имели и ходили по выходным в баню.

Ох уж эти жилищные вопросы... Наталья Петровна и Сергей Владимирович тоже долго жили в коммуналке, потом получили маленькую двухкомнатную квартиру (комнатку на Садовой быстренько заняла младшая дочь Сурикова —

Елена Васильевна). Мама проводила все выходные у Натальи Петровны и отчима, а «рабочую» неделю — за занавеской, в мастерской деда. Пахло красками, скипидаром, ванной не было, кухни не было, еду готовили на керосинке, огромное, в полстены окно с революции не мыли — самим не дотянуться, а новой власти не до окон, но оттого, что так, а то и хуже, жило большинство, ненормальности положения никто не замечал. «Все живы? Все здоровы? Ну и слава Богу, грех жаловаться!» А уж когда в конце 30-х Петр Петрович получил трехкомнатную квартиру в пятиэтажном квадратном сером доме на Конюшковской, то все почувствовали себя абсолютно, бесконечно счастливыми...

После ареста Мейерхольда, портрет которого Петр Петрович в свое время написал, ему предложили подписаться под клеветническим письмом, обвинявшим режиссера в антисоветской деятельности. Он отказался, хотя прекрасно понимал, чем это грозило... Любопытная история получилась с портретом Сталина. Когда было «выражено мнение», что хорошо бы Кончаловскому увековечить его образ, ответил: «С удовольствием. Когда можно будет встретиться с Иосифом Виссарионовичем для первого сеанса?» Выслушав «ответственных товарищей», объяснивших то, что он прекрасно знал и без них — вождя с натуры писать нельзя, только с фотографии, печально развел руками: «Какая жалость, видимо, ничего не получится — я пишу портреты только с натуры».

Петр Петрович и Ольга Васильевна — люди высочайшей культуры и безвозвратно забытого дореволюционного воспитания, не то что избегали новой жизни, вовсе нёт — были выставки, вернисажи, встречи с коллегами в ВОКСе — Всесоюзном обществе культурных связей, но сумели сохранить прежний стиль, привычки, обычаи и круг общения. В этом им очень помогли Бугры, где они проводили много времени. В конце страшных 30-х годов Кончаловские уезжали из Москвы в начале апреля и оставались в усадьбе до глубокой осени. До Бугров (120 километров от Москвы в сторону Обнинска) ехали четыре часа, с остановками и пикниками. Как только сидевший за рулем сын Петра Петровича превышал скорость 40 километров в час, Ольга Васильевна строго говорила: «Миша, не гони!»

За сильный характер и умение держать дом родные прозвали Ольгу Васильевну «кулачок». С раннего утра, отправив Петечку и Мишечку на этюды, руководила она приготовлением обеда и уборкой, собирала мужу и сыну букеты для натюрмортов, занималась воспитанием внучки. Мама была «вольным человеком» только ранним утром. Пока все спа-

ли, поднималась она тихонько со своей постели в комнате Дадочки и Лелечки (так все дети в семье Кончаловских звали деда и бабушку, потом Дадочкой стал и Сергей Владимирович), бежала в сад, бродила по росистой траве, грызла яблоки, играла с котятами и лошадью по кличке Мальчик, возилась с непослушными куклами.

Каждый вечер укладывала она их в крохотные постельки, аккуратно накрывая ситцевыми одеялами, а Миша, когда племянница засыпала, их оттуда вытаскивал, криво рассаживал за низеньким детским столиком, наливал в игрушечные чашечки остатки шампанского, клал два-три окурка и с мальчишеским озорством наблюдал утром за возмущением шестилетней мамы. «Ты посмотри, Катенька, что твои куклы снова ночью натворили! — подливал он масла в огонь. — Плохо же ты их воспитываешь, ой плохо». Сконфуженная мама принималась отчитывать воспитанниц с удвоенной силой.

Дисциплина в доме у Кончаловских была железная, дети не знали слов «не хочу» или «не могу». Ольга Васильевна с младенчества приучала их к одному: «надо». Если кто-то пытался канючить или капризничать, она лишь удивленно приподнимала брови и ледяным голосом тягуче произносила: «Что-о-о?!» И маленький бунтарь испуганно замолкал.

У мамы было два греха — медлительность и стеснительность. Ольга Васильевна их не терпела, считала дурным наследством погибшего зятя и, не смущаясь, об этом говорила: «Что ты копаешься, как Алексей Алексеевич? Почему стыдишься играть перед друзьями на пианино? Ох, вылитый Богданов! И упряма, как Алеша...» Чтобы раскрепостить внучку, начинала в Москве, на улице, петь оперные арии. Пунцовая от смущения мама тянула ее за руку: «Не надо, пожалуйста, на нас смотрят!» — «Ну и что ж такого?!» — невозмутимо отвечала Ольга Васильевна и продолжала хорошо поставленным голосом выводить: «У любви, как у пташки крылья...» Мама была готова провалиться сквозь землю: «Лелечка, миленькая, дорогая, умоляю, не пой... Нас.. нас же арестуют!»

В Ольге Васильевне гармонично соединились сибирская твердость характера и суриковский гений — от отца и французские, от рано умершей мамы — Елизаветы Августовны де Шарэ, — нежной, в кружевах, — свободолюбие, женственность и бережливость. Всегда раскованная, всегда элегантная в своих по одному фасону сшитых платьях — длинных, приталенных, чуть расклешенных книзу, преданная мужу, жившая по-европейски строго и дисциплинированно, как

неподатливую глину, лепила она по своему образу и подобию внучку... «Катенька-а-а! — звенел ее голос из дома в десять часов утра, — гаммы-ы!» И мама, самозабвенно игравшая в саду, пулей летела к пианино. Музыку в доме Кончаловских любили, Петр Петрович знал множество оперных арий и замечательно их исполнял, Ольга Васильевна с радостью аккомпанировала на пианино и считала, что и внучка должна. Маме же милее всего были прогулки в окружавшем усадьбу лесу и «прекрасное ничегонеделание». Отбарабанив обязательные, а потому ненавистные гаммы на рояле, на котором, приезжая в гости, играли Прокофьев и Софроницкий, она тайком уходила на кухню и с упоением слушала нехитрые, добрые разговоры няни и Лелиной помощницы Маши и ее деревенского родственника Тимофея, заходившего иногда почаевничать. Маша, оставшись в девицах, прожила у Кончаловских всю жизнь. Попробовала както поработать на фабрике, да не выдержав и двух месяцев, вернулась в идеологически-неправильное, но такое родное патриархальное гнездо.

Работы у нее в Буграх было много — с пяти часов утра, стуча босыми пятками по деревянному полу, приносила дрова, ставила самовар, доила коров, давала корм свиньям. Хряка звали «Тристан», свинку — «Изольда». Петр Петрович и Ольга Васильевна не жаловали Вагнера и «отыгрались», дав свиньям имена героев его какофонической оперы...

К кухонным посиделкам внучки у Маши Ольга Васильевна относилась отрицательно: «Не бей баклуши. Иди читать!» Мама брала книгу по живописи с репродукциями и... возвращалась к Маше. Показывала картинки, комментировала. Маша быстро-быстро вязала крючком белые салфеточки, одним глазом поглядывая в книгу. Дойдя до обнаженной Махи, семилетняя мама восклицала: «Маша, посмотри только! Ведь на ней ничего нет! А ты бы могла позировать ТАК?!» Маша испуганно мотала головой. «И я — нет, — убежденно продолжала мама, — ни за что на свете, даже за ириску!» С Машей мама всегда была откровеннее: та на нее не сердилась, не ругала. В Москве, коротая время вечерами, когда старшие уходили в гости, устраивала любимой няне настоящие концерты — изображала, как пел Дадочка, как заикался Сергей Владимирович.

По вечерам Кончаловские всей семьей ходили на речку Протву. Купания, правда, были на редкость коротки: только вроде бросилась в теплую, прозрачную, все песчаное дно видно, воду, как уже пора вылезать. Лелечка и здесь была неумолима — трех минут для ребенка вполне достаточно.

Когда затихал сад и слышалось только далекое грустное мычание возвращавшихся с деревенскими пастухами коров, мама садилась на крылечке, глядела на огромный красно-оранжевый шар солнца, медленно скатывавшийся за частокол желтых стволов высоченных сосен, и, пытаясь заглушить тягучую тоску по Наталье Петровне, считала дни до ее долгожданного приезда. Занятая воспитанием маленького сына, наведывалась она редко, да и Сергей Владимирович, убежденный городской житель, поездок в деревню не терпел, а если и появлялся в Буграх на денек, то большую часть времени проводил в машине, ожидая возвращения в Москву. Мама, после их коротких визитов, чувствовала себя еще сиротливее. «Катенька, ужинать!» — раздавался голос Лелечки из темного дома, и мама быстро скрывалась за дверью. Электричество не проводили. Как смеркалось, зажигали свечи и, поговорив за чаем о сделанном за день, пораньше ложились спать — завтра старших ждал день новый, как и все предыдущие, наполненный творчеством, а значит, счастьем.

...В один из приездов Натальи Петровны в Бугры, вечером, лежа в постели, мама тихо ее спросила: «Мамочка, а Иисус на самом деле воскрес?» Наталья Петровна верила, молилась, исповедовалась и повсюду возила с собой образок, но... слишком любила своих детей, чтобы сказать правду. Уж больно велик был риск — мало ли с кем ребенок начнет откровенничать на следующий день, — осведомителей было предостаточно. Присев на краешек кровати, она помолчала, вздохнув, погладила маму по голове: «Это была прекрасная легенда, — близкие унесли Иисуса и спрятали его тело... Спи, девочка». Мама послушно повернулась к стенке и закрыла глаза.

В 41-м Наталья Петровна уехала с детьми в эвакуацию в Алма-Ату. Пока все «эвакуриные» (так шестилетний Андрон Сергеевич переиначил «эвакуированные») сидели на чемоданах, пили валидол и думали, что делать, Наталья Петровна сходила на барахолку, притащила в выделенные ей две комнаты старинный стол и удобный диван, повесила купленные по случаю ковры, обустроила комнату детей и через два дня принимала ошеломленных ее «савуар фер» гостей. В эвакуации продолжала работать над переводами и детскими стихами, поддерживала отношения с московскими знакомыми, обшивала и обвязывала детей — все легко, умело, красиво — как умела лишь она.

После войны Сергей Владимирович получил большую квартиру на улице Воровского, рядом с Домом литераторов, и Наталья Петровна создала в ней удивительно уютную об-

становку. Маме больше всего нравился царивший там запах: кофе, горьковатых духов, шоколада, апельсинов и чего-то, дразнившего обоняние, но неопределимого, — так пахло благополучие. Раз только сгустились тучи — Александр Герасимов попытался травить Петра Петровича. К нему, понятное дело, примкнула стая злобствующих бездарей. Ольга Васильевна оставалась невозмутимой. На приеме к ней подошел знакомый художник, негромко сказал: «Ольга Васильевна, нападающие на Петра Петровича в подметки ему не годятся, плюньте!» Она, в неизменном вечернем платье вишневого бархата, с маленькой горностаевой пелеринкой на плечах и ниткой жемчуга на шее, с легкой светской улыбкой непринужденно ответила: «На всех плевать — слюней не хватит!» Завистники замолчали, когда в речи о русском искусстве Коба упомянул Сурикова — имя тестя стало для Петра Петровича охранной грамотой и семья вновь почувствовала себя в относительной, для тех страшных времен, безопасности.

...К Сергею Владимировичу власть благоволила, несколько раз звонил сам Сталин, добро внося правки в текст гимна. Родился второй сын, названный Никитой. Мама, наконец, жила с ними, в собственной комнате, — по тем временам редкость. Если нужны были деньги на чулки, ленточки и прочую девичью ерунду, обращалась к Сергею Владимировичу. Тот по-отечески ласково отвечал: «В-в-возьми там в шкафу из п-п-пачечки, сколько н-н-надо, К-к-катюша»... Все в маминой жизни было прекрасно, и этим она была обязана отчиму. Когда ей исполнилось шестнадцать и пришла пора получать паспорт, Сергей Владимирович с Натальей Петровной, позвав ее в кабинет, спросили, согласна ли она на то, чтобы Сергей Владимирович ее удочерил. Памятуя о всем, что он для нее делал, мама, не сомневаясь, ответила: «Согласна».

Когда об удочерении узнала богдановская родня, поняла, что поторопилась. В глазах добрейшей тетушки Лены читался немой укор, кузина Люся посмотрела свысока и спросила: «Я вот знаю день смерти моего отца в тюрьме, а ты?» Что маме было ответить? Не знала она день смерти отца, не помнила его лица, никогда не говорила о нем с Натальей Петровной, не принято было говорить о врагах народа. Она промолчала и первый раз почувствовала себя предательницей.

Рослая, с густыми темными волосами, которые она безжалостно обрезала, сделав удобный перманент, с большими каре-зелеными глазами, она выглядела старше своих лет. Больше всех на свете, кроме Натальи Петровны, любила она

тогда брата Никиту. Когда он родился, ей исполнилось четырнадцать и оттого было в ее любви что-то материнское. Однажды домработница несла супницу с горячим, только с плиты, борщом, а маленький Никита, заигравшись, на нее налетел и неминуемо бы ошпарился, но мама в долю секунды к нему бросилась и каким-то чудом прикрыла собой. Суп вылился ей на спину и страшно, до волдырей, обжег. Причитала домработница, суетились вокруг родные, а мама радовалась: «Хорошо, что не Никиток».

Выходя с ним, трехлетним, на прогулку и поймав умильные взгляды встречных теток: «Ой, сыночек-то какой красавец, весь в мамочку!» — сердито вырывала руку из ручки растерянного братика и делала вид, что не имеет к нему отношения. Начинал формироваться патологически стеснительный характер — похожий на отцовский, к тому же дополненный собственными комплексами и чувством вины. Злясь на появляющиеся формы, мама безжалостно бинтовалась, на воздыхания сокурсников (до замужества училась в Институте иностранных языков) никак не реагировала, от многозначительных взглядов появлявшихся в доме мужчин съеживалась. Часто ходила с подружками в опасные походы по горам Кавказа, принципиально не пользовалась косметикой, не любила хорошо одеваться. Единственной слабостью была обувь: Никита Сергеевич до сих пор помнит, как, напав на заморскую ортопедическую диковинку типа «Саламандры», она покупала сразу две, а то и три пары — впрок. С удовольствием занималась дома хозяйством, ночи напролет читала пьесы Островского и романы Диккенса, была не уверена в себе, а оттого необщительна, компаниям сверстников предпочитала одинокие прогулки по никологорскому бору и к двадцати трем годам прослыла среди друзей и знакомых неисправимым дичком.

ЗНАКОМСТВО

Брат моей мамы Андрей Сергеевич Михалков умел находить ярких, интересных друзей. В московской квартире Натальи Петровны и Сергея Владимировича и на их небольшой даче на Николиной Горе постоянно толпились молодые таланты: пианист Капустин, артист Ливанов, режиссер Тарковский, переводчик Миша Брук, композитор Слава Овчинников.

В один солнечный осенний день 1954 года появился на даче двадцатитрехлетний одаренный историк-эрудит, которого друзья ласково называли Юликом.

Из письма отца маме, 1955 год.

Очень часто вспоминаю сентябрь прошлого года. Ты стояла на террасе, украшенной цветастостью зелени, и гладила что-то, вроде простыни, я тебя увидел впервые. Говорили, что ты дикая и с тобой трудно. А когда я оказался рядом с тобой, мне стало хорошо. Они ничего не поняли, глупые. Мы говорили с тобой о твоем брате Никите. Ты говорила, что он дьявол, а я, не знаю почему, может, потому, что хотел показаться умным, разубеждал тебя придуманными на ходу цитатами Ушинского.

Думаю, отца привлекла в маме не только красота, но и неэмансипированность. Не пользовавшаяся косметикой, не курящая, не пробовавшая крепких спиртных напитков, постоянно чем-то занимавшаяся по дому или готовящая в лучших традициях Молоховец — не девушка, а дореволюционный атавизм — такого он еще не видел.

...День тот был особый — 8 сентября, именины Натальи Петровны, которые отмечались всегда шумно и весело. На открытой веранде, увитой виноградом, постелили выглажен-

ную мамой скатерть, накрыли праздничный стол. Обязательное меню: пирожки по рецепту Ольги Васильевны, салат оливье и рубиново-красная водка «Кончаловка», настоянная на ягодах черной смородины. На белых плетеных стульях расселись знаменитые актеры, критики, светские никологорские дамы — сухие, в кружевах, с оттягивавшими мочки ушей тяжелыми серьгами.

Папа уже тогда, где бы ни появлялся, привлекал внимание благодаря обаянию и уму, но в тот вечер, чтобы завоевать маму, устроил настоящий фейерверк. Швырял россыпи блестящих острот, рассказывал фантастические факты из жизни политиков и писателей, декламировал стихотворения молодых поэтов, разыграл импровизированный моноспектакль, изображая в лицах Сталина и его приближенных, делал смелые политические прогнозы на будущее, сыпал фразами на безукоризненном английском и крылатыми выражениями на пушту, а под занавес обошел остолбеневших гостей, согнувшись в три погибели и гнусаво напевая:

Я сродственник Левы Толстого, незаконнорожденный внук,
Подайте же кто скольке может из ваших мозолистых рук!

Наталья Петровна сияла — новый гость был интересен, а это главное! Она не терпела в людях глупость и серость, симпатичный юноша с острым умом и феноменальным чувством юмора понравился ей сразу и навсегда. А мама в тот вечер, готовя приятелю брата чай, в первый раз испытала к этому, почти незнакомому молодому человеку, столь отличному от остальных, не красующемуся, похожему на большого, доброго плюшевого медведя, чувство огромной нежности, и ей почему-то захотелось оградить, защитить его от неведомых опасностей и бед.

Узнав от общих знакомых (сам отец об этом не говорил), как мужественно он отстаивал Семена Александровича, мама посмотрела на него по-новому и за маской неисправимого оптимиста и искрометного весельчака разглядела грустного, настрадавшегося, а оттого не по годам взрослого человека, старательно прятавшего от окружавших сомнения и боль...

Из письма отца маме 5 января 1955 года.

С утра снег теплыми хлопьями снова начал ласкать землю. Так отец нежно укрывает замерзшего ребенка. Вокруг такая тишина, что даже слышно, как снежинки ложатся на землю. Сосны — летом размашистые и зеленые — сейчас скованы ос-

торожной лаской зимы и поэтому кажутся тонкими подростками. Зимний день догорает сиреневостью неба...

В комнате тихо играет музыка. Хорошая музыка любви и печали. Толстая лампа давит стол овалом света. Два человека сидят на разных концах стола и смотрят друг на друга. Иногда они улыбаются, пьют вино, морщатся от ядреной горечи выпитого, молчат...

Наверное, они не слышат музыку. Музыка для них слилась в общий тон счастья. Она ухаживает за ним. Он что-то ест и наверняка не чувствует вкуса. Потом они подходят к окну. Вдали у ворот фонарь ехидно моргает падающему снегу. Он, наверное, и им моргает — он хитрый, — фонарь. Все понимает, потому что очень много видел. Фонари все такие... В окно видны лозы зелени, которая летом делает дом веселым и зеленым. И сосульки милые и безалаберные...

Я попросил тебя подойти к окну — посмотреть на тот же снег, который в декоративном освещении фонаря шел и шел. Ты сразу вспомнила, потому что это помнили мы с тобой. Только ты и я. И больше никто. Знаешь, это, наверное, присуще любящим: помнить, понимать и чувствовать что-то, только им принадлежащее. И каждый любящий, наверное, думает, что так только у него одного, и это верно. Очень часто моя память с фотогенической чуткостью перелистывает страницы моей любви к тебе. И родная, верь мне, я листаю их с таким наслаждением...

Папа действительно очень хорошо помнил первые месяцы их романа — робкого, платонического. Мама то тянулась к нему, то, неуверенная в себе, стеснительная, дичилась. Тесно общаясь с Андроном, он постоянно на нее «натыкался» и понял, что отношения их не будут тривиальной интрижкой.

Из дневника отца, 1955 год.

...Когда я расстаюсь с тобой, всякий раз почему-то мне вспоминается яркое осеннее утро, наверное, потому, что в такое же яркое утро уезжал в Москву. Я вспоминаю все, даже самые мелкие детали. Мы с Андроном спали в каминной. Мне нужно было встать в шесть часов утра и успеть на автобус. Проснулся я в восемь. Проснулся от солнца, от шума ветра в лесу и от того, что ты была рядом. Я был весь во власти непонятного чувства то ли большой грусти осени, то ли чего-то, еще не понятого мной. Когда я проходил мимо твоей комнаты, услышал Никиту. Громким шепотом он спросил меня: «Юлька,

ты уезжаешь?» — «Да». — «А Катенька уже проснулась?» Я вышел в столовую и сразу же вышла туда ты. В халатике — он тебе чуточку мал, очень утренняя, не по-осеннему свежая и с ямочкой на щеке. Пришла одетая в модную пижаму старуха Абашидзе. Мы о чем-то поговорили — совсем незначащих вещах. Утро было чудесное, как музыка Скрябина: высокое-высокое небо, солнце, как бы нарисованное сочной желтой краской, и расцвеченные редкими солнечными лучами сосны.

Помнишь, выскочил Дик и стал играть со мной, хороший, глупый Дик. Ты яростно загнала его в конуру. Он боялся тебя. Я попрощался и пошел к выходу. Обернулся два раза — ты стояла и немножко грустно улыбалась. Глупая моя девочка хорошая. Помахал тебе рукой, ты тоже. Когда я галопирующей рысью шел по Николиной Горе, все нет-нет да оглядывался — думал: может быть, ты выйдешь на дорогу, нет не вышла.

Я думал, а что, если у шофера сломалась рессора и он стоит у магазина? Но автобуса уже не было — рессоры были в порядке. Подумал — а может, вернуться? Черт с ней, с работой, там Катька... Жирный грузовик затормозил рядом и чумазый шофер сказал — подвезу... Я поехал... В поезде, притулившись к окну, все вспоминал тебя, и ты меня чем-то страшила, наверное, чистотой своей. И я сам себе был страшен — ведь тогда тебя не было рядом...

...Однажды мы сидели в кабаке втроем — Митька Федоровский, Андрон и я. Пили водку. Андрюша стонал и, как всегда, требовал женщину. При этом он сшибал со стола ножи и рюмки. Митька, сдвинув брови над пустой бесцветностью глаз, мелодраматически хватался за голову. Я пил и улыбался. Мне было плохо. Потом Андрон, тоже, Меттерних, сказал: «Юлька, почему ты не звонишь Катьке? Женись на ней. Папочка достанет вам квартиру». Это было немного смешно, немного трогательно и немного гадко. При чем здесь квартира? Я ответил ему: «Дорогой, Катя не пара мне. Я не знаю, что может статься со мной... Она девушка, чистая. Будь она женщиной, она могла бы стать моей любовницей — приятно иметь такую любовницу, и вообще хватит про это...»

Я помню, как в начале октября я приехал к Андрону и встретил тебя. Ты вела Никиту в школу. Вы опаздывали. Мне хотелось побыть с тобой, а ты была вся колючая, как ежик, и порывистая. Я вас ждал внизу — Никитка кричал сверху: «Юля, подожди меня!» И ты звонко кричала в тот же самый пролет лестницы, в который сейчас шлешь мне поцелуй свой: «Не жди, Юлька, иди!» А я ждал. Ты схватила Никиту за руку и, увидев троллейбус, с норовистостью Н. Думбадзе убежала. Никак я не думал, что это от любви. Разозлился. Пошел гулять по улицам.

С тех пор я не видел тебя. В ноябрьские праздники я был один. Андрону привели какую-то толстую корову на смотрины. Андрон охмурял ее разговорами о Скрябине. Она смотрела на него интересующимися глазами, кокетничая и изредка зевая.

Мы шли с Андроном по усталому Садовому кольцу часов в пять утра. Моросил дождь, было тихо и безлюдно. Я люблю такую Москву. Андрон громко жаловался на одиночество и снова сердито требовал бабу, пугая грозящей ему импотенцией. Когда мы подошли к твоему дому, он спросил: «Ну почему ты не звонишь Катьке? Ты должен на ней жениться». Мы говорили о тебе. Мне было грустно. Потом я запойно играл в преферанс, пил водку и такая тоска меня грызла, Катька... Это не тот угар, в котором мне приходилось бывать. Тогда я был в строю, у меня мышцы были на спине от напряжения сведены. Я тогда был готов ко всему и ко вся... Хотя тоже был один. Сейчас же было бессилие. Иногда я целыми днями лежал в кресле и ничего не хотел и не делал. Просто и по-русски грустил. И осень вошла навязчивой рожей скуки и уныния. Ко мне приходили люди, собирали по десятке и пили. Смеялись... лицами, губами... В душе такой холод и пустота! И я подумал, ну что я теряю, я одинок, более одиноким стать не смогу, а могу стать самым счастливым. Я помню ту субботу. Я позвонил тебе, ты пришла, и у меня вырвалось наружу то, что долго скрывалось, — боль одиночества и желание быть с тобой. Утром, когда я встал, тебя уже не было. Ушла. Я мучился и думал, что, может быть, я сделал плохо. Но ведь я не мог иначе. Вернее мог, но это было бы плохо и неискренне. Я тогда вечером почувствовал, что ты мне нужна, как жизнь, как пьянящая радость деревенского утра. Я ушел к друзьям: смеялся, шутил и был горд сознанием того, что у меня есть Катя, которую я люблю и которая любит меня. А вечером, когда я был с отцом у его тюремного друга, мне становилось временами грустно и плохо. Особенно плохо стало, когда я услыхал голос Андрона. Он сказал мне: «Ты сделал что-то нехорошее». Я рассердился на него. И когда я пришел к тебе, то увидел, что ты не очень рада моему приходу. Так я тогда подумал. Ты рисовала на глянцевой бумаге какие-то фигуры и листала большущую книгу.

Я встал, попрощался с Андроном и пошел одеваться. Ты промелькнула в комнате, потом остановилась и спросила: «Уходишь?» — «Да, спокойной ночи». Андрюша был очень грустный. На улице была оттепель. Я запахнул пальто, посмотрел на старую вечерку, болтавшуюся в витрине, и пошел на троллейбус. Я был пустой и совсем заброшенный. Посмотрел на часы — я был у тебя пятнадцать минут. Короткий визит. Все. Больше я здесь не бываю. Точка. И вдруг — крик: «Юлька!» Это была ты. И это было началом.

Они «притерлись» очень быстро. Мама приходила к папе в Москве, он наведывался на Николку. Раз подарил котенка, который пристрастился сидеть у нее на плече. Отцовской гордостью был тогда мотоцикл марки «Ковровец», и гонял он на нем со страшной скоростью. Как-то на мокром шоссе его сильно занесло, закрутило и хрястко швырнуло на старый повалившийся забор. Очнувшись на мокрых досках, он огляделся: вокруг всего тела и нимбом вокруг головы торчали длинные ржавые гвозди — ни один даже не оцарапал его.

Родители поженились 12 апреля 1955 года. Поселились в квартире Семена Александровича и Галины Николаевны на Можайском шоссе. Когда через несколько лет в этот день полетел в космос Гагарин, стали шутливо поздравлять друг друга не с очередной годовщиной, а с Днем космонавтики... На свадьбу Сергей Владимирович и Наталья Петровна вручили молодым конвертик. После случая с папиным падением мама, и до этого не решавшаяся сесть к нему на багажник, стала испытывать при виде «Ковровца» такой ужас, что содержимое конвертика пустили на покупку крохотного москвичонка. На нем и поехали в свадебное путешествие в Крым: посмотреть на весеннюю Ялту и поклониться могиле Волошина. Заночевав в поле, наутро обнаружили, что в багажнике поселилась семейка полевых мышей — с ними и продолжили путь...

Когда спускались с горы, неожиданно отвалился рычаг коробки переключения скоростей. Папа растерянно смотрел на рычаг, оставшийся в руке, машина набирала скорость, а мама только тихо повторяла: «Держись, Юленька!» С трудом они затормозили и починили машину. Об этом путешествии папа написал:

Закат был красным. Желтой — пыль.
Апрельский Крым, дорога к переправе.
Никто, ничто забыть не в праве,
Тем более когда не сказка — быль...

Ковыль был белым; жаворонок пел;
Мотор хрипел; синело небо...
И на двоих буханка хлеба,
И жизни — на сто лет задел*.

Не все папины друзья приняли маму хорошо. Не знаю, чего было больше в этом неприятии — переноса на нее негативного отношения к любимцу властей — Михалкову или обыкновенной мальчишеской зависти. Из-за этого произошла

---

* Здесь и далее стихи Юлиана Семенова.

однажды неприятная история. Евгений Максимович Примаков снимал тогда для семьи небольшую дачу, там и собралась компания, которой папа решил представить жену. Мама не помнит, кто там был, вроде Серго Микоян и Степа Ситорян и еще кто-то, это не столь важно. Важно, что они встретили ее партийным гимном «Партия — наш рулевой». Евгений Максимович, не менее папы смущенный глупой шуткой — приятели его не предупредили, растерялся. Папа с мамой как стояли на пороге, так, не зайдя в дом, и вышли. За ними вышел Евгений Максимович с маленьким сыном. Маму тогда поразил этот замечательный четырехлетний человечек, копия Примакова. Он, не хуже своего отца поняв, что произошло что-то несправедливое и плохое, держался по-взрослому серьезно и совсем по-мужски пожал папе на прощание руку.

Несмотря на подобные сцены, отец с мамой в те годы был счастлив. В семье Кончаловских—Михалковых чувствовал себя легко и свободно. Сергея Владимировича и Наталью Петровну ценил за талант. Уважение, требуемое по отношению к теще и тестю, играть не приходилось — они его заслуживали. А маленького Никиту Сергеевича и юного Андрона Сергеевича он просто-напросто любил. Единственный ребенок в семье, папа всегда мечтал о младшем брате и всю свою нерастраченную братскую любовь и заботу отдал своякам.

Вспоминает режиссер Никита Михалков.

Когда Юлиан появился в нашем доме, он обаял всех. Он был человеком потрясающей контактности и удивительного, как бы шампанского темперамента. Очень хорошо я помню и его отца. Обаятельный, все время с сигаретой, все понимающий про то, что происходило. И, наверное, очень много в этом смысле давший Юлиану в формировании его мировоззрения. Юлиан уже тогда обладал огромной энергией и влиянием на людей, был чрезвычайно начитан.

Юлик стал разговаривать со мной, как с равным, что всегда подкупает мальчика, и подарил монгольский меч чингисхановских времен. Юлик вообще внес совершенно новую струю воспитания в наш дом — мужскую, с определенными вескими поступками, некую культуру отказа, когда имеешь право сказать: «Нет, я не буду, я лучше буду делать это», то есть брать ответственность полностью на себя. В определенном смысле я в Юлиане видел свою защиту. Вообще в нашей семье он имел большое значение. В конфликтах, которые возникали

между мной и братом, мной и мамой, мамой и папой, Юлиан всегда был позитивным сращивающим моментом. Именно поэтому мама его очень любила.

Отец постоянно старался свойкам чем-то помочь, подсказать, защитить. Раз одна из «доброжелательниц» семьи Михалковых наговорила отдыхавшей в санатории Тате мерзостей про восемнадцатилетнего Андрона Сергеевича. Поверив клеветнице, Тата на сына рассердилась и написала ему резкое письмо. Папа немедленно отправил теще «опровержение».

Из письма Н. П. Кончаловской, 1955 год.

Дорогая моя матенька!

Я только что прочитал Ваше письмо к Андрону и сделал для себя следующие выводы:

Мир полон людей темных, злых, бесчестных. Хотя нет, это слишком, может быть, резко. Просто в мире много дряни, завистливой и гадкой. Все то, что сказала Вам эта особа об Андроне, — сплошная ложь и гадость, причем зло преднамеренное: испортить Вам единственный в году отпуск. Все то, что Вам наговорилось, не стоит и ломаного гроша. В этой женщине сосредоточено ханжество, непонимание хорошего и честного, правда, выделяющегося из общей массы сверстников Андрона, желание гадить людям и марать их грязью. Почему я в этом так твердо уверен? Здесь стоит сделать небольшой экскурс к предкам. Пожалуй, редко кто, особенно из писательской братии, не распускал слухов о Сергее Владимировиче, не упрекал его в семи смертных грехах. За что? За талант, за высокий рост, за обаяние, за смех, за дружбу с людьми. Так? Так.

А почему нельзя упрекнуть молодого Михалкова-Андрона в тех же грехах, но с еще большей зависимостью, потому что он не лауреат, не знаменитость, а только сын знаменитости.

Очень приятно испортить настроение матери Андрона, очень приятно выступить в роли карающего нравы судьи! Андрон портит Колю Капустина? Чушь, вздор! Ничего он Колю не портит! Пожалуй, наоборот, помогает ему во многом. Хорошо одет?! А на что сейчас направлены усилия правительства? На то, чтобы народ был хорошо и со вкусом одет! Слушает джазовую музыку? А почему сейчас в Москве, в столице СССР открыто варьете? Почему и кем? Если бы Андрон считал джазовую музыку единственной, достойной преклонения, это было бы не то что бедой, но проявлением безвкусицы. Разве

можно Андрона упрекнуть в безвкусице? Он преклоняется перед Бахом, Моцартом, Рахманиновым, а в свободное время не отказывается послушать джаз. Разве это беда?

Я готов положить не то что правую руку, а просто голову за то, что Андрон — в основе своей кристально честный, неиспорченный и изумительно Вами воспитанный человек!

Я далек от того, чтобы делать Андрона безгрешным, ставить его на пьедестал, как образец законченной добродетели. Отнюдь! Есть в нем свои недостатки: он по-детски легкомысленен в вопросах женщин (но ему все же только 18, а мыслит он, как 25-летний), он влюбчив (а кто из нас не был в 18 лет таким).

Не знаю, в чем его еще обвинить. Хороший, честный, умный мальчишка. Честный друг и хороший товарищ.

Я твердо убежден, что все его недостатки (мизерные в сравнении с достоинствами) с годами пройдут.

Я абсолютно согласен с Вами в том, что ему нужно перестать бывать в ресторанах и пить пунши. Это абсолютно верно! Побольше скромности! Это тоже абсолютно верно.

Но говорить о его вообще испорченности — неправильно, ибо это anti — истинно...

Матенька, не надо обращать внимания на эти вздорные, злонамеренные россказни кумушек. Не верьте им! Это гадкие и злые люди. Поговорите об Андроне с Архангельским, с Руббахом, с его товарищами по училищу, наконец, с моим отцом — и Вы убедитесь, что все расказанное Вам о нем — ложь. Отдыхайте спокойно, матенька, и, уверяю Вас, Андрон сейчас, многое еще раз передумав и поняв, не даст Вам оснований беспокоиться и краснеть за него.

Отец любил искренно и нежно: несмотря на свой боевой характер, он никогда не был мачо, но один-единственный раз, в первый год после свадьбы, устроил сцену ревности. Они тогда сидели в гостях у оператора Мити Федоровского, в огромной, со множеством комнат квартире. Папа гудел с друзьями в столовой, маме, уставшей от табачного дыма и громких голосов, захотелось побыть в тишине, и она уселась судачить в одной из комнат с мамой Федоровского. Папа отправился на ее поиски и застал выходящей из спальни. Вообразив, что она там была с кем-то из его друзей, он ударил ее по щеке. Мама (характер тоже дай бог) хлопнула дверью, уйдя к Наталье Петровне. Поняв, что произошло глупое недоразумение, папа хотел ее догнать, но услужливые друзья не пускали. Он был в отчаянии: «Пустите, Катенька одна на

улице, сейчас же ночь! Опасно. Пустите же, я ей все объясню, она поймет!» — «Завтра объяснишь, Отелло! Будешь знать, как ревновать!» — сказали они ему и отвели в соседнее отделение милиции, чтобы не бежал просить прощения.

А папа оказался прав. Был второй час ночи, на улицах — ни души. Возле дома, на улице Герцена, за мамой погнался грабитель, схватил сзади и, пытаясь заткнуть рот, стал срывать дорогую шубу. Мама страшно закричала, из последних сил вырвалась — бандит до крови разорвал ей рот — и влетела на шестой этаж. Наутро пришел Семен Александрович, которого и Наталья Петровна и мама очень любили, и сказал: «Катя, Юлику плохо, он стал заикаться*. Вернись к нему, пожалуйста».

Мама вернулась. Они уехали вдвоем в заснеженную Ялту — был канун Нового года, помирились и больше эту историю не вспоминали. Никогда больше ничего подобного себе не позволял: кто бы на маму ни заглядывался, с ней ни заговаривал или ни начинал ухаживать. Страдал он страшно, внутри все бурлило, но он научился это скрывать. Много лет спустя в Венгрии в ресторане на маму слишком уж пялил глаза какой-то господин. Папа долго терпел, потом встал и вывел венгра, как нашкодившего мальчишку, за руку в холл. Неизвестно, что он ему сказал, но, вернувшись, напуганный бедолага немедленно поменялся местом с другом, сев к маме спиной, чтобы даже соблазна смотреть на нее не было.

---

* В минуты наибольшего волнения отец чуть заикался.

НАЧАЛО

Летом 55-го года мама впервые повезла отца в Бугры. Он столько слышал о них, что, казалось, прекрасно знает. Ему уже виделись высоченные американские орехи с раскидистыми кронами у самого дома, слышались трели соловьев, он улавливал восхитительный запах сирени (не какой-нибудь, а сорта «Петр Кончаловский»), старые половицы поскрипывали под ногами, потрескивали поленья в голландской печке, выложенной бело-голубыми изразцами, на которые любовался еще Пушкин, из столовой доносились звуки рояля...

Лелечка встретила их ласково и, расцеловав обоих, быстро увела маму на кухню, где шли приготовления к праздничному обеду. Было 12 июля, Петров день, и никто и представить не мог, что именины эти — последние. Как же работалось семидесятидевятилетнему Петру Петровичу в то лето! Как радовался он каждому утру, как торопился допить свой обязательный кофе, чтобы скорее оказаться в мастерской... За три дня — 12, 13 и 14 июля — написал он три чудесные работы, и довольная Ольга Васильевна проставила на обратной стороне не только порядковый номер и год, но и день — пусть все знают, какой Петечка молодец!

Предоставленный самому себе, папа побродил по яблоневому саду, тонувшему в пении птиц и жужжании пчел, осмотрел дом, жадно вдыхая запах дерева, кофе, яблок и красок, тронул клавиши рояля. Старый добрый «Беккер», как же много испытаний выпало на его долю. Папа вспомнил мамин рассказ про то, как во время войны, когда зимой 41-го в Бугры вошли немцы и дом стоял пустой, осиротевший (Дада с Лелей уехали в Москву, осталась лишь верная Маша, спрятавшая мебель и охотничьи ружья), в усадьбе поселились немецкие офицеры. Один из них пристрастился играть на рояле — далеко окрест, по заснеженному саду и лесу разносились мелодии Штрауса. А потом наши пошли в контратаку, немцев погнали, и однажды утром, в день отступления, офицер загрузил

«Беккер» на грузовик, прикрыл мешковиной и увез. Немцы отступали быстро, но наши были быстрее. Поняв, что не довезти ему рояля до родной Германии, офицер вернулся с ним в Бугры и, не обращая внимания на приближавшийся грохот русской артиллерии, проследил за разгрузкой. Только когда рояль оказался в столовой, на своем прежнем месте, он, погладив, как живую, черную, блестящую поверхность, вышел.

Пятьдесят лет спустя, холодной зимой, влезут в дом подростки из соседнего городка, побьют окна, напившись принесенным пивом, расшвыряют по полу бутылки, поломают мебель, искалечат припасенным молотком рояль. Так и останется он стоять в пустом доме — с оторванной крышкой, с выбитыми зубами клавиш — безмолвным, страшным укором...

Когда папа заглянул в залитую солнцем мастерскую, где по дощатому полу весело прыгали солнечные зайчики, Петр Петрович заканчивал натюрморт «Клубника на столе». Ярко-красные ягоды с зелеными листьями на коричневом столе были написаны так, что казалось, подойди к холсту, — и уловишь их запах. Затаив дыхание, он стоял за спиной Петра Петровича и завороженно наблюдал за работой, а потом решился спросить, отчего на палитре черная краска, ведь на картине ее нет. И Дадочка с удовольствием объяснил, что ни одну, самую яркую и солнечную картину нельзя написать без черной краски, потому что лишь она может передать игру света и тени.

Не знаю наверняка, но думается мне, что в той по-бунински светлой мастерской, подле доброго, красивого Петра Петровича все окончательно для папы решилось. Невысказанная боль за отца, невытравленный романтизм, глубокие, не по возрасту, знания, надрывные стихи, ревнивая любовь к «Тегочке» (так он называл маму) — все это, бурлившее в нем в первозданном хаосе, переплавилось в нечто, не объясненное наукой, но бесконечно прекрасное — вдохновение. Он начал писать.

Героем одного из его первых наивных рассказов стал молодой художник, погибающий на войне. Прототипом послужил сын Петра Петровича Михаил, раненный в финскую войну. Сразу после этого он и написал цикл рассказов «37—56» об отсидке отца и о 37-м. Расценивавшиеся как антисоветские, напечатаны они быть не могли, лежали в столе.

Главной работой отца в то время стала журналистика — много писал для «Огонька». Первая его командировка была

в Таджикистан. Он привозил захватывающие репортажи об охотниках на тигров, об отлове архаров, выходил в Северное море с рыбаками, бродил с геологами по тайге, побывал на стройках в отдаленных районах Сибири. Уже тогда четко обозначился его интерес к экстремальным ситуациям, далеким и опасным уголкам страны, «воинствующей» романтике и сильным людям...

Бродяжничал я много, —
Видел, как танцуют новоселы,
Отплясывая каблуками по паркету.
Я слышал споры жаркие в стенах аудиторий.
Курил махорку вместе с пастухами
И у костра сидел с охотниками вместе
И ввысь глядел,
Туда, где звезды,
Завидуя чуть-чуть
Тем, кто способен покорять пространства.
Несбыточного нет.
Мой Ту под солнцем стынет,
А я хожу, как херувим,
По тучам и жалею,
Что калош не взял и позабыл про джемпер.
А тут ведь небо,
Нет вокруг людей,
Которые с плеч сбросят ватник,
Чтоб тебе согреться.
И я кричу пилоту:
— Милый, летим скорей на землю!
Мне скучно без планеты нашей,
Без тех ребят, которые
В тайге штурмуют небо
Смолою шпал и синевою рельс.
Без рудокопов чернолицых из Балея,
Без рыбаков Мурмана бородатых,
Насквозь водой морскою просоленных.
Мне скучно без добра и без печали,
Без дел земных, пропахших пóтом,
Без радости трудов и переходов дальних...

Язык отцовских репортажей был лаконичен, стиль — эмоционален, герои — сильны и добры. Работал он без остановки, внимание на него обратили сразу, печатали в периодике много, но не обходилось и без печальных эксцессов. Со смехом отец мне однажды рассказал, как сделал материал страниц на пятьдесят — с историческими справками, философскими отступлениями, затаив дыхание, ждал публикации. Дождался. Напечатали одиннадцать строк. «И ты мог после этого продолжать работать?!» — изумилась я. «Как видишь, — усмехнулся папа, — только жахал материал уже не на пятьдесят страниц, а на сто двадцать — знай наших!»

Терпеливо дожидаясь, пока муж закончит очередной репортаж, молоденькая мама занималась домашними делами, иногда присаживалась на ручку его кресла и, выставив перед собой руки с длинными пальцами, печально говорила: «Ну почему, почему меня никто не любит?!» Если становилось совсем скучно, шла на радикальную меру: по-кошачьи тихо подкрадывалась к благоверному, сидящему за машинкой, и накидывала ему на голову свою цветастую, широкую — по моде пятидесятых — юбку.

Жили более чем скромно. Если проблем с жильем не возникло (сперва пожили у папиных родителей, вскоре разменялись, получив двухкомнатную квартиру на Кутузовском), то с деньгами было сложно. Часто на обед делили на двоих пачку пельменей. О машинистке и мечтать не приходилось, рукописи перепечатывала мама. Когда бухгалтерии запаздывали с выплатой очередных гонораров, она бежала с украшениями, подаренными Натальей Петровной, в ломбард, а через несколько дней, получив от папы деньги, торжествующе приносила их обратно. За помощью к родителям обращаться не любили...

Из дневника отца, 1963 год.

Второй раз я встретился с Полевым в 56-м году в «Огоньке», в международном отделе, в день, когда оформлял последние документы перед вылетом в Афганистан. Я тогда невообразимо торопился, нервничал и, по-видимому, светился радостью по поводу предстоящей загранкомандировки — первой в жизни... Полевой сидел в уголке на стуле нога на ногу, как всегда, улыбчиво поглядывая на людей. Когда тогдашний зам. редактора международного отдела Лев Николаевич Чернявский спросил: «Ну а сколько же мне писать — сколько ты зарабатываешь? Ты же ничего не получаешь постоянно», я засмущался и не знал, что ответить. Полевой сказал: «Ну да Господи, напишите, что получает 2.400». Мне захотелось подпрыгнуть и щелкнуть в воздухе пятками от счастья, но я этого не сделал, а сказал Чернявскому: «По-моему, это прекрасная сумма».

В Афганистане папу тогда поразил и удручил экзотический феодализм: по Кабулу бродили американские туристы, с азартом фотографировали на грязных улицах нищих и оборвышей, моливших о милостыне, и снимались на память на фоне бездомных, спавших возле дувалов.

...Во всех поездках и командировках отец вел дневники, на их основе написал в 57—58-м годах цикл ярких романтических рассказов, которые были напечатаны в толстом московском журнале. Тогда и взял литературный псевдоним Семенов (сын Семена).

Рассказы сразу же заметил молодой одаренный критик Лев Аннинский.

Вспоминает писатель Лев Аннинский.

Ранней осенью 1959 года новый главный редактор «Литературной газеты» Сергей Сергеевич Смирнов, просмотрев ворох статей, завалившихся в загоне при его предшественнике, вздохнул и пропустил на полосу мой опус под загадочным названием «Спор двух талантов».

Эти два таланта были: Юрий Трифонов и Юлиан Семенов. Первый — впервые за много лет после «Студентов» появившийся в печати с циклом грустноватых «туркменских» рассказов, и второй, дебютировавший в молодежном журнале с циклом «сибирских» рассказов, выдержанных в яростно-романтическом стиле.

Я в ту пору решил перейти из газеты в журнал «Знамя», и меня уже брали... Но мой «Спор» попался на глаза главному редактору журнала Вадиму Михайловичу Кожевникову. Тот, в свойственной ему нарочито-косноязычной манере, проговорил:

— Зачем, та-ска-ать, мы берем этого глухаря в отдел критики, он же, та-ска-ать, текста не слышит!

Меня, в конце концов, взяли, объяснив по секрету, что в юности автор партийно-эпического полотна «Заре навстречу» был одним из «мальчиков при Бабеле», и текст, та-ска-ать, слышит отлично, хотя в интересах дела иногда это успешно скрывает. Не буду углубляться в сей боковой сюжет, возвращаюсь к главному.

Итак, сижу я в своей литгазетной келье и млею от удовольствия, что напечатал свой «Спор»...

Вдруг приоткрывается дверь и в келью заглядывает симпатичная круглая физиономия, обросшая лесной бородой:

— Семенов... — Пауза. — Знакомиться пришел.

Я сообразил, кто это, ахнул и пошел ему навстречу. Много лет спустя я как-то заметил, что материнская фамилия «Ноздрин» в сочетании с «Юлианом» звучала бы куда ядренее, да и «Ляндрес» отцовский запоминался бы куда лучше, чем стертое «Семенов». Но в ту пору, когда я позволил себе это замечание, никакого «Семенова» никто отдельно не воспри-

нимал, а «Юлиана Семенова» знали все. Тем более знали «Штирлица».

Юлиан оказался добрейшим человеком, замечательным собеседником и заразительным выдумщиком. Передо мной встала проблема. Я вообще не очень сближаюсь с людьми, тем более пишущими, а если я пишу о таком человеке, то совершенно не могу общаться: это мне мешает. Пишу-то я об «астральном» теле, обретающемся в духовном космосе, а общаться приходится с телом эмпирическим, коснеющим в бренности. В общем, приходится выбирать: либо я о нем пишу, либо я с ним общаюсь. В случае с Юлианом соблазн общения был почти непреодолим и я поддался.

По иронии судьбы, Кожевников, над которым подшучивал Аннинский, стал вторым человеком после Полевого, на первых порах поддержавшего отца, и о их поддержке он всегда помнил. Самым страшным пороком считал неблагодарность. Учил меня: «Кузьма, старайся забыть зло, тебе причиненное. Если уж очень тяжко и обидно, представь, что твой враг, став стеклянным, со звоном разбился, — станет легче. А главное, помни добро. Нет ничего хуже неблагодарности».

Из дневника отца, 1963 год.

Второй мой главный редактор, с которым я, в общем-то, начал печататься в большой литературе, это Вадим Кожевников. Летом 1958 года, правильнее сказать в сентябре, я передал Сучкову цикл рассказов о геологе Рябинине. Рассказы всем понравились и ждали мнения Кожевникова. Числа 5-го сентября я помню — гулял, шел с Николиной Горы в Успенское, и было пронзительно чисто в небе, деревья стали желтеть, и Москва-река, обмелев, ощерилась бурыми песчаными обмелями, и тишина вокруг была — осенняя, остатная тишина. Пришел я в Успенское, заказал телефонный разговор с Москвой и услышал голос Уварова. Он сказал мне: «Плохо дело, Юлиан, — главный редактор забодал рассказы».

Тогда я относился к этому просто, потому что больше жил в журналистике, нежели в литературе, и отнесся к этому сообщению спокойно, сказав: «Ну, я так и думал». Уваров засмеялся своим тромбонным смехом и сказал: «Давайте приезжайте. Редактор — "за"».

Кожевников меня поразил лицом американского боксера, громкоголосостью и неумением слушать собеседника. Причем я

это говорю не в упрек ему, я Кожевникова люблю, считаю его талантливым человеком. Просто он, как истинный писатель, причем писатель характерный, где герои — сильные люди своего стержня, — слушает себя и героев своих, как мать слышит удар ногой ребенка под сердцем. Он — Вадим — говорит поэтому о себе и для себя. Когда Кожевников меня увидел, он тряхнул руку сильно и быстро и сказал: «Такие рассказы я готов печатать, если будете приносить, через номер». И он говорил правду, потому что «Знамя», начиная с 1958 года, печатало меня по три раза в году, если не больше, а для толстого журнала это весьма дерзко.

Он же — Кожевников — помог мне с командировкой на рыбацкие суда в Исландию и Гренландию. С ним, Борисом Слуцким, Николаем Чуковским и Виктором Борисовичем Шкловским ездили выступать по телевидению в Гомель, в Минск и Ригу.

Помню, мы как-то ходили с Вадимом по маленьким улочкам, и он рассказывал, как был здесь, в Риге, чуть ли не в 1927 или в 1926 году с командой боксеров — первое впечатление меня не обмануло: я сам, как бывший боксер, увидел в нем тоже боксера, только более высокой квалификации. Рассказал он мне потом прекрасную историю и о том, как он был в Турции, в Константинополе, и о том, как в 1945 году был в Италии, выполняя роль не только журналиста, но и крупного военного разведчика.

Сталин Кожевникова очень любил и прислал после того, как Вадим напечатал свою повесть «Март-апрель», в конверте десять тысяч рублей. Это считалось как у Николая к Пушкину — перстнем.

В июне 1958 года родилась моя старшая сестра. Счастливый папа ринулся в роддом. Выскочил из квартиры, лифта ждать не стал, перескакивая через три ступеньки, побежал по лестнице, упал и сломал руку. Дочке, по совету Натальи Петровны, дали имя Дарья, но папа предпочитал называть ее Дунечкой, в честь бабы Дуни. Вообще-то мама очень хотела назвать ее Ольгой, но потом испугалась за Ольгу Васильевну — нехорошая примета.

Бабушка с прабабушкой пришли смотреть на новорожденную, и Леля, смеясь, сказала: «Мы как четыре матрешки — друг из друга повыскакивали». Мама улыбающейся Леле радовалась, потому что после смерти Петра Петровича она потеряла к жизни всякий интерес. Куда делись характер, сила, выдержка? Куда пропал «кулачок», не то что плакать, даже

грустить не умевший? Купив в магазине туфли, пришла она домой, примерила и вдруг, по-детски скривив рот, горько заплакала. Домочадцы бросились выяснять, что случилось. «Туфли жмут», — ответила она, всхлипывая. Схватили туфли, бросились в магазин, обменяли, но поняли, что прежней Лелечки больше нет.

Однажды мама зашла к ней в гости. Ольга Васильевна стояла возле окна, глядя на высокие весенние облака, стремительно летевшие по светло-голубому небу, на молодую зелень деревьев на Новинском бульваре (тогда еще улице Чайковского), на солнечные блики на стенах домов, а потом, судорожно вдохнув воздух, хранивший замечательный запах масляных красок, спросила маму растерянно: «Как красиво... Только зачем все это нужно? Ведь Петечка этого не видит...»

Они пошли вместе на Новодевичье, на могилу Петра Петровича, Ольга Васильевна присела на скамеечку возле памятника и, задумчиво глядя на песок под ногами, сказала: «Сейчас бы разгрести песочек руками и лечь».

Посмотрев на правнучку, она через две недели умерла.

Дарья росла хорошенькой, но слабой, к году еще не научилась ходить, и папа решил отвезти ее летом в Эстонию, к морю. Остановились в маленькой чистой деревеньке Кясму на берегу мелкой бухты: полкилометра иди — прозрачной прохладной воды будет по колено, зато потом вдруг ледяной бездонный обрыв. Вокруг стоял бор с высоченными корабельными соснами, а по песчаным лесным дорогам ездили на дрожках молчаливые эстонские крестьяне. Поселились в небольшом аккуратном домике с одной светлой комнатой и русской печкой. На ней по вечерам папа подогревал морскую воду и устраивал дочке купания, чтобы окрепли ножки. Каждое утро толстая розовощекая эстонка весело кричала под окнами, звеня бидоном: «Дасал-лл-я малако-о-о!», что означало — Дашино молоко. Днем отец носил Дарью на руках смотреть коров и свиней, живших в аккуратных — ни грязи, ни вони — загонах. Больше всего ей понравились крохотные розовые поросята — чистые и веселые. Через три недели она пошла и первым делом направилась к поросятам, показывая дорогу родителям. В лесу поспела черника, и Дарья, помогая маме, рвала ягоды с таким рвением, что они у нее в руках превращались в черную кашу.

На Иванов день, 22 июня, деревенские юноши и девушки надели яркие национальные костюмы, разожгли вечером в бору огромные костры, прыгали через них, пели чудесные

песни, и среди всех голосов выделялся один — звонкий и сильный. Это пел знаменитый Георг Отс, приехавший в родные места на каникулы. Папа с мамой завороженно слушали, веселье шло далеко, но резонанс в лесу был, как в хорошем оперном театре... Воспоминания об этой поездке отец использовал через несколько лет в романа «Бриллианты для диктатуры пролетариата», описав и сосновый бор, и море, и маленький домик...

В конце июля, когда настала пора возвращаться в Москву, в полях зацвели полынь, сурепка, ромашки. Белая пыльца разлеталась по округе, оседала на асфальтовую дорогу, превращавшуюся из-за этого после дождя в каток. Машины туристов то и дело переворачивались, и благостную тишину нарушал лязг металла и матюги невезучих водителей. Папа, решив беречь дочь, первый раз в жизни забыл о скорости и ехал домой не спеша.

В ЛИТЕРАТУРЕ

...Первая книга отца вышла в 1959 году в издательстве «Молодая гвардия» и разошлась моментально. Называлась она «Дипломатический агент» и рассказывала о жизни первого российского посла в Афганистане Ивана Виткевича. Высшие российские сановники считали Виткевича государственным преступником, сотрудники английских секретных служб — блестящим русским разведчиком, Пушкин — замечательным ученым. Это был человек зоркого глаза, большого ума и доброго сердца. Сюжет был увлекателен, материалом отец, как историк-востоковед, владел великолепно, и тогда уже стало ясно, насколько он тяготеет к историко-политической хронике. «Поистине поразительна наука история, без досконального знания прошлого нет и не может быть устойчивой доктрины будущего», — говорил он.

Книга вызвала настоящую полемику. Серьезная критика ее одобрила, а в «Звезде» вышла статья под названием «Как писать исторические романы. Краткое пособие для халтурщиков». Критик Петров встал на папину защиту, опубликовав в ответ «Ведь они такие остроумные».

Отрывок из статьи Л. Петрова.

Говорят все остроумное кратко. Журнал «Звезда» поломал правило: больше половины «Горестных замет» в январской книжке занимает иронический разбор повести Юлиана Семенова «Дипломатический агент». «Замета» тянется почти на полторы журнальных страницы, и вся выдержана в старательно-язвительных тонах. Все состоит на девяносто процентов из цитат и на десять процентов — из тонких комментариев, где автор повести обвиняется в отсутствии вкуса и незнании материала. Все было бы наповал, если бы не досадные мелочи. Сущие мелочи! Составитель пособия, небезызвестный «читатель-писатель» горестно замечает: «Планета — слово

латинское». Но Пушкин (у Ю. Семенова) пускай говорит так: «По-гречески слово "планета" обозначает "бродяга"»... Очень жаль, но это действительно так. Приходится читателя-писателя отослать к работе Б. Казанского «В мире слов» (Лениздат 1958 г. 101 стр.) и к БСЭ.

Еще упрек. Герой повести в 1833 году говорит о сказках Пушкина. Но, как уверяет «читатель-писатель», сказки Пушкиным тогда еще написаны не были. Странно. Академическое издание сочинений А. С. Пушкина (1935 год) дает следующую справку: ...«Сказка о рыбаке и рыбке» написана в 1833 году, «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» — в том же.

Читатель-писатель еще раз схватил Юл. Семенова за руку. Пушкин-де не мог в 1833 году говорить о «Современнике», который появился, как утверждает автор «заметы», в 1835 году. Наблюдение, конечно, великолепное, но вот беда: Пушкин думал о «Современнике» и готовил это издание еще в 1832 году, а появился журнал все же не в 1835-м, а в 1836 году.

Автор «заметы» не довольствуется своими остроумными поправками по поводу Пушкина. Он смело учит Юл. Семенова ориенталистике, хотя повесть «Дипломатический агент» построена на историческом материале и автор, востоковед по образованию, изучал архивы. Но юмор сильнее истины. «Пусть афганский эмир сто лет назад, — смеется «читатель-писатель», — выражается в таком духе: "Слишком долго мы жили в изоляции!"» Остроумное место, но вот досада: более ста лет тому назад английская политика в Афганистане и Индии называлась официально «политикой изоляции», а в языке пушту, увы, уже столетия существуют слова «джалятоб» и «йавазитоб», означающие: «изоляция», «одиночество» (см. афгано-русский словарь).

И еще одно смешное место: «желая блеснуть востоковедческой эрудицивй, — иронизирует автор «заметы», — не затрудняйтесь раздумьями о мюридизме, смело пишите, что "мюрид" — это такая должность и что борцы Ибрагим Али и Джелали стали телохранителями, мюридами эмира». Вот и блеснули! Одна неудача только: «мюридизма» в Афганистане не было, а «мюриды» были и есть поныне. «Мюрид» на пушту обозначает «последователь, почитатель, пламенный друг».

Не будем оценивать всех остроумных пируэтов, проделанных «читателем-писателем» в его «замете», — повторяем, «замета» длинная. Не будем здесь разбирать и повести Юл. Семенова; можно отослать читателей к заслуженно положительным рецензиям или попросту к повести, 165-тысячный тираж которой разошелся в течение нескольких дней.

Хотелось бы посоветовать «читателю-писателю» из журнала «Звезда» не только много писать, но и читать побольше: очень жаль, когда его «заметы» бывают написаны без знания дела — ведь они такие остроумные!

Сколько же их было потом: некомпетентных, поверхностных, исходящих завистью сальери, шумливо хватавших за лодыжки — быть на одном уровне с критикуемым им не позволял карманный габарит.

Раз отец зашел с мамой в гости к Гладилину — все самозабвенно слушали записи Окуджавы. Когда началась очередная песня, Гладилин, нехорошо смеясь, сказал: «Катя, это — про тебя!» «А кто же виною? А ты же виною, что тенью была у него за спиною. Все тенью была, никуда не звала», — замечательно пел Окуджава, а Гладилин хихикал. Маму это неприятно поразило, — папа относился к Гладилину прекрасно... В «Юности», в кабинете у Мэри Озеровой в начале 60-х годов на стене был нарисован барельеф, наподобие барельефа казненных декабристов — «создатели» прозы журнала: первым был Гладилин, он раньше всех опубликовал «Хронику времен», затем Анатолий Кузнецов, автор «Продолжения легенды», позднее он работал на «Свободе» и погиб в Лондоне, следом шел Василий Аксенов — «Коллеги», потом отец — написанная им в 1961 году повесть «При исполнении служебных обязанностей» была первым откровенно антисталинским произведением, затем шли Булат Окуджава и Борис Балтер... Не знаю, за что Гладилин уже тогда потаенно не любил отца, но когда он уехал и понял, по прошествии нескольких лет, что как писатель на Западе не состоялся и уже не состоится, — остается лишь работа на «голосах», ненависть его приобрела вселенские размеры. Он не упускал ни одной возможности наговорить про папу гадостей в эфире, и убеждена, что его об этом не просило начальство, все — по собственной инциативе. Ни один серьезный западный журналист себе такого не позволял. Часто, даже негативно настроенные газетчики, встретившись с отцом и поговорив, становились его добрыми знакомыми... Папа терпел-терпел, а потом вывел в одной из книг карикатурный персонаж под фамилией Гадилин. Прототип после этого совсем обезумел. «Наймит КГБ», «грязный шпион», «преданный пес советских секретных служб» — сводил он счеты в прямом эфире. Слушая его перлы, мы только удивлялись, как в одном существе может быть сосредоточено столько злости. Папа считал, что можно не любить челове-

ка, презирать его, бороться против него — это по правилам, но он не принимал столь распространенный в России стиль «коммунальной кухни», бездоказательную истерику, подметность. Ему было ясно, что никакие не инструкторы ЦРУ писали эти комментарии бедному Гладилину — он с этим уехал из Союза, он дитя «нашей культуры», полемики и политической борьбы — с острым привкусом стукаческого доносительства, бездоказательности и желания утвердить себя, танцуя каблуками на теле поверженного противника. Отец был сильным человеком: если к серьезной критике внимательно прислушивался и вносил правки в последующие издания, то опусы завистников складывал в папку и забывал. Для него уже тогда главным в жизни стала работа. В ней он находил счастье и утешение во всех малых и больших горестях...

Да славься, шариковый паркер!
Моя защита и броня,
Господь охоронил меня,
Как лыжника надежный «маркер».

От всех невзгод я защищен
Высокой этой благодатью,
Я окружен моею ратью
Словес, понятий и имен.

Рождение миров счастливо,
Навечно мной приручено,
Любуюсь ими горделиво
Как из-за крепостной стены.

Безмолвный паркер, символ силы,
Мой бог и раб, мой нежный друг,
Взамен волнения — досуг.
Как бы судьба меня ни била.

Тобою я вооружен,
Опасен очень и спокоен,
Тобой одним я нежно болен,
Все остальное — быстрый сон,

Переходящий в пробужденье,
В заботы утренних тягот,
Тебя лишь мне недостает:
Маркеро — паркер избавленья!

...27 апреля 1960 года в Союзе писателей решали — принимать молодого автора Юлиана Семенова в свои ряды или не принимать. Собралось восемнадцать человек. Обсуждали книги «Дипломатический агент» и «Чжунго нинь хао». По-

следнюю нахваливали, потому что в ней нельзя было выискать ни одной, самой малюсенькой стилистической неточности. Ничего удивительного — писалась она в соавторстве с Н. П. Кончаловской — писательницей в самом лучшем смысле этого слова дотошной и въедливой. Зато за «Дипломатического агента» на молодом авторе отыгрались. Отца обвинили и в отбеливании царской политики в Средней Азии, и в идеализации реакционного царского генерала, и в наличии разнузданно-интимной сцены. Яростно-нападавших было двое: некие И. С. Гус и Л. С. Ленч. Их гневные монологи было до странного похожи. «Так сложились обстоятельства, что мне пришлось изучать историю Виткевича от первого до последнего дня его существования, все что было написано о нем на французском, английском и русском языках. Я должен сказать, что эта повесть ничего не стоит. Это чепуха. Я собирал материалы о Виткевиче двадцать лет. Я изучил отчеты и парламентские материалы, которые читал в американских и английских источниках. Это легкомысленная детская попытка рассказать о трагической судьбе замечательного человека. Это гимназический лепет!» — кричал И. С. Гус. «Правильно, — подхватывал Л. С. Ленч, — повесть меня оскорбила! Тема уже испорчена!»

Я попыталась найти что-то в энциклопедии о выступавших И. С. Гусе и Л. С. Ленче. О первом не нашла ни слова. О последнем две сухие строчки поведали, что спустя тридцать с лишним лет после 60-го года он не написал ни одного исторического романа, лишь юмористические рассказы и фельетоны. Из-за их выступлений папу в Союз писателей тогда не приняли. Решили подумать, прочитать все его произведения и собраться вновь через полгода. Прочитали, подумали и приняли, признав, что автор очень талантлив. Литературовед Б. Л. Сучков — член-корреспондент АН СССР, в будущем лауреат Государственной премии, отца в Союз писателей рекомендовавший, в тот день сказал: «В литературу вошел талантливый, сложившийся многообещающий прозаик, принесший в нее и свою тему и свою, очень своеобразную художественную манеру».

Отцовская манера была действительно своеобразна. Я порой думаю: неужели некоторые критики и литературоведы всерьез обижались, не находя в книгах отца буквального, слепого следования исторической правде, какой, кстати, она тогда виделась лишь партийным идеологам от науки, а не какой она была на самом деле? Разве писатель не имеет права симпатизировать одному из своих героев только потому, что он царский генерал или анархист, или белый

эмигрант? Разве он не имеет права на свое мнение, на свое видение истории, на свою, основанную на долгих размышлениях и анализе, трактовку тех или иных событий? Отец всегда с таким увлечением погружался в материал, в эпоху, в сюжет, что все им написанное казалось абсолютной правдой. Приведенные документы и письма «обязаны» были быть настоящими, и особо чувствительные литературоведы впадали в транс, обнаружив, что половина из них — плод авторского воображения. На мой взгляд, в этом ничего шокирующего нет, ведь не диссертации же, право, отец писал, а художественные произведения. Не его вина, что он писал настолько увлекательно и правдиво, что ему верили. Столь же абсурдно обвинять искренне играющего, вызывающего у зрителя живые эмоции актера во лжи или одаренного живописца авангарда в злостном извращении реальности. В последующем, щадя нервы по-детски легковерных критиков, отец называл свои исторические романы «версиями», прикладывая к некоторым из них предисловия маститых историков, которые доходчиво объясняли, что, дескать, с научной точки зрения, писатель, очень может быть и прав, а уж как оно было на самом деле, сказать весьма сложно.

Повесть «При исполнении служебных обязанностей» рассказывала о полярных летчиках. Один из главных героев — сын расстрелянного Ежовым полярника, другой — его друг. Отец был ярым сторонником достоверности и экстремалом, поэтому перед началом работы отправился на Северный полюс. В то время на дрейфующую станцию летал, отвозя полярникам все необходимое, легендарный летчик Илья Мазурук. О нем в полярной авиации говорили: «Не будь дураком, летай с Мазуруком». Папе повезло, и он полетел с этим асом. Огромная льдина, на которой находилась станция, перед посадкой неожиданно раскололась, и будь за штурвалом другой летчик, не приземлился бы самолет на уцелевший ледяной огрызок.

За несколько недель, что отец провел в крохотных домиках полярников, они его признали своим и на прощание сочинили четверостишие:

Чтобы тело и душа были молоды!!!

По старости годов аль от склероза,
Ты позабудешь нашу льдину...

Подтягивайся чаще,
Будешь вечно молодым, как в ту годину!

От коллектива дрейфующей станции

Оценив суровую красоту Антарктики, отец вернется туда в 1967-м и в 1990-м. В 1967 году, на острове со странным названием Средний Луга, произошел интересный случай. На территории расположения личного состава появился огромный белый медведь и уходить решительно не хотел. Полярники, опасаясь, что косолапый спутает их с тюленями, получили у начальства разрешение на отстрел редкого зверя и вручили папе, как охотнику со стажем, винтовку, дескать: «Выручай, борода!» Папа, в высоченных черных унтах на меху, в тулупе и огромной меховой ушанке, пошел на медведя, убил и в награду получил шкуру. Потом она тридцать с лишним лет занимала, среди множества других охотничьих трофеев, почетное место — на полу в кабинете, пугая входящих угрожающе оскаленной пастью с рядом длинных желтоватых клыков и черными стеклянными глазами, кажущимися живыми.

Повесть отец писал в Коктебеле, летом 61-го года. Рано утром плавал, потом садился за пищущую машинку до самого вечера. Писалось радостно. Тогда он познакомился с Маршаком, возил его по Грибоедовской дороге в Отузы, читал стихи Касым Хана и Рахман Баба. Они говорили об английских поэтах, о Волсворде и его трудной речевой особенности, об английском юморе, рассказывали анекдоты. Маршак вспомнил смешную историю о том, как он впервые приехал с сыном в Лондон. Их пригласили в гости к фермеру, который долго объяснял свой адрес, но так до конца объяснить не смог. Но Маршак хотел к нему попасть, потому что тот поселился один в лесу. Интересно побывать у человека, который живет отшельником — у такого и речь особая, и манера поведения своя. Маршак предпринял путешествие на второй день после приезда в Лондон, где он раньше никогда не был, а переводил Бернса, только опираясь на свой багаж английского языка, приобретенный в России. Он долго не мог найти тропинку, ведущую к дому фермера, и вот навстречу ему попался почтальон. Маршак, желая узнать который час, спросил его: «What is the time?» В силу того, что в английском языке крохотная мелочь меняет смысловое значение фразы, почтальон истолковал ее не как «Который час?», а «Каково время?» и скептически ответил: «O, that is very filosofical question!» («О, это слишком философский вопрос!»)

Отец рассказал чудесный анекдот про господина, решившего провести свой отпуск в пеших прогулках по Шотландии. Он шел из одного селения в другое и в каждой деревне видел десяток детей просто на одно лицо. Он спрашивал:

«Чьи это дети — такие похожие один на другого?» Ему отвечали: «Это дети почтальона».Чем дальше он шел, тем больше видел таких детей и тем больше хотелось ему посмотреть на этого почтальона. Он зашел на почту и спросил: «Скажите, а где тот почтальон, у которого так много детей?» Ему сказали: «А вон он сидит в углу». Господин увидел махонького, худенького, щупленького мужчину.

— Он?!

— Да.

— Ну как же он стольких мог наплодить?! Он же такой слабый!

— Ну и что? Он же ездит на велосипеде.

Маршак очень смеялся и сказал, что это действительно английский юмор.

...Они приехали в Отузы, сели на берегу моря с несколькими писателями, и тут к ним подошел здоровый — косая сажень в плечах — мужчина в полосатой пижаме. Он посмотрел на папу и выдал сакраментальную фразу:

— Ну, ну, молодой, а бороду отпустил!

Маршак посмотрел, сожалеюще качая головой, на мужчину и сказал ему:

— Как же вам не стыдно, ведь это наш гость с Кубы, Педро Сантьяго Пансарилья.

Лицо мужчины сделалось от растерянности глупым, а потом он сказал: «Фидель, Хрущев» — и стал пожимать своей правой рукой левую руку.

— Что ему перевести? — спросил Маршак. — Может быть, вы что-нибудь скажете нашему кубинскому другу?

— Да чего уж там говорить, — сказал мужчина. Он на секунду задумался, а потом его понесло: «Братский кубинский народ, воодушевленный решениями... » — и так на пять минут. Ну чтобы ему просто поговорить, так он — нет, с лозунгами, чтобы все было как положено. Он долго не мог выпутаться из своего приветствия, не зная, как бы его поэлегантнее закончить. Папа багровел от сдерживаемого смеха. Маршак посмотрел на него с укором и сказал:

— I like falsifications (я люблю фальсификации), — а потом шепнул на ухо: — Сейчас мы зашли уже слишком далеко, сейчас его нельзя обижать. Если он узнает, что вы русский — ужасно обидится.

Мужчина продолжал свое «краткое» выступление. Маршак его перебил и очень галантно, осторожно спросил:

— Вы знаете, вот товарищ кубинец — он журналист и писатель. И мы все — писатели. Мне интересно узнать: что читают ваши дети?

По папиным воспоминаниям, это получилось точно и здорово, как однажды у Чехова, который, когда к нему пришли дамы и стали щебетать о том, как они возмущены позицией турок по отношению к братской Болгарии, долго их слушал, а потом спросил: «Скажите, какой вы любите мармелад — фруктовый или молочный?» И вот тут-то дамы и стали теми очаровательными и прелестными, какими были на самом деле. Они принялись щебетать про мармелад, про то, как варить варенье, какую зелень класть в бульон. Чехов слушал их, качал головой и смотрел на них, улыбаясь. Так же вышло и тут: мужчина стал говорить о Чуковском, Маршаке, Михалкове, Гайдаре, жаловаться на то, что мало стали писать для детишек. «Так и скажите там Чуковскому с Маршаком, пускай больше пишут — заленились!»...

Когда проезжали мимо Генуэзской крепости, Маршак вышел из машины, долго смотрел на зубчатый венец крепости, опираясь на палочку, потом сказал:

— Я где-то недавно вычитал, что голоса людей не исчезают, а уходят наверх, к оболочке вокруг Земли и конденсируются там навечно, как наскальная живопись. Представьте себе, если ученые изобретут аппарат, который сможет улавливать эти голоса. Насколько тогда мы станем богаче и мудрее! Я бы хотел услышать голоса генуэзцев...

...Они возвращались в Коктебель в сумерках, машина неслась мимо виноградников, и вдруг Маршак, опершись подбородком на палку, стал читать Пушкина: «Чертог блистал...» Читал воодушевляясь, но все тем же тихим голосом, закрыв глаза, совершенно изумительно, так прочесть Пушкина не смог бы ни один мастер художественного слова. Потом замолчал, открыл глаза, и папа увидел в них слезы.

— Так писать никому больше не дано, — сказал Маршак, — даже непонятно, как можно так писать...

Когда Самуил Яковлевич вышел из машины — довольный, радостный, в длинном, чуть не до колен чесучовом пиджаке, смешно топорщащемся на нем, — и папа, проводив его до дома, вернулся в машину, их общий приятель сказал:

— Вы знаете, ведь у него рак...

А повесть, критикующая культ личности, вышла с большим трудом. Журнал «Знамя» ее печатать побоялся, «Мосфильм» расторг договор на сценарий — все ждали XXII съезда партии, опасаясь, что он будет объединительным — в ЦК снова войдут Молотов, Каганович и Маленков. Выручили «Юность» и, снова, Полевой.

Из дневника отца, 1963 год.

В «Юности» повесть всем очень понравилась, пошла от Мэри Озеровой к Сергею Преображенскому. Преображенский высказался «за», Розов — «за», Прилежаев — «за», Носов почему-то против. Словом, повесть загнали в набор. Номинально редактором тогда числился Катаев, хотя он уже — после эпизода со «Звездным билетом» в редакции не появлялся. Дискутировалась кандидатура нового редактора. Назначили Полевого, и он тут же попросил дать ему гранки первого и второго номеров, где начиналась моя повесть. Через три дня ко мне позвонила Мэри и попросила приехать к Борису Николаевичу. Когда я вошел, он, улыбчивый, поднялся, обнял меня и расцеловал. И было это до того приятно, добро, человечно, и до того по-настоящему, что меня чуть в слезу не потянуло. Человек он тонкий, это почувствовал и у него глаза заблестели. Говорил он тогда очень хорошие и добрые слова, очень спокойно. Сделал великолепные замечания. У меня там было, что Струмилин перед вылетом и посадкой надевал лайковые перчатки. Полевой засмеялся: «Мне раз пришлось надевать лайковые перчатки, когда я шел на прием к английской королеве, но они такие тонкие, что их практически только раз можно надеть, а потом россиянин с его грубой рукой наверняка разорвет. Так что, что касается лайковых перчаток, тут ты, Борода, загнул». Он еще сделал очень точное замечание о том, что летуны не говорят слово «кашне», а «шарф» в зимний период, потому что кашне — это беленькая шелковая полосочка, которая подкладывается под летнюю летную форму. Такая точность в мелочи дает достоверность в большом. За это я ему глубоко благодарен. Когда выбросили в цензуре три страницы, связанные с «Синей тетрадью» Казакевича и с разговором о Ленине в 1918 году и о Зиновьеве, — Борис Николаевич заботливо, вот уж точнее не скажешь — как отец, вписывал заново, сидя рядом со мной, строчки, которые бы прошли точно.

Смелая повесть не прошла незамеченной. В «Литературной газете» вышла статья «Чего хочет победитель», резко книгу критиковавшая. На этот раз, как ни странно, защита пришла из-за кордона. В июле 1962 года в «Посеве» появилась большущая статья А. Чемесовой под названием «Кто же виноват в сталинизме?».

Отрывок из статьи А. Чемесовой.

Кому много дано, с того много и спросится. Юлиан Семенов талантлив. Скажем больше, очень талантлив. Его герои живые люди. Они запоминаются. Важно отметить, что фи-

лософия автора, его мировоззрение, которое он высказывает устами главного героя, ничего общего с коммунистической материалистической идеей не имеет. «Мимо Сикстинской Мадонны можно пройти так же, как мы проходим мимо обычных репродукций. Надо всегда уметь видеть и всегда хотеть видеть — только тогда и увидится. И еще: когда человек делает мужественное и доброе, он всегда должен знать, что все будет так, как он задумал»... Не удивительно, что именно это мировоззрение и вызвало наибольшие нападения со стороны советской критики. Потому что принявший это мировоззрение человек становится духовно свободным и не склонен мыслить пропагандистскими партийными трафаретами. Более того, он непременно будет с ними бороться, добиваясь правды такой, какой он ее видит и понимает. То, что Семенов, правда негромко и несмело, но заговорил о своем мировоззрении, отличном от общепринятого, — несомненная его заслуга. «На льду, под холодным и прекрасным небом, таким огромным, что чувствуешь себя крохотной частицей — и не частицей мироздания, связанной с окружающей природой, как в лесу или в поле, а инородной песчинкой, невесть каким ветром сюда занесенной, — здесь нельзя думать о смерти. Подумавший погибнет. Нужно очень верить в жизнь, чтобы чувствовать себя здесь, как равный с равным — и со льдом, и с небом». Семенов во льдах, где родилась его повесть, сделал над собой усилие, чтобы стать равным. Ему это удалось не до конца. Высвобождение духа приходит не сразу, но оно приходит, если верить, хотеть и делать.

«Орех не вырастает из шелухи, только из ядра», — скажет в 1965 году критик Лев Аннинский. «Шелуха слов — ядро смысла», — продолжит он и закончит логический ряд фразой поэта: «А те, что в сердце не имели Бога, раскалывались, как пустой орех». «Ядро ореха» — так он и назовет свою книгу, в которой даст точный и глубокий анализ творчества Рождественского, Аксенова, Трифонова, Шатрова, Семенова, Евтушенко, Арбузова, Володина, Сулейменова и еще нескольких, наиболее талантливых молодых авторов, составивших тогда ядро советской литературы.

Отрывок из книги Льва Аннинского «Ядро ореха».

Среди представителей прозы молчаливых Юлиан Семенов отличался наибольшим рационализмом. Он должен был сыграть в развитии этой прозы ту же роль, какую сыграл Аксенов в прозе исповедальной, — завершить ее поиски цельной про-

граммой. Элементы этой программы появились в первых же рассказах Семенова. «Я — это романтика! И не смейте, не смейте порочить мое понятие романтики!» — кричит один из его героев профессор Цыбенко. В понятие романтики вошло также положение: «Счастье творят не в крахмальных манишках, а в рваных ватниках и в унтах». Семенов всесторонне обрисовал эту программу в повести «При исполнении служебных обязанностей». Он, подобно автору «Коллег», демонстративно подчеркивает неприятие всего, что связано с культом личности. Как и Аксенов, он не любит «словес», и его мужественные герои говорят тихо, спокойно и сдержанно. Он терпеть не может явного благополучия и не очень-то доверяет «красавчикам» — ему больше по душе грубоватая нежность. Он литаврам предпочитает гитару, и песни у его героев «спокойные и мужественные», а всего лучше — это когда «мужчины поют колыбельную песню». Сильный мужчина — вот герой Семенова. А главное для такого мужчины — «УВЕРЕННО ЖЕЛАТЬ». Юлиан Семенов пишет эти слова вот так же крупно, вкладывая в них особый магнетизм: «Если желать вот так же СИЛЬНО И УВЕРЕННО — сбывается желаемое».

Это Аннинский подметил очень точно — об «умении уверенно желать» папа всегда говорил нам, дочерям, и писал в дневнике: «По-моему, всякое желание в общем-то сила материальная, но материальность желания еще не понята некоторыми учеными, не расчленена на управляемые атомы. И чем дольше я живу на свете — тем больше убеждаюсь в том, что собранное в кулак желание, подчинение самого себя желанию, если это желание естественно, угодно разуму, угодно добру, а не есть порождение злого умысла, должно сбыться».

Следующая вещь, задуманная папой, была, как и предыдущая, о людях сильных — работниках угрозыска, которых он любил и называл на западный лад — сыщиками. Рискуя жизнью, получая смехотворные зарплаты и премии за раскрытые преступления, эти люди умудрялись оставаться веселыми и честными. Решив писать детектив, ясное дело, начал со стажировки на Петровке. Выезжал на места преступлений, осматривал с оперативниками трупы, участвовал в операциях по захвату вооруженных бандитов. Криминальных хроник в те времена и в помине не было — «в стране победившего социализма преступлениям взяться неоткуда», реальная ситуация с преступностью тщательно скрывалась, поэтому увиденное

стало для папы шоком. За себя он никогда не боялся, но за маму и четырехлетнюю дочь, которые оставались одни во время его частых командировок, испугался очень. В первый же после стажировки вечер решил установить дополнительную щеколду и так яростно забивал гвозди, что их острые концы вылезли с обратной стороны двери... Набрав достаточно материала, уехал с мамой в Гагры — писать.

Вспоминает академик Евгений Примаков.

Это были счастливые дни... Мы отдыхали в Гаграх, Юлиан вместе с твоей мамой, Степа Ситорян и я. Мы без жен были, поселились на одной даче. Юлиан тогда за двадцать дней «Петровку, 38» написал, — стучал на машинке, не пил, мы его и не утаскивали никуда — ему надо было сосредоточиться. Когда он закончил книгу, решили это отпраздновать и отправились вчетвером в Эшеры. Приехали в ресторан, застолье, выпили много, потом слово за слово с каким-то официантом, поспорили, в общем против нас поднялась соседняя компания и началась драка.

Твой отец с криком «Бериевцы!» перевернул на них стол, мама твоя дралась о-о-о-о, знаешь как?! Потом нас схватили, увидели у меня удостоверение корреспондента «Правды» — органа ЦК КПСС, испугались, но все-таки для страховки решили всех, кроме Кати, подержать в отделении с двумя милиционерами. В это время возле отделения притормозил автобус, набитый туристами-москвичами, и твой отец закричал: «Передайте на волю! (он умел играть, он при всем был еще и великий актер, он все время кого-то играл, в тот момент он играл узника, которого, схватив, заточили), что здесь арестован член редколлегии журнала "Москва" Юлиан Семенов!» Из отделения нас, конечно, вскоре выпустили.

Повесть принесла папе известность и признание, как мастеру детективного жанра. Власть детективы не жаловала за то, что они заостряли внимание на официально несуществовавших трудностях, псевдоинтеллектуалы делали «фи», дескать, «разве это литература?». А отец считал, что жанр детектива — жанр серьезный и может быть очень поучителен. Важен не жанр, в котором книга написана, а затрагиваемые проблемы. «Детектив происходит от английского "to detect" — изучать, выяснять, — говорил он, — и к этому жанру можно отнести и шекспировского Гамлета, где герой проводит расследование гибели отца, и "Преступление и наказание", и "Бесов" Достоевского...»

Отцовский герой Костенко, списанный им с гордости московского угрозыска, выпускника МГУ, полковника Вячеслава Кривенко, — умен, неравнодушен, добр и постоянно борется за справедливость, набивая себе шишки.. Его друзья — ученые, журналисты, писатели, бывшие бандиты и воры в законе. Он помогает молодым уголовникам, пошедшим на разбой от нищеты и безысходности. Костенко не ходульный служака, а думающий, анализирующий, чувствующий и сочувствующий человек, жизненную позицию которого можно охарактеризовать одним словом — «милосердие». Костенко появится в следующей повести из милицейской серии «Огарева, 6», и в «Репортере», и в «Тайне Кутузовского проспекта», дающей версию гибели актрисы Зои Федоровой, и в «Противостоянии». Когда на «Ленфильме» по этой повести будут снимать фильм, где Костенко прекрасно сыграет Басилашвили, папа повесит в кабинете съемочной группы фотографии пятнадцати предателей родины, проживавших в Нью-Йорке. Американская администрация этих военных преступников Москве отдавать отказалась за давностью срока, но он считал, что у памяти срока давности быть не может.

Рано пришедшая известность отца ничуть не испортила. Он остался добрым весельчаком, любившим, в коротких перерывах между работой, посидеть с друзьями, ласково называвших его «Бородой». Во время застолий цитировал Пастернака, перефразировав его четверостишие: «Быть знаменитым некрасиво, не это поднимает ввысь. Не надо заводить архива, над рукописями трястись, но надо ни единой долькой не отступаться от лица. И быть самим собою, только. Самим собою, до конца».

Вспоминает режиссер Никита Михалков.

Юлиан был планетой. Попадая в любую компанию, в любую атмосферу, он мгновенно становился магнитом для всех. Он фонтанировал рассказами, острым, веселым и едким диалогом. Будучи самим собой, он совершенно обезоруживал.

Быть самим собою для отца означало быть искренним, отстаивать свою позицию и не стараться во что бы то ни стало выглядеть «как все». Своеобычный, искрометный, живой, — не влезал он в навязываемые рамки. В нем не было даже намека на «совковость» — держался раскованно, носил старые джинсы, кожанку и упорно — бороду. Сейчас это ка-

жется дикостью, но в те времена бородатым делали замечания на улице, прорабатывали на собраниях, но папа ее не сбривал. Во-первых, его абсолютно не интересовало сакраментальное «что люди скажут?», во-вторых, не любил бриться, в-третьих, в странствиях по Сибири, Северному полюсу и Дальнему Востоку бриться ему было недосуг. Ни в бороде, ни в манере одеваться не таился вызов окружающим, — поглощенный литературой, о внешности он не думал, в зеркало на себя не смотрел. «Хипповый» стиль был удобен для работы и путешествий — остальное папу не волновало. Хотя много позднее проницательная Алла Пугачева предположила, что на редкость добрый отец носил бороду, чтобы казаться чуточку жестоким...

Из дневника отца, 1963 год.

Кстати о бороде. Мороки она мне доставляла в жизни много. Недавно вообще был забавный случай. Мы с Катей возвращались из Тарусы. В вагон электрички вошел пьяный лейтенант. Он был красив гусарской усталой красотой, с голубыми, навыкате, бараньими глазами, с точеной строчечкой усов. Он с трудом влез в вагон со своими удочками. На реплику одного из сидевших рядом ночных пассажиров о том, что, слава богу, вагон свободный, иначе бы не влезли, лейтенант сказал хрипловатым голосом, блудливо улыбаясь:

— Свобода — это осознанная необходимость.

Я засмеялся. Он посмотрел на меня внимательно и сказал:

— У, гадюка, тоже под Юлиана Семенова работаешь!

Тут засмеялась Катя. Лейтенант оскорбился и спросил:

— Что, не слыхали про такого, что ли?

Катя ответила:

— Нет, не слыхали.

И лейтенант долго объяснял нам, что сделал Юлиан Семенов в литературе и как он к нему относится. В конце он все-таки посоветовал мне бороду побрить...

И вовсе не обидно, когда какой чужой
Поддаст под ребра локтем,
Забудет имя вовсе
И кликнет «бородой».

И даже не обидно,
Когда к нему с душой:
Есть истины, и видно —
Чужой — всегда чужой.

Но Боже, как обидно,
Когда товарищ мой

Забудет имя вовсе,
Грозится: «Ну, постой!»

Свои! Забудьте букву!
Свои, сначала смысл!
Не страшно улюлюканье,
Когда убита мысль...

Мы рождены понятием:
«Отдай себя — другим!»
Из братства — это братское,
На этом мы стоим!

И если скудоумный — по полочкам — субъект,
Про нашу Третьяковочку — как про большой объект,
Про нашего поэта — листает том анкет,
Про наше бабье лето — «такого вовсе нет!»

То это оскорбленье!
К барьеру! Пистолет!
И к черту наставленья,
Инструкции, сомненья,
Ответ изволь, ответ!

ВЫБОР

ЭЛЕГИЯ В ЧЕСТЬ Г. М. МАЛЕНКОВА

Мы — короли в отставке,
Мы бывшие вожди,
Торгуем нынче в лавке
И в солнце и в дожди...

(Надо же чем-то занять время. Мы не можем без труда. Мы привыкли чувствовать себя нужными обществу.)

Торгуем барахлишком
Залежанных идей,
Морковкой, репкой, книжкой,
Портретами блядей...
О будущем не думаем.
О прошлом лишь скорбим,
Мы тлеем, не горим...
Нам нет нужды обманывать себя!
Нам ложь, как правда,
Мы не виноваты...
Мы подданные бывшего царя,
Солдаты мы, солдаты, да — солдаты!
Боленепроницаемость!
Ура!
Как проявленье высшего порядка
Мы ценим верность,
Свежий лук из грядки и
Мирный разговор вокруг костра...
На горло своей песне наступив,
Нахмурив грозно губы или брови,
Нам чужды страхи болести и крови,
В нас — лейтмотив, не нужен нам мотив!
Мы — бывшие, мы — бывшие,
Нам нет пути назад,
Заткнитесь вы, решившие,
Что кто-то виноват
И в тупости,
И в глупости,
И в трусости,
И в лжи!
Иди сюда, не бойся!
На циркуль! Докажи!
Ага, не можешь, парень!

Молчишь, как блудный пес!
Лети ж назад, наш бывший. Могучий паровоз!
Но только — без оглядки!
Но только не спеши!
Мы ценим лук из грядки,
Мы ценим игры в прятки,
Мы, бывшие вожди!

Эти стихи папа написал после отставки Хрущева, когда стало ясно, что реабилитация Сталина — вопрос времени. Коба лично вносил имя Леонида Ильича в список кандидатов Политбюро и секретарей ЦК, одобрил решение о его избрании первым секретарем Запорожского и Днепропетровского обкомов — Брежневу тогда и сорока не исполнилось. Сталин знал, что такие, как Брежнев, не подведут. Без интеллигентских затей, исполнитель, достойная смена. Он не ошибся — Леонид Ильич встал во главе заговора против Хрущева, при котором вылетел и из Президиума ЦК КПСС, и из секретарей ЦК, прозябал на «низовке» — заместителем начальника политуправления флота, — о Сталине скорбел, Хрущева ненавидел...

Подготовку к празднованию 50-летия советской власти начали загодя: Екатерина Алексеевна Фурцева и ее заместитель по театрам Владыкин вызывали писателей и драматургов, интересуясь, как они готовятся к знаменательной дате, и сообщали, что Министерство культуры объявило конкурс на лучшее драматическое произведение. Им нужны были книги и пьесы о герое молодом, современном. Вызвали и отца, а он, видя, что подувший ветер перемен сменился застойным штилем и страна занавесилась тряпицами лозунгов, в которые не верили даже самые идейные, находился в крайне редком для него состоянии растерянности. «О каком современном герое может идти речь, если вновь угодна ложь?» — думал с тоской папа и все чаще ловил себя на мысли об отъезде...

Для него понятие родины ассоциировалось прежде всего с языком — русскую литературу знал досконально, наизусть цитировал страницы Пушкина, Салтыкова-Щедрина, Достоевского, Радищева, Карамзина. Обожал бродить по букинистическим магазинам. Покупал подшивки дореволюционных журналов, старые книги, откапывал труды Бродского, Розанова, Бердяева. Путешествия любил страстно, но за кордоном начинал тосковать по живой русской речи.

Из письма маме. Венгрия, 1960-е годы.

Вот я и кончил работу, переехал из деревни в Будапешт. Смертельно хочу домой. Я так понимаю Алексея Толстого, ко-

торый рвался в Россию после трех лет эмиграции. Я бы, конечно, не выдержал больше трех месяцев — или спился бы, или пустил себе пулю в височную область черепа. Послезавтра я вылетаю к вам.

Всякий раз, когда отец, сияющий, возвращался из-за границы, я допытывалась:

— Пася, ну почему ты так радуешься, ведь там лучше! (У меня тогда перед глазами стояли полки магазинов с фломастерами, пеналами, куклами, жвачками, маечками и прочей девчачьей радостью — земной рай, чего же еще желать?!)

— Лучше, — легко соглашался он, — зато у нас к кому ни обратишься — все тебе по-русски отвечают, а это, Кузьма, счастье.

Тогда этот ответ казался мне пропагандой, и только пожив за границей, я поняла, насколько отец был искренен. Он страшился ностальгии, но все-таки заговорил об отъезде с мамой. Та не выдерживала за границей и двух недель, всегда вспоминала возвращение из турпоездки по ухоженной ГДР. Пока поезд полз мимо аккуратных немецких домиков и полей, добротных польских угодий (по тщательно скошенной травке прыгали пасторальные зайчики), у нее ныло сердце, скорее бы Россия. Наконец — долгожданная граница и родной пейзаж. Покосившиеся домишки, кривые заборы, согбенные бабульки с кошелками на перроне, на кирпичной стене склада с выбитыми стеклами криво выведенная белой краской надпись: «Вперед — к победе коммунистического труда!» — а чуть подальше, такой же краской, короткие надписи анатомического характера. Мама ликовала: «Наконец дома!» Выслушав аргументы отца, она не ставила ультиматумы, а спросила: «Юлик, я понимаю, что здесь будет писать трудно, но для кого ты будешь писать там?» Папа задумался. Он не сомневался, что найдет за кордоном «рынок». Человек скромный, он все же отдавал себе отчет, что с его способностями, энергией, фантазией и английским семью прокормит. Но он вспомнил лица слушателей на конференциях и литературных вечерах — веселые, задумчивые, восторженные, ждущие, благодарные, заинтересованные. У него был феноменальный дар держать зал: никаких записей, полная раскованность и экспромт, — люди слушали завороженно, как дети, — и согласился, что таких читателей не найдет. «А я и подавно не смогу уехать, ты же меня знаешь... Подумай о Даше... Каково ей будет без отца?» Мама приме-

нила «запрещеночку» — отъезд без дочери для папы был немыслим. Он остался.

Видя, что наступают времена, когда нельзя будет говорить правду открыто, решил прятать ее между строк, прибегать к иносказательности. Рассказывал, что фамилия одного из первых русских диссидентов, жившего в девятнадцатом веке, была Печерин. Лермонтов поменял одну букву, и царская цензура к «Герою нашего времени» не придралась, а читатели поняли. В сгущавшейся атмосфере застоя отец читателя будоражил, наводил на размышления, заставлял думать. Историк по профессии, он оперировал фактами, не кликушествовал, не считал основоположниками всех несчастий большевиков. Он знал, что после недолгого периода новгородской демократии вся история России — это история тирании и смуты. Отца удивляли квасные патриоты, отказывавшиеся видеть связь между сталинизмом и отсутствием демократических традиций в дореволюционной России. Лакейское угадывание приближенными любого желания самодержца и слепое служение Сталину приведенных им к власти безликих и бессловесных исполнителей. Разве не похоже? И всегда и повсеместно — полное пренебрежение личностью. Обратившись к Далю, он не нашел о личности практически ничего: «Личность — отдельное существо». Да приведенные ниже две пословицы: «Дело не в личности, а в наличности». «Служба с личностью несовместима». Все. В преемственности рабской психологии, столь угодной любой российской власти, и пренебрежении личностью видел отец первопричину большей части российских бед. Он любил Екклесиаста: «Что было, то и будет, и что творилось, то и творится, и нет ничего нового под солнцем. Бывает, скажут о чем-то: смотри, это новость. А уже было оно в веках, что прошли до нас». В проекции на нашу историю библейская мудрость приобретала пронзительно-грустный смысл.

От фурцевского предложения писать героя сегодняшнего дня папа тогда элегантно отказался, записав в дневнике: «Нельзя быть Иванами, не помнящими родства. По-моему, нам следует ставить фильмы и пьесы и писать романы о мировой революционности, начиная с Христа, через Бруно, Галилея, Кромвеля, Робеспьера, Халтурина, буров, сербов, турок и болгар, через Кемаля Ататюрка к нашим революционерам Гражданской войны. Если бы сейчас по-настоящему покопаться в архивах — в каждом областном архиве есть поразительные по своей трагичности и в то же время оптимистичности фонды, где записаны прошения крестьянских ходоков, жалобы и дарственные Красной гвардии; покопав-

шись в архивах революции и первых лет Советской власти, можно было бы сделать поразительные произведения...»

Отец огорчался, когда слышал: «Революцию сделали немецкие шпионы и масоны!» Он считал, что так говорить может только тот, кто квалифицирует русский народ универсальным дураком, позволяющим все за себя решать. А шараханья думцев, невесть что творившая охранка, смерть Столыпина, неразумные действия императрицы, Распутин, назначение на ключевые посты бездарей и безумцев, как Протопопов, страшные перебои с хлебом — кто в этом виноват, тоже масоны?

Канун революций 1905-го и 1917-го, премьерство Столыпина, первые послереволюционные годы — весь тот бурлящий, страшный период отца интересовал, и он не раз к нему возвращался в своих произведениях. Он не прославлял эпоху, а тщательно изучив характеры и события и найдя в противоборствующих лагерях достойные, значительные личности, рассказывал о них — с одинаковой симпатией и увлечением. В общей сложности он выпустил семь исторических романов о том времени: два из серии о Штирлице, два из серии «Версии» — о Столыпине и Гучкове, три из серии «Горение» и восьмой роман — «Аукцион», во многом автобиографический, но с ретроспективами в начало века.

Документ для отца был святыней. «Документ — это свидетель, это правда, это информация», — писал он. Еще в начале 60-х поняв, что поколение 2000 года будет поколением компьютеров, скоростей и информации, считал, что чем точнее писатель станет следовать за документом и правдой исторических лиц, тем лучше будет для читателя, потому что человек знающий — не глух и не нем.

«Информация литературы — категория чувственная, это некий сгусток знания и эмоции, самовыражение субъекта, живущего в мире объективных данностей, которые должно понять, проанализировать и затем обобщить в образ», — писал он и рассказывал, как математики сделали опыт — просчитали на ЭВМ процент информации, содержащийся в произведениях нескольких современных поэтов, считавших себя непонятыми гениями, и Пушкина. У современников уровень информации был близок к нулю, у Пушкина — достигал 100 процентов... «Память — коварная старуха, — говорил отец, — на одной памяти и на одном том, что когда-то это видел — не уедешь. Алексей Толстой не видел Петра Первого, но он умел работать в архивах и любил в них работать».

Перед каждой новой книгой папа читал огромное количество научных трудов, мемуаров, сидел в библиотеках, ра-

ботал в архивах по стране. И поползли слухи «доброжелателей»: «Семенов — работник КГБ, эвон сколько документов секретных приводит!»... О папиных связях с комитетом говорили да и сейчас говорят те, кому не лень, с редкой уверенностью. Разговоры эти напоминают диалог из романа Александра Червинского «Шишкин лес»:

— Николкин при Сталине при всех стучал.

— Женщина, что вы несете, он ребенком при Сталине был. Это старый Николкин стучал.

— Никто не стучал! Ну и люди. Как известный человек — надо обязательно обосрать.

— Россия.

...Одна старая, всеми забытая актриса описала в своих мемуарах такую сцену: 64-й год, юг, море. Семенов, влюбленный в нее без памяти, рассказывает о своей дружбе с Хемом и встрече со Скорцени, а она ему в ответ, такая гордая и красивая: «Тебе стучать приходится!» Поскольку не папа бегал за актрисами, а они вешались на него, с Хемом он, к великому своему сожалению, не познакомился, со Скорцени встретился в 1974 году, то есть через десять лет после описываемых событий, а в начале перестройки не поставлял на своей даче девочек работникам ЦК, как авторитетно заявила лицедейка, а основал первую частную газету «Совершенно секретно» и издательство ДЭМ, то о достоверности всех мемуаров лучше не говорить. Не приврешь — не будет красиво. Не будет красиво — не купят издатели. А жизнь-то прошла, и нет ничего впереди, и одиночество такое, что хоть криком кричи, и часы угрожающе громко тикают в пустой квартире. Тут не только Юлиана Семенова, маму родную обкакаешь с ног до головы, только б вспомнили о твоем существовании. По Достоевскому, «социализм — это когда все равны и все друг на друга пишут доносы», и стукачей в те времена действительно было немало. Папа в их число не входил. Не в его это было характере: открытый, увлекавшийся, романтичный, любивший выпить, он в любой компании так веселился, что на следующий день с трудом припоминал, что говорил сам, не то что другие. Да если бы отец и записался неожиданно в общество трезвенников, на подлость все равно бы не согласился. Он не пошел на компромисс с совестью в 52-м году, когда посадили деда и арест угрожал ему (за требуемым и неполученным отречением от Семена Александровича последовало бы обязательство «освещать» товарищей по курсу — лучший способ доказать лояльность), зачем сделал бы это, став знаменитостью и зятем могущественного Михалкова? Стоит сказать и о папиных

моральных принципах, о которых помнят все, кто его знал и любил (о врагах не говорю, к папиной чести его врагами всегда оказывались подонки, и их «à propos» внимания не заслуживают). Так вот, о принципах. Их у отца было пять: никого не бояться, никого не предавать, никому не завидовать, ни о ком не сплетничать, помогать, когда просят о помощи. Он твердо придерживался их до конца жизни. Обвинить в осведомительстве такого человека мог только тот, кто или очень ему завидовал, или любой ценой стремился привлечь внимание к собственной персоне. Но отрицать связь отца с КГБ было бы нелепо — он был с ним связан тесно и на самом высоком уровне. Дело в том, что чуть позднее, в конце 60-х, творчеством отца заинтересовался либерал и интеллектуал Юрий Владимирович Андропов и начал его поддерживать. Причин на то было несколько. Во-первых, искренне любил то, что отец писал; во-вторых, симпатизировал по-человечески; в-третьих, человеку образованному, сочинявшему стихи, Андропову было далеко не безразлично отношение к нему творческой интеллигенции, и при любой возможности он творческим людям помогал. Помогал, как мог, и отцу. Вербовкой это, даже с большой натяжкой, назвать трудно. Это был скорее интеллектуальный флирт просвещенного монарха с творцом. Да простят мне сравнение, Екатерина Вторая, переписываясь с Вольтером, крайне заботилась о том, чтобы произвести на него хорошее впечатление — исключительно потому, что ценила его, а не потому, что надеялась заставить великого бунтаря служить тайным интересам российской короны.

Вспоминает генерал-майор КГБ в отставке В. И. Кеворков.

Андропов был человеком одиноким. Все в Политбюро его побаивались, видя в нем человека с сильным интеллектом. Как только он пришел в КГБ, первое, что я от него услышал: «С интеллигенцией нельзя ссориться — она формирует общественное мнение». Юлиана он очень любил. Читал. Их идеи совпадали. Разведка занимала в их отношениях незначительное место. Для Андропова был очень ценен и важен общеполитический взгляд Семенова.

Частые папины поездки за границу — по два-три раза в году, да в капстраны, да беспартийного — дело по тем временам невиданное, были, конечно, «благословлены» Андроповым. Разумеется, никаких секретных заданий он там не

выполнял, просто Юрий Владимирович понял, что лататы папа не задаст, а дневников, впечатлений и материалов для новых романов привезет. «Писатель — не собака, ошейника не любит», — говорил отец. Андропов это понимал. Понимал, что ни пайками, ни деньгами такого человека не завоюешь, и дал то, к чему отец стремился, — свободу передвижения. В статье «Русский мир» Татьяна Толстая написала, что есть русские «легкие» и «тяжелые». «Тяжелые» создали образ русского медведя, отпугнули всех, кого могли, а «легкие» русские... Нет, лучше привести всю цитату целиком: «Среди инертного, потерянного народа есть и немало живых, веселых, любопытствующих и бескорыстно влюбчивых людей. Их главная страсть — тоже дальние края, чужие города, экзотические языки и чужеземные привычки. Эти люди — русское спасение и оправдание. Не зная устали, они ездят, говорят, кидаются вдаль, перенимают манеры, культуры, книги, привычки и приемы. Они читают, внемлют, восхищаются, обожают, они готовы все отдать, сами того не заметив, и уйти богаче, чем были, они, как дети, кидаются в любую новую игру, ловко обучаясь и быстро приметив, как улучшить и приспособить ее, чтобы было еще веселее, они строят, пишут, сочиняют, торгуют, смеются, лечат. Это они влюблялись безответно то в немцев и голландцев при Петре, то во французов при Екатерине Великой — и на полтораста лет, то в англичан, скандинавов, итальянцев, испанцев, американцев, евреев, индусов, эскимосов, эфиопов, греков. Влюблялись, перенимали что могли, выучивали чужие культуры и языки, перетаскивали к себе иноземные слова, дома и литературу — и те каким-то образом становились отчетливо русскими»...

Папа, безусловно, относился к породе «легких» русских. Возвращаясь из очередного путешествия, он, как комета, тянул за собой сверкающий длинный хвост новых знакомств. «Буржуи», привыкшие к советским чиновникам — зажатым зомби при галстуках, читавшим по бумажке, — буквально влюблялись в бородатого, раскованного, доброжелательного российского писателя, говорившего по-английски, как настоящий янки, и не скрывавшего, что в Союзе есть масса проблем и недостатков. Любовь иностранцев к отцу автоматически переносилась на Россию, и они приезжали в гости и становились настоящими друзьями. Он не занимался социалистической пропагандой, но и на западную жизнь смотрел без истерично-слезливого восторга, подмечая и зашоренность, и значительно меньший, чем в нищем Союзе (по статистике, россияне были самым читающим народом), ин-

терес к серьезной литературе и искусству. Но главное, он понял, что если Запад — край пусть не неограниченных, но очень больших возможностей, то Россия — страна идиотских, неограниченных запретов, и стал называть ее «Нельзянией». Недобро поминая российское «тащить и не пущать» и пословицу «Не нами заведено — не нам менять», старался говорить в своих книгах о необходимости изменений, о деле, о поступке, об инициативе, о Личности — именно с большой буквы, чем и приобрел симпатию либералов и западников.

Любопытно, что о «работе» папы на КГБ рассказывали «доброжелатели» в Союзе, на Западе только энергично поддакивал Гладилин. Единственная «шпионская» история произошла с отцом в Сиднее, где правый министр Барнс — ярый шпиономан — запретил ему въезд в Папуа — Новую Гвинею, где отец планировал собрать там материал для романа о Миклухо-Маклае, подружился с его внуком. Тогда все журналисты Австралии встали на папину защиту. Ведущие газеты пестрели заголовками: «Пустите Семенова в Папуа!», «Я не шпион, — говорит советский писатель, и мы ему верим!», «Долой Барнса!», и через месяц министра, как любил говорить папа, «схарчили»...

Если же отцу во время интервью за границей и задавали в шутку вопрос: «Правда, что вы полковник КГБ и агент 007 русских?» — то он весело отвечал: «Во-первых, уже не полковник, а генерал! А во-вторых, советское — значит отличное, и на порядковый номер 007 я не согласен. Я — агент 001!»...

Оставлю на время папины путешествия и вернусь к архивам. Поскольку генералом КГБ он не был, а Андропов появился в его жизни чуть позднее, в конце 60-х, то, чтобы добраться до нужных ему документов, отец обычно действовал таким образом.

Из письма маме, 1960-е годы.

Зайди обязательно в «Юность» и попроси их отправить письмо такого содержания:

«Председателю КГБ при Совете Министров СССР тов. Семичастному

Уважаемый товарищ председатель!

Редакция журнала "Юность" просит Вас разрешить писателю Юлиану Семенову ознакомиться с архивными данными о Дальневосточной республике в период 1921—1922 гг. Тов. Семенов начинает сейчас работу над романом, посвященным деятельности подпольщиков по борьбе с американо-японской агентурой».

Такие письма папа получал и в «Огоньке», и в «Москве» и, спрятав «охранные грамоты» на груди, отправлялся в очередную командировку. Иногда письма помогали, иногда возникали заминки — в архивах порой работали настоящие троглодиты.

Из дневника отца, 1963 год.

Дама, командующая Хабаровским государственным архивом, раньше много лет работала в НКВД, поэтому всякий приходящий человек рассматривается ею как потенциальный агент никарагуанской разведки. Каким унизительным допросам подвергла меня эта дама, как требовала точного ответа: какие люди меня интересуют из времен партизанской войны 1921—1922 гг. И все мои жалкие попытки объяснить ей, что литература — это не кандидатская диссертация, не пользовались никаким успехом. Когда я попросил ее дать из закрытого хранения ряд материалов 43-летней давности, она отказалась это сделать, ссылаясь на их секретность, а секретными там были, как выяснилось, фамилии белогвардейцев. Когда я пошел с письмом «Огонька» в Хабаровский КГБ и попросил их о помощи, они сразу же отправили к ней сотрудника и он попросил начальницу архива разрешить мне ознакомиться с материалами. Скрипя, исполненная недоброжелательности, она дала мне эти архивы. Я листал их, ничего нового там в общем-то не находил, а после того, как кончил работать над ними и выписывать в тетрадочку, — у меня отобрали тетрадочку и сказали, что пришлют ее после тщательного изучения в мою организацию, т. е. в «Огонек», а до сего дня не прислали... Это так унизительно и неприятно, это так воскрешает времена любимого друга пожарников, что потом приходишь в себя не день, не два, а неделю. Это я веду к тому, что в архивах, являющихся мозгом прошлых эпох, должны сидеть высокоинтеллектуальные люди, которые относились бы к собранным там документам не как к клочкам бумаги, а как к великому достоянию.

Всеволод Никанорович Иванов — один из лидеров антисоветского движения на Дальнем Востоке с 1920 по 1930 г., рассказывал мне в Хабаровске, что четыре крупнейших американских университета прислали во Владивосток в 1923 году, когда там совершился белый переворот, своих представителей с неограниченным счетом. А надо сказать, что во Владивостоке жили тогда лучшие семьи русской интеллигенции: Жуковские, Вяземские, Карамзины, и у этих людей за бесценок скупались письма, архивы, альбомы, портреты, рукописи, т. е. скупались бесценнейшие вещи...

Вообще в архивах сталкиваешься со страшными вещами и в то же время грандиозными по своей значимости. К примеру: во Владивостокском архиве я читал воспоминания бывшего премьер-министра Дальневосточной республики, старого большевика Никифорова. Этот человек писал в 1952 году: «Когда я увидел отступающие войска, я еще не мог тогда знать, что все это организовано врагом народа Постышевым»... В Хабаровском Госархиве лежит фото — на нем три человека. Среди них — бывший начальник Госполитохраны Дальнего Востока Иванов. Иванов перечеркнут чернильным крестом и на оборотной стороне сделана надпись рукой Губельмана, тоже старого большевика: «Тов. Иванов — враг народа. Необходимо его с фото убрать». Вот капля, в которой отражается мир. Губельман писал это в 1938 году. Он работал с Ивановым 20 лет и знал его как честного человека. И сейчас у этих старых большевиков, руководивших дальневосточными событиями, полный маразм. Когда с Никифоровым говоришь о Губельмане, он удивляется: «Да разве вы не знаете, что он делает мацу, замешивая ее на крови русских детей! Это же сатрап и палач!» А Губельман о Никифорове сказал: «Ну это же старый японский шпион, всем известный негодяй и преступник!»

Просто диву даешься, как могут люди так ронять себя. Они все в такой страшной склоке, так льют друг на друга грязь, что кажется, будто задались целью — все вместе — скомпрометировать то дело, которому служили.

Я о них писать — не смогу. Писать я буду о людях, которые погибли в 37-м году. Это чистые люди, не замазанные склокой.

Именно тогда отец и задумал Штирлица...

ШТИРЛИЦ

Истинность ватерлинии — символ мощности судна,
Здесь нельзя ошибаться — чревато крушением в шторм;
В любви, войне и творчестве, видимо, самое трудное —
«Сухая трезвость оценок», — как утверждал Нильс Бор.

Океаны, какими видятся, открыты для каждого смертного,
Предмет океанографии понятен отнюдь не всем.
Охотник, знающий истину, кормит слепого беркута,
Ведь тот, кто молчит — не значит, что обязательно нем.

Единственным, кто уверовал в реальность Штирлица сразу и безоговорочно, был Брежнев. Посмотрев фильм «Семнадцать мгновений весны», он потребовал немедленно присвоить ему звание Героя Советского Союза. Леониду Ильичу объяснили, что Штирлиц — фигура вымышленная, но он не поверил и вручил золотую звезду актеру Вячеславу Тихонову, исполнявшему роль блестящего разведчика. Правда, не Героя Советского Союза, а Героя Социалистического Труда. Рядовые читатели не отличались такой доверчивостью и часто у папы допытывались, существовал ли такой человек на самом деле, где живет, что делает. А было все вот как: в начале 60-х, прорвавшись в очередной раз в архив, отец наткнулся на копию записки времен Гражданской войны. В ней известный военачальник Блюхер получил уведомление от Постышева: «Сегодня перебросили через нейтральную полосу замечательного товарища от Фэда*: молод, начитан, высокообразован. Вроде прошел нормально». Как папа узнал много позднее, тот разведчик с успехом справился с заданием, обосновался во Владивостоке, занятом тогда японцами, и работал журналистом в крупнейшей белогвардейской газете. Эта маленькая записка и стала толчком для создания, как говорил отец, «героя чистого, смелого, доброго», главным достоинством которого была способность трезво

* Ф. Э. Дзержинский.

и много думать, принимать в экстремальных ситуациях ответственные решения и самостоятельно отстаивать их до победы.

Штирлиц — образ собирательный. Взяв за основу молодого разведчика из записки Постышева, отец многое позаимствовал из характеров таких замечательных людей, как Леопольд Треппер — знаменитый руководитель Красной капеллы, Шандор Радо — гордость советской разведывательной группы в Швейцарии, шифровки которой о происходившем на совещаниях Гитлера попадали в Москву в тот же день (его отозвали в Союз, из аэропорта отправили в тюрьму), Абель, Зорге, брошенный на произвол судьбы советским руководством, Кузнецов. В одном интервью папа сказал: «Если писатель хорошо узнал их всех и через них глубоко и тонко прочувствовал своего героя, всем своим существом уверовал в него, то он, герой, хотя и вымышленный, собирательный, впитав живую душу и кровь автора, становится живым».

Отец придумал Штирлицу любопытную биографию: ровесник XX века, сын петербургского профессора права и убежденного меньшевика Владимирова и дочки украинского революционера, он растет подле отца, эмигрировавшего в Швейцарию после сибирской ссылки, и сызмальства знает всех руководителей российского левого движения (малышом принимает Литвинова за Деда Мороза и сидит у него на коленях, слушая сказки). Получив блестящее образование в Цюрихе, он возвращается после революции в Россию, становится одним из первых разведчиков.

Романтик, поклонник Платона, молодой Владимиров-Исаев считает, что государство может и должно быть высшей формой справедливости. Он не слеп — видит царящую вокруг жестокость и дикость, но верит, что они исчезнут, как только культура придет в новое общество в образе справедливого высшего судьи, не прощающего варварства...

Первый роман из цикла о Штирлице под названием «Пароль не нужен» был написан в 1964 году в маленькой деревеньке на Плещеевом озере, что у Переславля-Залесского. Разведчик, тогда еще Владимиров-Исаев, оказывается на занятом японцами Дальнем Востоке и борется с оккупантами. Одно из главных действующих лиц — легендарный маршал Блюхер (арестованный во время чисток, он выколет себе в кабинете следователя глаза, чтобы не выходить на открытый процесс как иностранный шпион).

Когда Владимиров-Исаев знакомится со своей будущей женой Сашенькой — дочкой идейного оппонента, то пока-

зывает ей ту сторону жизни, которую она, двадцатилетняя, никогда не видела: портовых проституток, торговцев детьми, притоны наркоманов, чудовищную нищету. Ошеломленная и повзрослевшая, она понимает, что истина открывается лишь стремящемуся узнать, а прячущийся за категоричностью однозначных оценок или не уверен в себе, или страшится мысли. Молодой разведчик исповедует знание, руководствуясь китайской мудростью: человек должен верно познать предметы, его окружающие, ибо только в случае верного познания предмета он сможет правильно организовать разрозненные сведения в единое знание. Если знание широко и разносторонне, оно превращается в истину. Приближение к истине позволяет человеку найти правильное поведение в жизни. Он против крайних мер, редко идет на жестокость: сказываются его принципы, характер и воспитание отца — гуманиста и интеллигента, но искренно верит в революцию. Он готов жертвовать ради нее самым дорогим. Подчинившись приказу, Владимиров-Исаев уходит с белогвардейцами в эмиграцию, а Сашенька остается во Владивостоке.

Сюжет романа «Бриллианты для диктатуры пролетариата», написанный семь лет спустя, но рассказывающий о первых месяцах Владимирова-Исаева в России, основан на реальных фактах, отысканных папой в переписке Ленина с начальником особого отдела Восточного фронта Г. Бокием и в архивах Октябрьской революции. В романе разведчик успешно раскрывает дело о краже бриллиантов из Гохрана...

Перечитывая эти на редкость актуальные романы, я наткнулась на грустную, особенно в сегодняшнем контексте, фразу: «Демократию в России нужно защищать щитом и пулей, иначе народ демократию эту прожрет, пропьет, проспит»...

...Военная тема отца волновала с юности: страстный поклонник Жукова, Рокоссовского, Мерецкова, Василевского, он досконально знал их мемуары. Позднее подружился с Шандором Радо. Разыскал в Токио японку, любившую Рихарда Зорге. Чем больше он «уходил» в тему, тем больше поражался замалчиванию целых пластов истории того периода: расстрелы блестящих военных, абсурдная беспечность накануне войны, обернувшаяся миллионами потерянных жизней, необъяснимое логикой игнорирование любой информации наших разведчиков, предупреждавших о грядущем. В тот период и произошла его случайная встреча с маршалом Жуковым.

Из дневника отца, 1960 год.

Этой осенью, когда я сидел и работал в Гаграх, как-то раз мы пошли со Степой Ситоряном, Женей и Катюшей в открытый театр послушать концерт московского эстрадного коллектива «Юность». Это было ужасное, утомительное и унизительное зрелище. Вел концерт развязный конферансье по фамилии Саратовский. Мы сидели во втором ряду, а перед нами, в первом ряду, в великолепнейшем модном костюме с разрезами сидел гладко выбритый, ухоженный, красивый маршал Жуков со своей женой и маленькой девочкой — то ли дочкой, то ли внучкой. Сидел он в окружении людей, удивительно напоминавших мне нэпманов (хотя я их воочию не видел, но по архивам представляю себе достаточно ясно). Все они были одеты как истые европейцы, но только все дело портило, когда они улыбались: у всех у них по 32 вставленных золотых зуба. По-видимому, это считается наиболее верным помещением капитала в наши дни. Старик еврей, который сидел рядом с женой Жукова, спросил ее: «Скажите, а генерал-полковник Кайзер — еврей?» Она повернулась к Жукову, который в это время, замерев, смотрел сценку из армейской жизни — лицо его было радостное, глаза под очками добрыми, и спросила его: «Скажи, пожалуйста, Гриша, ты знаешь Кайзера?» —«Да». — «Кто он?» — «Командующий Дальневосточным военным округом». — «А он — еврей?» — спросила женщина. Маршал ответил ей коротко и резко: «Ну!» В это время сценка из армейской жизни кончилась, и Жуков с азартом мальчишки стал аплодировать. По всему летнему театру шел шорох, и все старались на него как-нибудь поближе посмотреть. А старый нэпман в белом джемпере сказал, ни к кому не обращаясь, но желая, чтоб его услышали мы, сидевшие сзади и обменивавшиеся всякого рода соображениями: «Пэр Англии. У него там есть поместье и место в парламенте». Потом мы выяснили, что это действительно так. Жуков в 1945 году был награжден орденом Бани — высшим королевским орденом Англии, а человек, награжденный этим орденом, автоматически становится членом палаты лордов: там есть его место, которое всегда пустует, ему выделили участок земли, который называется «Графство Жуков».*

...Отец тогда только вернулся с Дальнего Востока — собирал материалы к роману «Пароль не нужен», с огромным трудом нашел что-то про расстрелянных Блюхера, Постышева и Уборевича. В Красноярске ему рассказали про жену

---

* Е. М. Примаков.

Зорге — Катю, погибшую вскоре после мужа. Сведения были противоречивые, личность Зорге папу очень интересовала, и после концерта он подошел к маршалу с вопросом, знакомо ли ему имя разведчика. Жуков ответил, что ни одно из его донесений ему не докладывали. Позднее папа выяснил у Чуйкова, что Филипп Голиков, ставший начальником разведки после расстрела Яна Березина, на всех донесениях Зорге писал: «Информация не заслуживает доверия». Поэтому начальник Генерального штаба ничего о Зорге не слышал. Да и Хрущев узнал совершенно случайно, посмотрев у себя на даче фильм Ива Чампи «Кто вы, доктор Зорге?». Тогда и дал посмертно Героя Советского Союза...

Отец продолжал «бредить» темой советских разведчиков в тылу врага. Тот факт, что о многом власти предпочитали умалчивать, только подзадоривал его. В 1967 году вышел его роман «Майор Вихрь» о блистательной операции советских разведчиков, спасающих от разрушения красивейший Краков. В произведении действует сын Штирлица — Саша, а у самого Штирлица «эпизодическая роль». Тогда-то и позвонил папе первый раз Юрий Владимирович Андропов, и неожиданный звонок был расценен им, как настоящий подарок. В тот вьюжный зимний вечер он сидел на московской квартире на улице Чайковского (теперешнем Новинском бульваре) с братьями Вайнерами — был их крестным отцом в литературе, отредактировав и «сосватав» в издательство первый детектив, и пил водочку, закусывая пельменями. Неохотно подняв трубку требовательно звонившего телефона и сообразив, кто на том конце провода, моментально стал, как стеклышко. Андропов спросил отца, не думает ли он, что пора поподробнее написать о деятельности наших разведчиков в годы войны в тылу врага. Отец, возликовав, ответил, что давно пора. Так на свет и появился роман «Семнадцать мгновений весны», где Владимиров, он же Исаев, он же Макс фон Штирлиц, штандартенфюрер СС на службе у Шелленберга снова выступил главным героем.

Готовился к нему папа, как и к каждой вещи, серьезно и долго: читал, работал в берлинских архивах, а написал за семнадцать дней. В основу сюжета положен реальный факт переговоров Гиммлера с американскими властями, о которых он вычитал в опубликованной в Союзе и бывшей в открытой продаже переписке глав трех союзных держав. В этом романе, впервые со времен войны, немецкий генералитет не был выставлен как сборище кретинов. Многих из них отец описал как людей умных, образованных и способных порой на добрые поступки. А один из самых симпатич-

ных персонажей, пастор Шлаг, обязан своим существованием критику Льву Аннинскому, зашедшему как-то к папе на огонек, когда тот готовил материал к роману.

Вспоминает писатель Лев Аннинский.

— Юлиан, я не владею логикой тайных агентов.

— А я этого от тебя и не жду, — успокоил меня хозяин дома, налаживая диктофон. — От имени Штирлица буду говорить я. А тебе предлагаю в этом диалоге роль пастора.

Радушная жена Юлиана Катя только что накормила меня вкуснейшим обедом, и я расслабился настолько, что для интеллектуального диспута требовалась срочная перестройка.

— Какого ...пастора? — спросил я.

— Нормального протестантского пастора, гуманиста и философа. Защищайся!

Юлиан щелкнул клавишей диктофона:

— Так что же получается? Если пересадить Господа Бога с державных высот и сердечных глубин под корку отдельно мыслящего индивида, все остальное устроится само собой: и государство, и общество, и братство?

— Само собой, господин Штирлиц, ничего не устраивается, разве что пищеварительный процесс, да и то если поешь. А насчет подкорки...

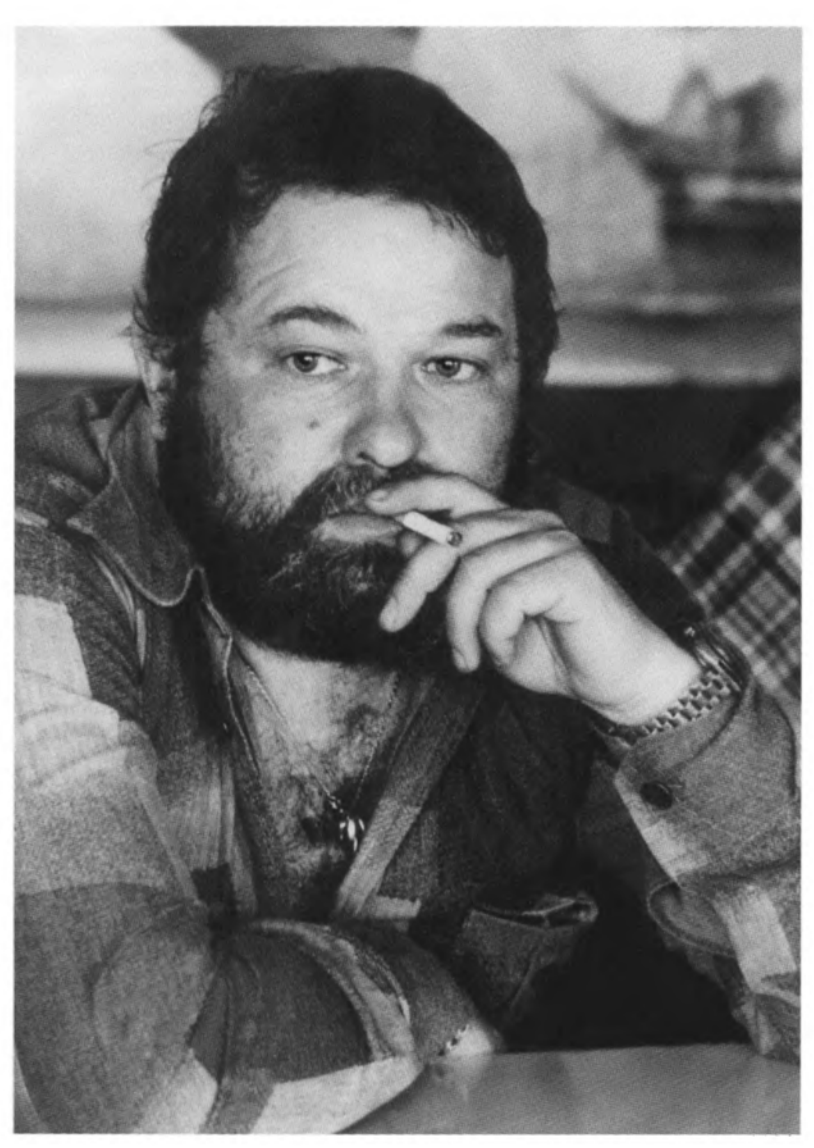
Я почувствовал бойцовскую дрожь. Разнословия христианства в ту пору (самый конец 60-х годов) были предметом моего острого интереса и темой усердных библиотечных занятий (в Институте философии, где я тогда работал, можно было заниматься этими темами законно).

Через год Юлиан подарил мне свой новый роман с дарственной надписью: «Левушке — пастору Шлагу...»

Читая, я натыкался на свои полузабытые уже реплики. Мне было легко и весело. А когда еще через пару лет эти реплики стал произносить с экрана великий артист Плятт, я почувствовал эффект настоящего переселения душ.

...Штирлиц действует и в романе «Третья карта» — в Польше, оккупированной немцами; и в «Альтернативе», где он оказывается на Балканах накануне войны, и в «Испанском варианте», и в «Приказано выжить».

...Работал ли папа над серией романов о Штирлице или над историческими романами о Петре Первом, О. Генри, В. Маяковском, Ф. Дзержинском, Столыпине или Гучкове, он всегда стремился к биографической и исторической до-



Юлиан Семенов.



Евдокия Дмитриевна Ноздрина, бабушка Юлиана Семенова, с дочерью Людмилой. *1916 г.*



Юлиан с мамой — Галиной Николаевной Ноздриной и отцом — Семеном Александровичем Ляндресом. *Май. 1932 г.*

Юлику шесть лет.
Сходня. 1937 г.



На даче.
Крайний справа Юлиан,
крайняя слева кузина
Галина Михайловна Тарасова.
1939 г.



С фронтовыми друзьями отца. Третий слева Юлиан Семенов. *Берлин. 1945 г.*

На военных сборах. Крайний слева Юлиан Семенов. *1950 г.*

Юлиан Семенов.
1948 г.



Встреча И. В. Сталина
с сотрудниками
издательства «Известия».
В верхнем ряду
второй слева
С. А. Ляндрес.



Алексей Алексеевич Богданов и Наталья Петровна Кончаловская.
США. Конец 1920-х гг.

Екатерина Сергеевна Семенова.
Николина Гора.
1950-е гг.



Наталья Петровна Кончаловская с дочерью Екатериной.
1958 г.

Юлиан Семенов с отцом. *1960-е гг.*

С Сергеем Владимировичем Михалковым. *Николина Гора. 1954 г.*

Екатерина Семенова за перепечаткой рукописи мужа. *1950-е гг.*

С дочерьми Дарьей и Ольгой в Болгарии. *1972 г.*



В странствиях по тайге. *1960 г.*

С буддийским монахом. *Монголия. 1960-е гг.*

С писателями.
В центре
С. А. Маршак.
1961 г.



На Северном полюсе.
Крайний справа
Юлиан Семенов.
1960-е гг.

С Грегорио — другом Хемингуэя. *Куба. 1976 г.*

Поймана рыба-пила. *Куба. 1976 г.*



С Мэри Хемингуэй. *Москва. 1969 г.*

На охоте. *1970-е гг.*

С Романом Карменом (в центре). *1970-е гг.*

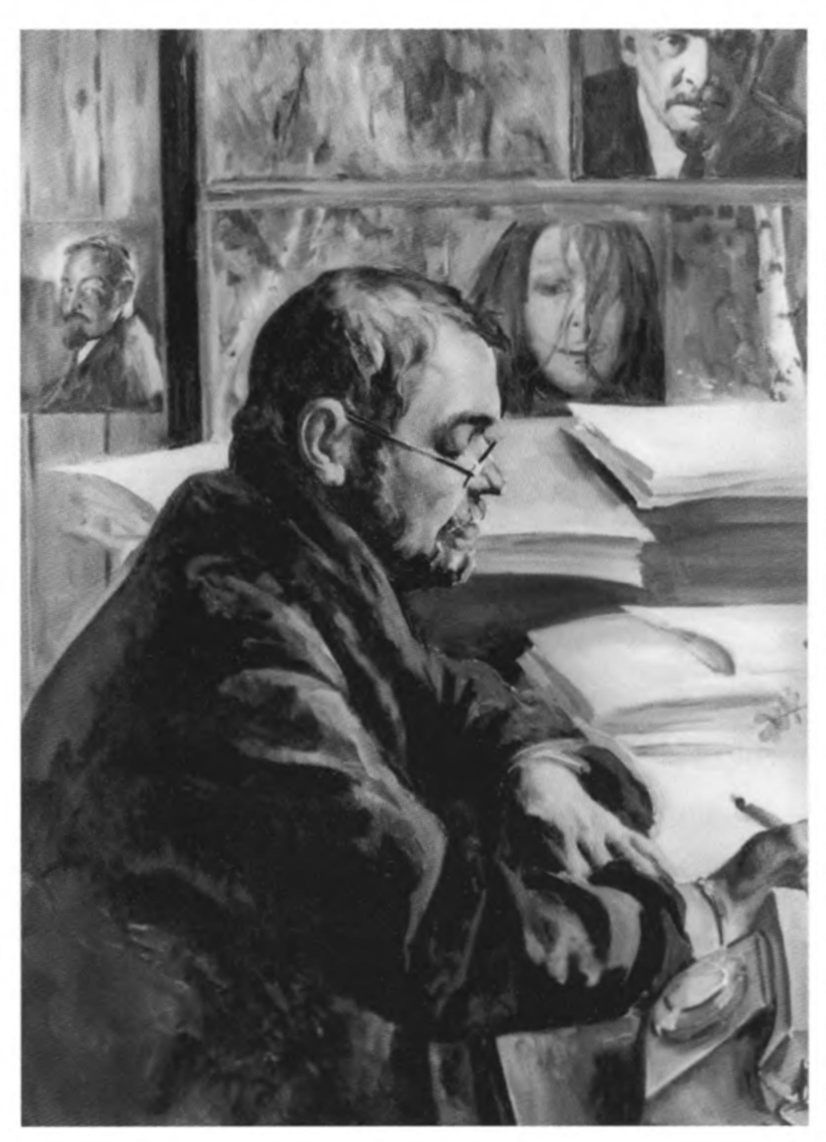


С Андреем Тарковским. *1970-е гг.*



С Семеном Клебановым (в центре). *1970 г.*

С Эдвардом Кеннеди. *США. 1970-е гг.*



Юлиан Семенов. С картины Дарьи Семеновой.

стоверности и для этого старался выявлять все характерные особенности описываемых людей и обстоятельств исторических событий, оставляя как можно меньше домысла. Отец часто говорил, что литератор, чтобы ему поверили, должен быть максимально точен в деталях, но только разбирая его архивы — я в полной мере поняла, какую титаническую работу он для этого проводил: в бесчисленных папках хранились выписки из писем военных, копии приказов Гиммлера, планы рейхстага, номера личных телефонов Гитлера и Геринга, биографии нацистских лидеров, их воспоминания, фотографии, ксерокопии документов охранки и переписки петровских времен. А сколько книг он штудировал, сколько подшивок газет военных времен привозил из Германии, Латинской Америки и Испании! Его знания были поистине феноменальны, но главным оставался редкостный талант, позволявший превратить груды сухого, «бездушного» материала в увлекательнейшие романы. Многие сомневались, что один человек способен столько написать, и по Москве поползли слухи о литературных рабах Юлиана Семенова.

Вспоминается смешной случай. Как-то к нему позвонил старый отставник: «Дорогой товарищ Семенов, я слышал, у вас на даче пишет команда из пяти человек. Возьмите меня шестым, сюжетов — уйма. Прошу недорого — 200 рублей в месяц». Все это, конечно, были выдумки. Просто отец обладал феноменальной работоспособностью, был дисциплинирован и всегда действовал по раз и навсегда заведенному плану. Закончив подготовительную работу — изучение книг, газет, архивных документов, он, сидя в клубах сигаретного дыма, составлял короткий план очередной книги, намечая основные сюжетные линии и хитросплетения увлекательной интриги. На полях чертил замысловатые геометрические фигуры, записывал имена героев, соединяя их между собой стрелами: рассматривать эти записи очень любопытно — будто видишь рентгеновский снимок романа. Затем устраивался за письменным столом и тогда уж пишущая машинка стучала с шести утра до полуночи. Сидел папа в своем высоком кресле карельской березы (я его в детстве называла троном) на редкость красиво: широченная спина по-балетному пряма, лопатки сведены.

Однажды спросила:

— Трудно тебе писать?

— Трудно бывает первые 30—40 страниц — раскрутка.

— А потом легко?

— Начинают «показывать кино», все вижу, как на экране, остается только записывать.

В день он «выдавал» по 10—15 страниц машинописного текста, никогда не ждал вдохновения: садился за стол и оно приходило. Злопыхатели шипели: «У-у, старается загрести побольше, все ему мало!» А для отца деньги имели третьестепенное значение, просто у него было такое огромное количество идей и планов, что он боялся не успеть написать все, о чем мечтал. Святитель Феофан Затворник говорил, что большинство людей подобны древесной стружке, свернутой вокруг собственной пустоты. Это очень точно, но, думаю, не относится к талантливым людям искусства. У них внутри — настоящий склад ждущих реализации творческих замыслов. Все они сжигаемы одним желанием — творить! Папу подгоняли не алчность, не сроки сдачи нового романа в издательство, а сама задумка. Замыслив вещь, он уже не мог существовать вдалеке от пищущей машинки и успокаивался, лишь поставив финальную точку. Объяснил мне как-то: «У каждого писателя — свой стиль работы. Вот Юра Бондарев сам мне рассказывал, что пишет в день одну-две страницы, зато уж он их отшлифует, отредактирует и к написанному больше не возвращается, а мне, кровь из носу, надо довести вещь до конца. Закончу, отложу на пару дней, а потом правлю» ...У папы было правило — сокращать каждую страницу на семь строк. Поля пестрели правками, разобрать которые могли только старенькая машинистка Нина Тюрина и мама: его почерк — в молодости широкий, с наклоном вправо, пережил с годами метаморфозу — выпрямился, «подсох» и стал походить на арабскую вязь, освоенную в институте...

За несколько лет Штирлиц приобрел такую известность, что завистники, как у нас полагается, стали многозначительно переглядываться: «Глянь, как Семенов КГБ прославляет!» Но папа, разумеется, целью себе ставил не прославление отечественной секретной службы, а создание персонажа, отличного от тех интриганов-маразматиков, с которыми он столкнулся на Дальнем Востоке. Он сконструировал некую модель для подражания, идеального героя, сохраняющего честь и достоинство в самых страшных передрягах. В Штирлице ни на йоту нет столь ненавистной папе рабской психологии. Он — Личность. Он думает, решает, действует. Папа наградил его своим жизненным кредо: «Каждый человек имеет альтернативу — или смириться, то есть бездействовать, или предпринимать хоть что-то. Даже если не хватает сил — желание подняться — похвально. Мир достаточно объясним. Смысл нашего пребывания, — достаточно краткого, — заключается в том, чтобы переделывать его». Принадлежность Штирлица к разведке была для отца

скорее необходимостью, чем целью. Он знал: «Кто владеет информацией — тот владеет миром». А разведчик, первым получая к ней доступ, может порой реально изменить ход истории — вот что увлекало политизированного, деятельного отца. Секрет долговечности Штирлица объясняется для меня не только его обаянием и умом, но и тем фактом, что он волей автора с 1921 года оказался вне системы и служил (оставшись патриотом) уже не ей, как таковой, а идее борьбы с фашизмом. Вдали от кровавых сталинских «разборок», подлости, предательства, абсурда Штирлиц превратился в этакого замороженного в первозданном виде мамонта, меньшевистского «последыша» со своими, никому уже на родине не нужными гуманностью, знаниями, добротой и идеалами.

В последнее время маму замучили рекламные фирмы, требующие отдать Штирлица им на откуп. Магазин «Пятерочка» взял его в оборот, даже не спросив (реклама была глупой, но не вульгарной, и мама махнула рукой, но всем остальным дает от ворот поворот). «Почему?! — удивляются они. — Ведь Штирлиц — это народный герой, почти фольклор! Да мы и за ценой не постоим». На это мама отвечает, что у «национального героя» есть автор и ему бы не понравилось, что его любимый персонаж торгует пивом или стиральным порошком. И никакие деньги ее не соблазнят — о герое надо читать, а не похабить его в безвкусных рекламах... Хотя сама тенденция радует — хитренькие коммерсанты знают: если товар предложит Штирлиц, то клиент купит, потому что Штирлицу верит, а это прекрасно... Самый необычный комплимент в его адрес я услышала не так давно от молодого афонского монаха с добрым, изможденным постами лицом.

— Один мой знакомый, в сане, — доверительно сказал монашек, — детишек по Штирлицу воспитывает.

— Неужели?

— Очень хороший пример для подражания.

— Да чем же? — недоверчиво допытывалась я, не понимая, в чем православный священник может подражать красному разведчику.

— Редкостный образец двадцатилетнего схимничества! — убежденно сверкнул глазами монашек, и я горделиво возрадовалась за папиного героя...

Из дневника отца, 1960-е годы.

По-моему, талантливому человеку шатание и лавирование вдвойне прощать нельзя. Я лавирование могу определить проще, шире и грубее — словом «подлость». Андрей Рублев был вы-

соковерующим человеком, и только веруя, он мог создавать свои гениальные иконы. Если бы он на секунду изверился, то это сразу бы стало заметно в его картинах, сразу стала бы заметна фальшь. Подлость съедает талант, как мартовское солнце пожирает снег: только три дня тому назад белел огромнейший сугроб — чистый, мощный, с ледяной корочкой, а прошло три-четыре дня и вместо сугроба — желтая искалеченная трава... Я беру к примеру искусство фашистской Германии, вернее, я не вправе называть то, что было в фашистской Германии, искусством. Но тот суррогат, который фашисты превозносили в качестве эталона искусства — как он создавался? Он создавался и соорганизовывался из подлости. Художник проявил маленькую непоследовательность и — он уже обязан курить фимиам звериному нацизму, антисемитизму, бредовой идее о расовом превосходстве немцев. Те мужественные писатели, композиторы, художники, актеры, которые были последовательны, — они либо эмигрировали из страны, либо молчали, что уже было подвигом, либо томились в концлагерях, но и там оставались верны своей вере — будь то христианство, будь то коммунизм. Поэтому, как только начинают говорить, что талантливому человеку можно многое извинить, так, да простится мне столь страшное сопоставление, я вижу тот самый суррогат, который в фашистской Германии именовался искусством. Нельзя сравнивать непоследовательные и трусливые выступления кого-то из моих знакомых с тем, что было в тридцатые годы в Германии, но надо же честно сказать самому себе: либо-либо. Либо нужно до конца отстаивать правду; либо, если хоть в чем-то дать уступки, это будет уже предательством той самой правды, в которую ты свято веришь.

Говорить правду в те годы было непросто. Папа это делал, используя в романах о Штирлице эзопов язык, и часто, давая мне только напечатанные отрывки рукописи, с затаенной радостью говорил: «Я тут заложил пару фугасок, они должны шандарахнуть». «Фугасками» он называл и характеристики на членов НСДП (ребенку понятно, что он включил их, чтобы показать абсурдность характеристик, выдаваемых нашими парткомами), и рассуждения Штирлица о тоталитарном государстве, одинаково прилагаемые как к нацистской Германии, так и к нашему строю, и абсолютно антисоветские высказывания, которые он вкладывал в уста политических противников. Так, в «Альтернативе» я наткнулась на фразу: «Россия — отсталая азиатская держава, кото-

рая сама по себе изрыгнет большевизм, оставшись один на один со своими экономическими трудностями, окруженная на востоке алчными азиатскими государствами, а на западе — стеной холодного и надменного непризнания». Как это печатали в военных издательствах в начале 70-х, я понять не могу!

На какие только уловки и хитрости не шел папа, чтобы протащить интересные и свежие идеи через крохотные прорехи в солидном заборе советской цензуры...

Вспоминает писатель Лев Аннинский.

В 1972 году я перешел работать в журнал «Дружба народов». Там, волею расписания, по которому все сотрудники по очереди читали готовые к печати номера (это называлось «свежие головы»), я получил для прочтения несколько глав нового романа Юлиана Семенова. Я начал читать, и мне показалось, что пастор Шлаг задумал надо мной подшутить. Фразы и обороты были несомненно мои, из наших давешних диалогов, но облику протестантского пастора никак не шли. Русский менталитет, национальные аспекты революции, империя и свобода... Весь спектр философских штудий великих идеалистов «позорного десятилетия»: Розанов, Мережковский, Булгаков, Шестов, Федотов, Флоренский... С момента, когда в 1960 году я впервые прочел Бердяева — излюбленное мое чтение. Пастору Шлагу Юлиан из этого вороха идей не отдал тогда ни одной, но, как видно, приберег их для третьего десятка «мгновений весны» и теперь щедро одарил ими литературного героя по имени Василий Родыгин. Я аж подпрыгнул, наткнувшись в его речах на свои любимые пассажи. Подпрыгнул вовсе не от факта, что Юлиан эти пассажи использовал: я сам дал ему на это право и даже гордился в глубине души тем, что так ловко распропагандировал на «русский лад» властителя дум и яростного «западника» (а Юлиан в ту пору был, наверное, самым читаемым автором в широких интеллектуальных кругах и несомненным, как теперь сказали бы, «мондиалистом»). Но дело в том, что рупором этих идей Юлиан сделал... матерого эмигранта-белогвардейца. По нынешним-то временам таким приколом можно и возгордиться, но для начала 70-х годов, согласитесь, это было достаточно... пикантно, и я счел возможным впасть по данному поводу в хорошо темперированное возмущение. Я ходил по редакции и гудел, что идеи, которые Юлиан сорвал с моего неосторожного языка, сами по себе законны и неподспудны, но какого лешего он вложил их в красноречивые уста нашего идеологического оппонента?..

Через пару недель старая добрая сотрудница отдела прозы, отличавшаяся тонким юмором и редактировавшая роман, дала мне очередную порцию текста и произнесла интригующе:

— Васятка-то наш, а?

— Какой Васятка, Татьяна Аркадьевна? — не понял я.

— Васятка Родыгин...

— Что Васятка Родыгин?! — вскинулся я.

— Оказался тайным агентом наших спецслужб. Поздравляю вас!

— Да? — Отлегло.

— А Юлиан-то наш, а?

— Что Юлиан, Татьяна Аркадьевна?

— На высоте!

В свой час я рассказал все Юлиану, и мы со смехом обсудили этот сюжет.

Разгадал папины литературные «хитрости» и написал о нем в конце 80-х годов внушительную статью в «Culture and Society» крупный американский ученый, профессор кафедры государственного управления Джорджтаунского университета, председатель Международного исследовательского совета Центра стратегических исследований Уолтер Лакер. Штирлица он назвал «чутким, мужественным, блестяще образованным — настоящим героем нашего времени». Сказал, что на общем фоне мракобесия произведения Семенова неизбежно должны показаться работами Вольтера или Дидро, что он — писатель вовсе не легкого жанра, а серьезного, имеющего громадное воспитательное значение, и должен войти в анналы советской литературы как основатель нового жанра: романа-хроники, или документального романа. (Кстати, Юрий Бондарев тоже считал отца первым в жанре политического романа.)

...Лакер обратил внимание на сцену, где Штирлиц, брошенный в гестапо, вспоминает свою юность в Цюрихе: «Какие замечательные люди окружали меня — Кедров, Артузов, Трифонов, Антонов-Овсеенко, Менжинский, Блюхер, Постышев, Дыбенко, Орджоникидзе, Свердлов, Крестинский, Карахан, Литвинов», и отметил, что почти все перечисленные стали жертвами показательных судебных процессов или были расстреляны без суда и следствия. Далее Лакер упомянул о их дореволюционных интеллектуальных играх, которые приходят на ум Штирлицу, находящемуся в смертельной опасности. Воровский тогда зачитывал отрывки из

книг, а остальные должны были угадать автора. Вот первая цитата: «В истории всех стран бывают периоды бурной деятельности, периоды роста, порыва в поэзии и творчестве, такие периоды являются источником и основой последующей истории этих стран. У нас нет ничего подобного. В самом начале русской истории было дикое варварство, позднее — невежественные предрассудки, затем деморализующий гнет татарских завоевателей, следы которого не исчезли из нашего образа жизни и по сей день. Наши воспоминания не идут дальше вчерашнего дня, мы — чужды друг другу». Никто не смог отгадать автора, и Воровский открыл, что слова принадлежат предшественнику современных диссидентов — Чаадаеву, объявленному царем сумасшедшим.

«Если бы Штирлиц был уверен, что Россия изменилась, порвав с прошлым, стал бы он вспоминать эти слова перед лицом смерти?» — многозначительно спросил Лакер. И подытожил: «Следует ли искать в сочинениях Семенова скрытый подтекст? В сочинениях дореволюционного периода в России существовала давняя традиция говорить эзоповым языком, так, чтобы обойти царскую цензуру, говоря о России, Ленин иногда писал “Япония”. Нацистская Германия Семенова является, вероятно, его “Японией”».

Прочтя статью, папа очень смеялся и назвал автора «сукиным сыном», что в его устах прозвучало как комплимент...

НА КРАСНОЙ ПАХРЕ

Квартира в Москве до моего рождения была маленькой — всего две комнаты, в одной жила мама с маленькой Дашей, в другой обитал папа со всеми своими рукописями, книгами, пищущей машинкой и нескончаемым потоком званых и незваных гостей. Летом снимали дачку у Грибанова на Николиной Горе, а зимой, если папа больше месяца не уезжал в командировку, в квартире устанавливался такой творческий беспорядок, что мама теряла голову. Поэтому, как только к середине 60-х появились деньги, родители принялись искать дачу. Начали с посещения благословенной Тарусы. Очарованные библейскими далями, возвращались в идиллическом настроении в Москву, но на выезде из Тарусы машина забуксовала. Папа остановил группу мальчуганов: старшему было лет двенадцать, младшему, сопливому, от силы шесть. Попросил: «Подтолкните, детвора». Ребята охотно подтолкнули, но, координируя движения, крыли друг друга такой матерщиной (особенно заковыристо выражался сопливый карапуз), что даже папа, к русскому мату относившийся с большой симпатией, представил, как неуютно почувствует себя в такой компании пятилетняя дочка, и решил дом в Тарусе не покупать.

Долго присматривались к Николиной Горе, но не входили в бюджет, думали о близлежащих Уборах, потом возникла Красная Пахра.

Из дневника отца, 1963 год.

А позавчера я поехал к Генриху Боровику в Красную Пахру. Мы с ним прекрасно зажарили три отбивных, съели их, макая черный хлеб в жир, оставшийся на сковородке, выпили крепкого чая, хорошо поработали (без водки), а потом пошли гулять по ночной Пахре, и снег скрипел под ногами, и луна была дьявольская и холодная, и где-то вдали тревожно разносились слова радио, и было это в разгар весны, и все равно трещал двадцатиградусный мороз.

Папа и Боровик тогда дружили, и случай захотел, чтобы писатель Березко, живший рядом с Генрихом Аверьяновичем, надумал свою дачу продать. Решения отец умел принимать молниеносно: в тот же день собрал все имеющиеся деньги, занял недостающее у Галины Николаевны (мы ее называли «Багаля»), у Сергея Владимировича Михалкова (с обещанием вернуть через год, которое и выполнил) и с гордостью написал маме, отдыхавшей в санатории в Крыму:

«То, что мы покупаем — это сказка, которая вдохновит меня на работу, тебя — тоже на кое-что — безразлично, мужского ли, женского ли пола. Будем жить в райском, волшебном доме. Будем вкалывать от пуза. Тогда через год сможем шиковать, как хотим, без долгов, с прекрасным особняком. Тогда начнем заниматься его вылизыванием. Ты засядешь у меня за Максима Геттуева — обязательно, Тегонька. Если Нинон — мамина напарница в литературе, то ты тогда просто Вольтер, а если не будешь делать — расценю как капитулянство и деградацию.*

*Сейчас у меня направление главного удара — пьеса для Голуба**. После этого, запершись ото всех — два месяца непрестанной работы над романом. Тогда за июнь-июль сделаю почти все, в августе доведу все концы романа, полсентября вылизываю и отдаю в "Москву" — на предмет открытия года. Будем с тобой кирять чекушку напополам после работы и слушать соловьев, которые поют в лесу, куда выходят наши окна. Если же я буду морально суетиться из-за долга, хотя Серж дал мне на год с рассрочкой — всегда можно забашлять машину, т. к. тут круглый год заказы с Елисеева и неподалеку магазин, и Боровик под боком.*

Целую тебя, родная моя. Поздравляю с нашим десятилетием, которое было изумительным, волевым и прекрасным. Несмотря на всяческие явления шелухообразного характера. Главное, основное у нас было прекрасным, и становится, — для меня во всяком случае, все более и более прекрасным с каждым днем.

Юлиан Семенов».

Пахра была замечательным местом. Этот поселок писателей находился (пишу в прошедшем времени, потому что теперь писателей в поселке почти не осталось) на 36-м кило-

---

* Речь идет о подруге Н. П. Кончаловской, занимавшейся литературой.

** *Б. Г. Голубовский* — театральный режиссер.

метре Калужского шоссе. Среди вековых елей стояли строго европейского стиля небольшие дома с черепичными крышами. Днем лес оглушал стук печатных машинок, а по вечерам по тихим аллеям гуляли Твардовский, Симонов, Розов, Ромм, Трифонов, Кармен...

Папа в первый же вечер обошел всех этих знаменитостей, пригласив на шашлык. Маме сообщил об этом за полчаса до прихода гостей. Та ахнула: «У нас же нет ни кусочка мяса!» — «Да? Зато есть колбаса!» — нашелся папа. И долго мама не могла забыть позора, который пережила, когда Шейнин, Симонов, Розов, Орест Верейский и Кармен, сидя на корточках перед костром и растерянно переглядываясь, жарили кусочки любительской колбасы, наколотой на веточки.

Неуважение к людям? Вовсе нет! Перед этими писателями папа преклонялся, просто таково было его отношение к быту: из блюд он больше всего любил гречневую кашу, а изысканные интерьеры, крахмальные салфетки, начищенное серебро, хрустальные фужеры ему были просто-напросто не нужны. У отца напрочь отсутствовали снобизм и свойственное нуворишам желание удивить гостей. Оказывалось что-нибудь хорошее в холодильнике — сразу ставилось на стол, не оказывалось — не беда! Застолье он считал удавшимся не тогда, когда стол ломился от яств, а когда умны были собеседники и красивы тосты. Отец обладал редким даром быть интересным: знал массу новелл, анекдотов, стихов. Поскольку засыпал и просыпался он с очередной книгой в руках, и постоянно путешествовал, то «программа» все время пополнялась и он не повторялся. Память у него была фотографической, умение слушать — редким, более интересного собеседника найти было трудно и поэтому в доме постоянно толклись люди. Отец приглашал всех, никогда не подбирая по интересам, оттого компании получались на редкость разношерстные. Маститый писатель, ободранный художник, редактор с «Мосфильма», подвыпивший военный, сияющий цеховик, испанский бизнесмен, американский журналист, ученый-эрудит — всех он встречал своим раскатистым смехом (никто другой так искренно и добро смеяться не умел), в каждом находил интересное, хорошее, заслуживающее внимания. В этом был весь отец с его темпераментом, открытостью и романтическим идеализмом.

Гениальный рассказчик, он никогда не «токовал», не давил энциклопедическими знаниями и феноменальным интеллектом. Как опытный настройщик, отец находил в человеке единственно верный камертон, и тот, раскрепостившись, открывал себя с самой хорошей и интересной стороны.

Пахру папа полюбил настолько, что иногда срывался из Москвы поздно вечером с нами, маленькими, и друзьями. Ах, эти неожиданные поездки, когда веселое застолье, начатое в московской тесноте, решали перенести на дачу и ехали зимним вечером по пустынному уже Калужскому шоссе. Темный дом в глубине заснеженного сада встречал нас немым укором, и луна холодной безучастной красоткой следила за судорожными поисками ключа, выпавшего куда-то из маминой сумки. Мне, четырехлетней, родители говорили, что у меня такие голубые глаза, что просто светятся, и я все твердила им, топчась в темноте у порога, путаясь в ногах у взрослых:

— Давайте я вам посвечу, ну давайте же!

— Чем ты нам посветишь, Олечка, — услышав меня наконец, спрашивали родители, — фонарика ведь нет?

— Глазками, они же у меня светятся!

И все смеялись, а я все-таки широко раскрывала глаза, веря, что помогу. И ключ находили, и открывали массивную деревянную дверь с полукружьем наверху, и становилось в доме светло и сумбурно, и успокаивающе гудела колонка на кухне, и я засыпала в комнате наверху под взрывы хохота в столовой. Гости сидели за длинным грубоватым столом из светлого дерева, на таких же скамейках. В столовой было очень мало мебели: в углу стоял высокий сосновый бар-стойка, сделанный папе местными умельцами по его чертежу, напротив — угловой открытый буфет, тоже из сосны. Да еще на стене — картина Рабина «Христос в Лианозово»: на фоне тускло освещенной станции, среди пустых консервных банок из-под килек и пивных бутылок сидит, пригорюнившись, Сын Божий и смотрит с невыразимой добротой и печалью.

Праздник продолжался, папа смешил всю компанию, по дому разносилась беззлобная песенка Юрия Никулина: «А нам все равно, а нам все равно, не боимся мы волка и сову. Дело есть у нас в самый темный час: мы волшебную косим трын-траву!» По желтовато-медовой вагонке, которой папа обшил стены, текли слезинками капли смолы...

...В кабинете мастера выложили камин — очень красивый, из серого гранита, с латунной загородочкой, но вечно дымивший. Огромный, мореного дуба стол, заваленный рукописями, стоял у широкого, во всю стену, окна, выходившего на северную сторону запущенного сада. В это окно в дождь тревожно стучала зелеными колючими ветками столетняя ель. По стенам вытянулись до потолка, как гренадеры, полки, заставленные книгами. В кабинете царил удиви-

тельный запах — табачного дыма, пропыленных рукописей и книг (но попробуй только зайти с тряпкой — крик: «Не трогайте ничего, девочки. Разве не видите? У меня здесь идеальный порядок!»), и горьковатый запах обгоревших поленьев в камине, и еле уловимый запах металла и пороха — так пахли папины ружья, хранившиеся в узком деревянном шкафу со стеклянной дверью. Его гордостью было ружье знаменитой фирмы «Голанд-Голанд» с серебряной инкрустацией.

Почти каждую осень отец ходил на кабанов, медведей и лосей. Уток стрелял редко, и рыжий короткошерстный охотничий пес Томми, привезенный им из Венгрии, скучал, делая стойки на ворон и галок. В первые месяцы отец обращался к нему по-венгерски, заглядывая в бумажку, на которой были записаны все основные команды на этом языке, типа «Томми, кереш! Томми, мереш!»; и пес, благодарно глядя на хозяина желтыми глазами, молниеносно ложился, садился или давал лапу. Вскоре Томми русский «выучил» и общался без разговорника... Однажды, когда папа сидел в кабинете за печатной машинкой, через двухметровый забор со стороны леса перемахнул огромный лось с царственно-ветвистыми рогами. Отец выбежал, заряжая на ходу ружье, но лось, промчавшись мимо истерично лаявших Томми и московской сторожевой Долли, перемахнул через забор противоположной стороны и был таков. После этого случая папа несколько дней держал ружье возле письменного стола — на всякий случай.

Вспоминает писатель-фронтовик Александр Беляев.

Не располагаю точными сведениями, родился ли Юлиан охотником, но то, что он им стал после первого же выстрела по проносившемуся по поднебесью чирку, в этом я могу поклясться. И не просто стал. Он буквально заболел охотой — этим прекраснейшим и увлекательнейшим видом спорта. Естественно, в нашу уже давно сложившуюся компанию он вошел как полный неумеха. Но он привнес в новый для него коллектив много своего, такого, что сразу же заставило всех относиться к нему, как к достойному партнеру. Теперь мне представляется, что главным, чем он вызвал к себе расположение, были его неуемность, искренняя готовность всегда и во всем помочь товарищу и полное пренебрежение к тому, в каких условиях придется жить и охотиться. Подвезет остановиться в крестьянской избе — хорошо. Придется ночевать где-нибудь в шалаше под лодкой — тоже пожалуйста. Вымокнув до нитки, терпеливо сушиться у костра для того, чтобы че-

рез час-другой снова попасть под крутой ливень — и это его не пугало и нисколько не портило ему настроения. Ведь главное было дождаться удачливой зорьки...

В ту пору его писательская звезда только восходила. Он очень много работал. И нас не удивляло, что именно на охоте он находил разрядку и не только восстанавливал силы, но и получал массу дополнительных наблюдений и энергии, которые так необходимы для успешной творческой работы. Мы особенно часто тогда выезжали в Мещеру с ее сказочно-красивой и богатой природой и во Весьегонск, завлекавший нас своей необжитостью и непередаваемой глухоманью. Впрочем, Юлиан довольно скоро почувствовал тягу к более далеким местам. А может, наслушавшись наших россказней о том, что, конечно, тут хорошо, но вот в Карелии или в дельте Волги, уж не говоря о Ленкорани — вот там да! — справедливо решал, что он уже и сам с усам и, дождавшись открытия очередного весеннего сезона, махнул пытать счастья в охоте на гусей аж в далекое Заполярье. Потом он стал частым гостем и на Каспии, и на Кавказе. Ездил с нами, а иногда один.

В одну из таких поездок мы отправились с ним вдвоем в Нальчик. Нас встречал и был нашим хозяином удивительной доброты и сердечности человек, будущий народный поэт Кабардино-Балкарии Максим Геттуев. Охота начинается от Нальчика километрах в тридцати. Четвероногих и пернатых объектов охоты множество. Но мы избрали два: кабанов и фазанов. И таким образом имели возможность поохотиться и по зверю и по птице. Но если успех охоты по фазану зависит на девяносто процентов только от умения стрелять влет, то, чтобы добыть желанный трофей с десятью-пятнадцатьюсантиметровыми клыками, требуется выкладываться до седьмого пота. Кабан неимоверно подвижен, крепок на рану, а в ярости свиреп и могуч. Свалить его, что называется, с первого выстрела удается далеко не сразу. Как не всегда удается подставиться на верный выстрел. И бывали случаи, когда по одному и тому же зверю группа охотников, хочу подчеркнуть опытных, стреляла по десять-пятнадцать раз, а из него и шерстинки не выбивала. А бывало и так, что по пять-шесть пуль кабан в себе уносил, и добивать его приходилось километра за три, через два-три увала.

На таких охотах мы стояли с Юлечкой всегда по соседству, и у меня была полная возможность видеть его, как говорится, в деле. Горяч он был в ту пору немного. А во всем остальном вел себя достойно: за деревья от несущегося на него секача не прятался и мимо себя без выстрела его тоже никогда не пропускал.

...С охотой в жизни отца был связан бесконечно страшный и трагичный случай. Вообще-то я не хотела о нем вспоминать, но недавно моя добрая приятельница — журналистка из модного московского журнала, спросила: «Ольга, а правда, твой папа убил милиционера?» — «Что-о-о?» — «Ну как же, — почти уверенно продолжила подруга, — он ехал с Николиной Горы, в багажнике вез ружье. Вдруг ему захотелось пострелять, он вышел из машины и стал палить в направлении леса, а там гулял милиционер — вот твой папа его и убил. Случайно, конечно». Я поняла, что в пытливом журналистском уме смешались две истории. На Николиной Горе действительно лет двадцать пять назад погиб молоденький милиционер: он спрятался за деревом с аппаратиком, измеряющим скорость машин, а бдительный телохранитель одного из вождей, проезжавших тогда по трассе, решил, что милиционер — переодетый убийца с пистолетом, и его застрелил. Папа к этому делу никакого отношения не имел, с ним произошла совсем другая история, и, чтобы снова не начали фантазировать горемемуаристы, я ее расскажу. Отец в молодости был страстным охотником: ему нравилось «растворение» в природе, — глухариный ток, осенние и весенние холодные рассветы в лесу, ожидание зверя, шум листвы, ветерок, несущий запах прелой травы, далекого деревенского дымка и грибов. Нравилось привозить домой, как настоящему добытчику, туши лосей и кабанов, разделывать их, раскладывать темно-красное мясо по пакетам и делиться с друзьями, и устраивать пиршества, созывая соседей на кабанятинку и лосятинку.

В ту далекую осень он поехал на лосиную охоту в Рузу с мамой. На месте их, с целой компанией охотников, встречал на грузовичке егерь Николай — не старый еще, пятидесяти не было. Маму, как единственную женщину, посадили к нему в кабину. Всю дорогу он вспоминал свою жизнь — как воевал танкистом, был ранен, выжил и теперь замечательно живет с женой, растя сына. Приехав в лес, охотники встали на места в ожидании зверя. Маму с Николаем поставили в загон — иди себе по осеннему полупрозрачному лесу да кричи погромче, чтобы выгнать сохатого из чащи на линию стрелков. Как только из-за плотной стены деревьев выскочила лосиха, прогремело несколько выстрелов — один из них, срикошетив, ранил Николая. Ах, как это было ужасно: бледнеющий на глазах, истекающий кровью раненый, и крики охотников, и слезы в глазах умирающей лосихи, забытой и не нужной никому в трагической суете, всегда сопутствующей уходу человека. Николай скончался по дороге в больницу. Началось следствие. По всему выходило, что

лишь двое могли произвести фатальный выстрел: актер Столяров или папа. Не дожидаясь экспертиз и судебных заседаний, отец как человек цельный и честный сказал: «Независимо от решения суда беру на себя заботу о вдове и сыне погибшего». И начал посылать им деньги. Эксперты на сто процентов установить виновного не смогли, группа охотников тоже разделилась на два лагеря: кто-то был убежден, что трагическую ошибку совершил Столяров, кто-то обвинял отца. Сам папа, сотни раз изучив расположение охотников и прочертив десятки планов и схем, пришел к выводу, что он ранить Николая не мог, но через десять долгих месяцев суд все-таки признал виновным его. Одним из главных аргументов стала денежная помощь семье потерпевшего, дескать, раз посылает деньги, значит, признал вину. Папа понимал, что по сути абсолютно неважно, кто повинен в случившемся горе, важно, что ничем, никогда не вернуть пареньку отца, и необратимость эта раздавила, пригнула его. Ему дали год условно. Прошло время, все о той истории забыли, а папа помнил до конца жизни. Охотиться ему было запрещено в течение двух лет, получив разрешение, он поехал на охоту. Мама была уверена, что охотиться он уже не любил, но решил доказать, что не сломался. Думаю, она была права.

...В саду в художественном беспорядке росли яблони и анютины глазки, кусты смородины и лютики, китайская береза с причудливо изогнутым стволом и подснежники, высоченные ели и тоненькие клены. Веранду увивал дикий виноград, а возле самого дома, под окнами кухни, где деловито гремела кастрюлями мама, пышно цвели золотые шары.

К нам с сестрой часто заходили маленькие Марина и Тема Боровик, Машенька Червинская (дочка сценариста Александра Червинского), мы залезали в настоящий вигвам, привезенный отцом из Латинской Америки, — внутри царил загадочный полумрак, сквозь желтые полотняные стены пробивались золотистые солнечные лучи — и мечтали о путешествиях, далеких странах и завороженно слушали рассказы Темы об Америке, где он и Марина выросли. В густом лесу, начинавшемся сразу за забором, карабкались по высоким елям, кося бусинками глаз, пушистохвостые белки, щелкали в мае по ночам соловьи и дни напролет куковали кукушки, лживо обещая бессмертие.

...Отца отличали свойственные только очень сильным людям доброта и мягкость. Особенно они проявлялись в отношении с нами, дочками, которым он прощал практически все, находя оправдание и детским капризам, и юношеской категоричности.

Отрывок из книги «Схватка».

Поколение шестнадцатилетних категорично, и за это нельзя их осуждать, ибо постыдно осуждать открытость. Надо гордиться тем, что наши дети таковы, — жестокость, заложенная порой в категоричности, пройдет, когда у наших детей родятся наши внуки, — открытость должна остаться. То, что мы не можем принять в детях, кажется нам слишком прямой, а потому жесткой линией. Но ведь на самом-то деле прямых линий нет, они суть отрезок громадной окружности, начатой нашими далекими праотцами, поколения последующие должны закольцевать категоричность прямых в законченность, которой только и может считаться мягкая замкнутость круга, «ибо род приходит и род уходит, а земля пребывает вовек».

Как бы ни был папа занят, как ни подгоняли его сроки сдачи романа или сценария, стоило сестре или мне, маленькой, к нему подойти с вопросом или просьбой — он забывал обо всем. Не помню случая, когда бы он сказал: «Подождите». Что любопытно: лет до двух-трех мы его особо не интересовали. Всех младенцев, включая нас, а потом и внуков, он называл «макаками», говоря: «Младенчество — для матери, детство — для отца».

Когда мне исполнился год, папина кузина Галина Тарасова, работник Петровки, умильно допытывалась при встрече: «Ну как там наша Олечка? Что делает?» — «Писает и какает, — что ей еще делать!» — бурчал папа. Зато лет с трех-четырех все кардинально менялось. Отец становился другом, собеседником. Он был великолепным педагогом, потому что видел в ребенке личность и относился к нам, как к взрослым — с уважением и интересом. О том, чтобы отшлепать за шалость, и речи не было. Он на нас и голоса не повышал. Правда, один-единственный раз дал Дарье по попе. Шестилетняя, разыгравшись с няней в ладушки (хлопали друг друга легонько по ладошкам и щекам), она слишком сильно ударила ту по лицу, и папа рассердился.

Отец не навязывал свою волю, а советовал, говоря с нами, как с равными. Неумолим становился, лишь когда дело касалось Дарьиной еды.

Из письма маме, начало 1960-х годов.

Я теперь по отношению к Дуне занял позицию времен холодной войны — по поводу еды. И за три дня появился румянец, хотя трапеза сопровождается слезьми велие обильными и сло-

вами — «А вот ты можешь съесть сразу 30 баранов?! Тебя так папа не заставлял!», «От перееда, думаешь, не умирают!?». Но ничего, я сдерживаюсь, чтобы не смеяться, грозно хриплю, ухожу в другую комнату, но результат, как говорится, «на лице». Девочка-солнце, Господи, дай ей Бог!

Отец разрешал нам присутствовать при взрослых разговорах, участвовать в застольях. Мы весело подставляли для чоканья носы, хохотали над хулиганскими и антисоветскими анекдотами, сидели на читках новых вещей, ездили с ним на репетиции пьес в театрах, слушали стихи зашедших в гости Сулейменова и Поженяна, во все глаза смотрели на Эльдара Рязанова, Ролана Быкова и Льва Дурова, видели в работе Галину Волчек и молоденького Константина Райкина, смеялись шуткам Винокура и Пугачевой. Может, такое воспитание и отличалось излишним либерализмом, но благодаря ему детство наше было на редкость интересно. Мои первые воспоминания — это жизнь с папой на Пахре. Мама уезжала с Дарьей из-за школы в Москву, я оставалась с отцом и Багалей. Поначалу плакала (в детстве была на редкость капризна и привязана к маме), но папа прекрасно знал, как меня задобрить — ставил пластинку с песенками из мультфильма «Бременские музыканты». Потом уводил на тихие пахринские аллеи, где старенький Симонов ласково здоровался со мной и, весело помахав отцу, по-марафонски быстро проходил Бондарев, и можно было погладить старую знаменитую овчарку, сыгравшую с Никулиным в фильме «Мухтар, ко мне!» (она принадлежала кому-то из писателей). Прогулки эти с годами стали традицией. Часто заходили к папиному лучшему другу Роману Кармену. Меня потрясала его открытая терраса, посредине которой росла береза — Кармен прорезал дыру в полу, чтобы не губить дерево. Весной у него в саду цвело множество ароматных нарциссов, которые я и предложила ему однажды понюхать. Роман Лазаревич послушно понюхал и растерянно признался, что не знал ни названия этих цветов, ни их чудесного запаха...

Достопримечательностью районного значения на Пахре была дача Людмилы Зыкиной, стоявшей на Восточной аллее, возле самого леса. На нее ходили смотреть толпы отдыхающих из ближайшего санатория — женщины в ярких кримпленовых, по моде тех лет, платьях, надушенные «Красной Москвой», кавалеры в отглаженных цветных рубашках и брюках клеш. Потоптавшись перед высоченным забором, из-за которого еле проглядывал верх крыши с воинствен-

ным железным петушком, они уходили, мечтательно вздыхая: «Вот люди живут!» — додумывая все остальное. А было у Зыкиной невероятно просторно, — она с гордостью показала папе чуть ли не стометровый салон с белым роялем и анфиладу полупустых комнат. Без всякой косметики, в синем тренировочном костюме, она с улыбкой рассказала,что продала почти все свои украшения, чтобы дом достроить. Говорила тихо, просто, и веяло от нее покоем и сдержанной крестьянской доброжелательностью.

Во время прогулок папа всегда рассказывал что-нибудь интересное. В репертуаре были страшилки с Петровки в детской аранжировке (чтобы не гуляла одна), завершавшиеся советом: «И если на улице незнакомый подойдет к тебе и скажет, что я или мама заболели, и пригласит тебя сесть в машину, чтобы к нам отвезти, беги и кричи диким голосом!» Боялся папа за нас панически и постоянно представлял, что с нами случилось несчастье: работало его богатое воображение. Еще рассказывал про хилого мальчика, превращенного родителями в прекрасного спортсмена. Мама привязывала сына на длинной бечевке к велосипеду и медленно ехала. Сперва мальчик еле поспевал за ней, потом настолько окреп, что стал перегонять. Эту историю папа, кстати, включил в роман «Майор Вихрь». Сам он бегал почти каждый день и нас уговаривал.

Лет в шесть научил меня играть в дурачка и по вечерам устраивал турнир. Поддавался безбожно. Если, забывшись, я опускала карты, напоминал: «Кузьма, карты к орденам!» Выиграв, я ликовала, папа громко требовал реванша, а правильная Багаля, проходя рядом, тяжело вздыхала: «Мальчик, не приучай ребенка к азартным играм — это непедагогично». Потом мы мерились силой рук. Папа изображал невероятное усилие, дрожь в руке, гримасы из последних сил борющегося человека. Иногда сдавался, иногда, в последний момент, со страшным криком ручонку мою клал на стол.

Праздник был, когда местная бригада построила рядом с домом баню. Два раза в неделю, живописно, как римский патриций, замотавшись в белую простыню, отец забирался на верхнюю полку и рассказывал мне, как зверски сбрасывал вес в молодости, накануне боя, — одевал толстый шерстяной джемпер и шапку и сидел в парилке минут тридцать. Ненужные для средней весовой категории килограммы исчезали на глазах. Зимой, выведя из парилки, швырял меня в снег, а потом снова заводил в стоградусный жар.

Часто приглашал на дачу своего племянника и моего кузена Егорушку Михалкова, которого очень любил. Регуляр-

но встречаясь с Егором на даче у нашей бабушки — Натальи Петровны на Николиной Горе, я его почитала за ум и смотрела снизу вверх (он старше меня на год — разница в детстве огромная). Однажды в саду, покусывая травинку, Егор с загадочным видом сказал:

— А я уже решил, что буду делать, когда вырасту...

— Что?

— А не проговоришься? — спросил Егор, испытующе глядя на меня своими чингисханьими глазищами.

— Никогда!

— Уеду в Америку и стану гангстером!

После этого я стала уважать его еще больше. Раз девятилетний Егорка сказал не «тухлый помидор», а «протухлый помидор», и острая на язык Дарья стала звать его «протухлый помидорчик». Егорка нам беззлобно мстил, обзывая «лысками» — прозвище, придуманное папой и намекающее на недостаточную густоту наших шевелюр.

Мы с «протухлым помидорчиком» играли исключительно в мальчишеские игры. Плавили в кастрюльке и выливали в снег свинец: он угрожающе шипел, стрелял раскаленными брызгами (однажды сильно обжег Егору руку), а потом застывал в причудливых формах. Пекли в углях картошку. Скатывались по пологому скату крыши. Дрались прутиками, — Егор всегда норовил больно хлестнуть меня по попе. Варили на улице в старой миске бурду из остатков обеда. Как-то папа с любопытством заглянул в миску с хвостами креветок, костями и картофельными очистками: «Что это вы тут делаете?» — «Варим супчик, дядя Юля», — на полном серьезе ответил Егор. «Вы что, есть его будете?!» — ужаснулся отец. «Конечно!» Тут я не выдержала и «раскололась», громко расхохотавшись.

Однажды у Егора возникла «гениальная» идея положить папины гильзы в камин, развести огонь и посмотреть, что получится. Получилось здорово — гильзы со страшным грохотом взорвались, мы с воплями ринулись в сад, а взрослые долго проветривали дом, окутанный густыми клубами дыма. Папа нас за это свинячество не наказал и даже отвез позднее в цирк.

Несмотря на все эти забавы, Егор в свои восемь-десять лет был в чем-то совсем взрослым человеком. Раз на даче у Натальи Петровны нашел большую доску и принялся деловито ее обстругивать: «Это для мамы, ей сейчас тяжело нагибаться, она сможет на ней стирать». (Наталья Аринбасарова тогда вышла замуж за Николая Двигубского и ждала сестричку Егора — Катю.)

...Когда отец нянчился со мной одной, то, уложив в постель со сказками Перро и «Правдивыми историями барона Мюнхаузена» (его подарок на мое пятилетие) и поцеловав — поцелуи эти я не особо жаловала из-за колючей бороды, спускался на первый этаж, включал негромко Высоцкого — это был его любимый певец, и шел заваривать себе крепчайший чай, чтобы потом всласть поработать...

Со второго класса я трагически не понимала математику, немела при виде учительницы, рыдала по вечерам над простенькими задачками, а папа всячески меня подбадривал: «Ничего, Кузьма, у меня тоже с математикой было туго. Бесстрашие и еще раз бесстрашие, занимайся всласть любимыми литературой, историей, биологией и не комплексуй». У Дарьи не ладилось с русским, и папа раз написал за нее сочинение. Мама на следующий день очень веселилась — учительница влепила Юлиану Семенову тройку!

Говорят, что первый ребенок принадлежит отцу, второй — матери. Возможно, в этом есть доля истины. Между папой и Дарьей существовало удивительное взаимопонимание, тонкая, как паутинка, но очень крепкая связь. Я в детстве тянулась к маме, Дарья — к отцу. Он делился с ней планами, советовался с шестнадцатилетней, как со взрослой, посвящал в секреты. У нас с ней большая разница — девять лет, и когда во время прогулок по Поселку писателей я успевала пять раз пробежать по аллее с Томми и маленькой дворняжкой Нелькой, бросаясь зимой — в снег, летом — в густую траву, папа не спеша шел с Дарьей, негромко разговаривая. Вплоть до ее замужества они оставались на редкость — другого слова не найдешь — солидарны. Возможно, папа и любил Дарью чуть больше, но это остается моим предположением, внешне он никогда между нами разницы не делал и волновался за обеих одинаково. На прогулке с моей подружкой Машей Червинской и ее родителями — писателем Александром Червинским и сценаристом Ириной я, со свойственной мне неуклюжестью, умудрилась попасть под машину. За рулем сидела дочь писателя Холендро, рядом — Юрий Нагибин. Правду сказать, оба были пьяны. Нагибин, открыв дверь, но даже не пытаясь вылезти, посмотрел на меня мутными глазами и сочувствующе спросил заплетающимся языком: «Она ж-жива?» Я была жива и, месяц провалявшись в гипсе, благополучно продолжала бегать, но папа после инцидента не разговаривал с Нагибиным долгие годы, хотя по сути дела он в произошедшем был неповинен. Тот, кто задевал нас хоть боком, рисковал заполучить в лице Семенова большого врага. Однаж-

ды мы втроем дошли до реки, протекавшей недалеко от дачи. Вечерело, пахло пряным клевером и горьковатой полынью, подросшие к концу лета окуньки то и дело выскакивали из зеленой толщи воды, хватая мошек и шумно плюхаясь обратно. Мы уселись на берегу полюбоваться закатом, когда рядом неожиданно появились пятеро подвыпивших юнцов лет двадцати — крепких и злобных. Они громко орали и, желая произвести впечатление на Дашу, стали задирать папу. Он заиграл желваками — явный признак гнева, — желто-карие глаза, обычно добрые, по-рысьи захолодели, крепкие кулаки сами собой сжались, и он встал в боксерскую стойку: хулиганов как ветром сдуло. От отца веяло какой-то магнетической силой, уживавшейся с добротой и мягкостью...

Кстати о мягкости — она распространялась не только на нас, но и на знакомых. Отец страдал от своей харизмы. Ежедневно с ним жаждали встретиться десятки людей, но когда он писал, встречаться ни с кем не мог — работа требовала абсолютной концентрации. Чтобы никого не обижать отказом, шел на невинную хитрость — отвечал на телефонные звонки высоким женским голосом: «Аллоу, вам Юлиана Семеновича? Какая жалость, он будет только поздно вечером, позвоните, пожалуйста, завтра».

Помню, солнечным летним утром папа в спешном порядке заканчивал правку романа для журнала. Неожиданно открылась калитка и мы увидели незваных гостей: молодого француза Жака Имбера с его русской женой. «Прячемся!» — принял отец молниеносное решение, и мы всей семьей выбрались в сад через задний ход и, как куропатки, затаились в густой траве. Жак с женой зашли в настежь открытые двери и растерянно бродили по пустому дому, протяжно крича: «Джулиа-а-а-н! Кат-я-я!» Переговаривались: «Они, наверное, вышли к соседям, сейчас вернутся». Мы сидели на корточках в траве, затаив дыхание, и перешептывались: «Да когда же они уедут? Ноги затекли!» Тут случилось самое неприятное — спаниель Жака, которого он повсюду за собой таскал, нас унюхал, подбежал и с громким истеричным лаем стал скакать вокруг. «Хороший мальчик, фу, фу, свои», — сдавленным голосом урезонивал его папа, но склочный пес еще больше заходился в лае. «Брысь, кыш, пошел!» — шипел папа, а пес, перейдя в атаку, пытался цапнуть его за щиколотку. Поняв, наконец, что их не ждали, Жак с женой ретировались, посвистев спаниелю. Отец, облегченно вздохнув, вернулся к правке... Иногда звонки и визиты ему надоедали настолько, что, кинув в сумку не-

сколько рубашек и три блока сигарет, он скрывался с пищущей машинкой на пару недель в каком-нибудь Доме творчества в одной из соцстран и возвращался на Пахру с готовым романом.

ПО ПОВОДУ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ

Большое спасибо тебе, зеленая ящерица с желтым хвостом.
За твое любопытство.
Каждое утро ты вылезала из кустов синего можжевельника
И подолгу смотрела, как я работаю.
Ты была, словно возлюбленная, которая считает,
Что видит чудо,
А поскольку «нет пророка в отечестве своем»,
Твое любопытство я толковал как любовь
И был очень горд.
Спасибо тебе.

Большое спасибо вам, мой друг Новицки,
За то, что каждое утро вы начинали строить
Нечто
Из старой фанеры и битого стекла и кирпичей.
Это очень важно: слышать подле себя работу
И видеть, как рождается дом:
Пусть даже без печки, но с крышей.

Спасибо вам, комары с прозрачными крыльями,
За то, что вы каждый вечер слетались к моей лампе
И гибли в ее холодном электрическом тепле.
Но перед тем, как погибнуть, вы очень мешали мне,
И это помогало мне чувствовать себя живым —
Всего-навсего.

Огромное спасибо вам, яблони,
За то, что вы роняли на подстриженный луг красные яблоки.
В этом умирании лета
Было заложено главное: то, что помогает
Людям жить — вера в бессмертие земли.

Ну будь здорова, ящерица! Я сейчас уеду.
Я очень счастлив. Я окончил работу.
Я поеду на автобусе «такого нет»,
На остановку «такой не будет».
И пока он будет везти меня,
Я стану благодарить и тебя,
И господина Новицки, и луг,
И облака, и горлиц, которые уснули.
Спасибо вам, большое спасибо.

Однажды зимним вечером на дачу приехала супружеская пара. Он — низенький, шумный итальянец в черной пелерине — хозяин судоверфи, очень веселый и доброжелательный. Она — высокая, стройная, с гладко зачесанными, по-испански, волосами и пронзительно синими глазами, в

собольей душистой шубе. Звали ее Маргарет. До замужества она долгие годы была подругой Фиделя Кастро. Помню ее руки с тонкими, унизанными кольцами пальцами, необычайно красивые. Она замечательно гадала и в тот вечер предсказала родителям будущее. Глаза у мамы стали после этого красные, заплаканные, папа был грустно-растерян. Нам с сестрой они тогда ничего не сказали — малы еще. Уезжая, Маргарет сняла с руки тяжелый витой из белого золота браслет и дала маме — на счастье. Мама подарила ей брошь — ночная бабочка темного, как волосы Маргарет, серебра.

Отец после того вечера часто повторял: «Это произойдет очень быстро. Бах, в мозге лопается сосудик и все!» И, переводя в шутку, картаво добавлял: «Умер, шмумер — не беда, лишь бы был здоров!» А во время наших путешествий объяснил мне, маленькой, как поворачивать ключ зажигания, чтобы остановить машину. «Зачем, пася?» «Если мне вдруг станет плохо. Если это случится, ты не должна паниковать». И ласково трепал меня за нос. Руки у него были сухи и горячи — руки экстрасенса.

...Через много лет так все и произойдет. Ему станет плохо в машине — «лопнет сосудик», отнимутся ноги и все кончится. А пока отец писал, путешествовал, строил планы, радовался. Он не знал, что такое уныние, вернее, как человек дисциплины, умел его не показывать. А когда становилось тревожно и муторно на душе, шел к Роману Кармену, благо дома стояли на одной аллее.

СТИХИ, ПОСВЯЩЕННЫЕ РОМАНУ КАРМЕНУ

Хем, перед тем как выстрелить себе в голову, вымазал руки ружейным маслом — для алиби.

Нам нет нужды смотреть назад,
Мы слуги времени. Пространство,
Как возраст, и как постоянство
«Адье, старик», нам говорят...

Все чаще по утрам с тоской
Мы просыпаемся. Не плачем.
По-прежнему с тобой судачим
О женщинах, о неудачах,
И как силен сейчас разбой...

Ведь мы растратчики, мой друг,
Сложенье сил необратимо,
Минуты бег неукротим,
Не братья мы, но побратимы,

Нет «Ягуаров», только «Зимы»,
А мера скорости — испуг...
Но погоди, хоть чуда нет,
Однако подлинность науки
Нам позволяет наши руки
Не мазать маслом. И дуплет,
Которым кончится дорога,
Возможно оттянуть немного,
Хотя бы на семнадцать лет...

...Первое путешествие с папой в 1972 году я, как ни странно, неплохо запомнила, хотя мне шел всего шестой год. Родители долго сомневались, брать ли меня, оставить ли на даче с няней. Решили взять. Мы выехали с Пахры на папиной белой «Волге» ранним летним утром. Отец — за рулем, мама рядом с ним, сзади — Багаля и мы с Дарьей. Взяли курс на Одессу. Там должны были сесть на теплоход, плывший в Болгарию, а оттуда отправиться в Венгрию, на озеро Балатон. Путешествия с папой никогда не отличались размеренностью. Все экспромтом: остановки, знакомства, осмотры достопримечательностей, купанья, розыгрыши. Удачнее всего он разыгрывал Багалю. В тот раз она, подслеповатенькая уже, близоруко щурясь, нетерпеливо оглядывала окрестности — ждала Одессу. Наконец приехали. Останавливаемся на набережной, выходим из машины размяться.

— Какой это город, мальчик? — деловито интересуется бабушка, надевая очки.

— Кишинев, мамочка, — серьезно отвечает папа.

— А откуда же море?

— Как?! Ты не читала в «Науке и жизни»? Нью-Кишиневское искусственное море, последнее достижение ученых!

— Ах да! Что-то запамятовала, — кивает головой Багаля (признаться в том, что пропустила такое важное событие, ей, штудирующей всю периодику, не под силу). Отойдя в сторонку, она авторитетно обращается к прохожему:

— Товарищ, будьте любезны, скажите, когда были закончены работы по выкапыванию этого моря?

— Сравнительно давно, — отвечает находчивый одессит.

...А потом мы плывем на огромном белоснежном пароходе, и я все спрашиваю: «Ну когда же Болгария, пася, скоро?» Папа на бесконечные вопросы не сердится, может быть, оттого, что видит в этой неугомонности себя — вечно торопящегося и нетерпеливого. Что ни говори, а в феномене родительского всепрощения фактор похожести играет не последнюю роль. Когда берег показывается, отец берет меня на руки и высоко поднимает, чтобы я увидела его раньше

ше всех. Сначала я лишь щурюсь от бьющего в лицо соленого ветра и не замечаю ничего, кроме огромных, жалобно кричащих чаек, и лишь потом угадываю на горизонте ничем не примечательную серую полоску суши. Дальше все воспоминания смешиваются. Набережные с продавцами сладкого попкорна. Танцы смуглых босоногих болгарок на раскаленных углях. Пьянящий запах сырене — жареной брынзы в тавернах. Цыгане-дрессировщики, водившие по открытым ресторанам маленьких волков, по-щенячьи лизавших мне ноги. Огромный медведь, сорвавшийся у них с поводка и ринувшийся на маму. Мамин визг, бегство со мной в темноту, падение в глубокую канаву, ее разодранные коленки. Старый печальный верблюд со свалявшейся шерстью на пляже — папа забрался со мной к нему на спину, чтобы сфотографироваться в наряде бедуина. Ночь, когда выключился свет по всему Сланчеву Брягу. Мы жили в отеле на двадцатом этаже, поднимались гуськом в абсолютном мраке, зажигая спички, дойдя до пятнадцатого, сообразили, что забыли ключ от номера у портье. Рыбалка, на которую отец меня взял: старые сети, пахнущие рыбой, волны, бьющиеся о борт лодки, веселые рыбаки — болгары, всеобщая паника, когда я стала пунцовой от яркого солнца...

Мама до сих пор вспоминает их с папой «выход в свет». В тот вечер Багаля осталась с Дарьей и со мной в номере, а родители отправились в ресторан. Несколько злоупотребив местными алкогольными напитками, папа с трудом добрался до машины, заботливо поддерживаемый мамой, и даже благополучно доехал до отеля (он водил машину «на автомате», в любых состояниях, и ни разу не попал в аварию навеселе). Оставалось самое трудное — холл. «Юлечка, соберись, родненький, — ласково упрашивала его мама. — Дамы-администраторы еще те грымзы. Не ударь в грязь лицом!» Папа нежно посмотрел на маму, глубоко вздохнул и решительно вышел из машины. Он не прошел через мраморный холл отеля — он промаршировал через него под одобрительными взглядами администраторш, как бравый солдат Швейк, прямо держа спину и вытягивая носок. Никто даже и представить не мог, что он был пьян. Приложенное усилие оказалось для него непомерным. Зайдя в лифт, он моментально сполз по стенке и сладко заснул до двадцатого этажа. Мама, закинув папину руку себе на плечо и поднатужившись, вытащила его из лифта и, как раненого с поля боя, поволокла к номеру. В коридоре столкнулась с группой советских туристов. Соплеменники, остолбенев при виде героической женщины, тащившей внушительных размеров

бородача, уважительно сказали ей в след: «Во, жена труженица!»

...Отцовский танкообразный характер проявлялся в любых мелочах: так, в Венгрии ему очень понравилось национальное блюдо халасли — острая уха. И как-то поздним вечером он немедленно захотел ее отведать. Сказано — сделано. Заходим в один ресторан, во второй, в третий. Повсюду затянутые в черные смокинги при бабочках официанты, привыкшие к выбритым восточным немцам, отвечают бородатому богатырю в клетчатых шортах и шлепанцах на босу ногу, что «мест нет, все зарезервировано». Сдаться? Ни за что! Обойдя с десяток ресторанов, папа добился-таки, во втором часу ночи, халасли!

...А через пару дней на Балатоне резко поменялась погода — с сорокаградусной жары до градусов пятнадцати. Несколько десятков гипертоников умерло. Папе схватило железным обручем затылок, голова раскалывалась от боли, давление за 200. Мама отходила сосудорасширяющими и горчичниками, которые ставила к затылку и пяткам. Кризис прошел. Папа радовался: «Предсказание Маргарет на некоторое время откладывается! Спасибо Катку. Без нее вернулся бы в отечество в свинцовом гробике».

ДРУЗЬЯ

«За то время, что мы здесь жили, Юлька завел миллион новых друзей (до гроба), и теперь я расточаю миллион улыбок ежедневно», — писала мама Наталье Петровне Кончаловской из Коктебеля в 1961 году.

Папа любил людей. Всех, без исключения, независимо от возраста, положения, профессии. Для мамы это скорее было наказанием (пойди прими «миллион друзей»), для отца — благодатью. Он постоянно увлекался, идеализировал, раскрывался, отдавал, то и дело разочаровывался и снова в силу вулканически-романтического темперамента увлекался.

Роман Кармен

В калейдоскопе лиц, мелькавших в доме, я с детства различала несколько, появлявшихся чаще других. Как уже говорила, лучшим папиным другом был Роман Лазаревич Кармен — талантливейший режиссер-документалист. В 36-м году он работал военным корреспондентом в Испании, подружился там с Хемингуэем, воевал в Великую Отечественную, объездил весь мир, присутствовал на Нюрнбергском процессе. В 70-х подарил папе фото: на переднем плане, на скамье подсудимых — Геринг, сзади, невероятно красивый, в идеально сидящей форме, молодой Кармен. В правом углу — шутливая надпись: «Юльке — от Штирлица. Кличка “Рима”».

Кармен был старше папы на двадцать лет и по-отечески помогал с подбором хроники для фильма «Семнадцать мгновений весны» (вместе просмотрели километры архивных пленок), одним из первых читал рукописи, всегда оказывался рядом в трудные минуты.

Когда Роман Лазаревич начал многосерийный документальный фильм «Великая Отечественная», у него уже пошаливало сердце. Накануне сдачи аппарат стал клевать за вы-

бор ведущим фильма американского актера Ланкастера: «Мало ему советских артистов, ишь, на буржуйских потянуло!» Особенно измывался начальник политуправления Советской армии, в прошлом заместитель Берии — Епишев. Роман Лазаревич жаловался самым близким. «Он смеет говорить, что я делаю мой фильм в угоду империалистам, этот безграмотный боров!» Сердце после крутых разговоров с идеологами стало отказывать. Кармен в отчаянии кричал врачам: «Умоляю, сделайте что-нибудь, я должен закончить картину!» Он умер за две недели до премьеры, и папа, почувствовав себя осиротевшим во второй раз, написал: «Нет ничего горше, чем память о тех, кто был с тобой, подле, кто знал тебя, как себя, и кого никогда более не будет».

Семен Клебанов

Папиным другом и папиной болью был Семен Клебанов. Редактор с Мосфильма — большой, тучный, интеллигентный, с небольшими доброжелательно-сонными глазами. Я находила в нем что-то от мудрого дрессированного слона в цирке. Когда он появлялся, в доме становилось уютнее и покойнее. Очаровательный собеседник, добрый человек, серьезный профессионал (работал на «Мгновениях»), умевший принимать гостей и сам желанный гость, он был папиной радостью до тех пор, пока не ссорился с женой Лилей — эффектной блондинкой. Хотя обоим было за пятьдесят — сын Игорь, одаренный кинооператор, работал на Мосфильме, подрастал внук Никитка, — любили друг друга придирчиво и ревностно, как молодожены. Малейшая ссора по пустяку выбивала их из колеи — Лиля нервно курила в одном углу, Семен мрачно сидел в другом. Не выдержав молчания жены, он обычно уезжал к отцу на Пахру, садился у него в кабинете и со слезами на глазах жаловался на свою судьбу. При этом на нервной почве целиком съедал привезенный с собой батон.

— Сенечка, дружочек мой, — успокаивал его папа, — все с Лилечкой образуется, не ешь ты хлеб всухомятку, сыра тебе порезать, чай заварить?

Семен укоризненно смотрел на папу глазами первых христианских мучеников и судорожно всхлипывал:

— Какой сыр, Юлька, неужели ты не понимаешь, как я страдаю?!

Эффектная Лиля умерла от сердца первой. Вскоре у Семена что-то случилось с почками. Как настоящие неразлучники, они ушли почти одновременно. Жизнь без этой трогательной пары стала спокойнее и скучнее...

Юрий Холодов

Говорят, что друг тридцатилетней давности — это часто кто-то, от кого мы не смогли за все эти годы отделаться. Папе повезло — от своего друга детства Юрия Холодова он отделываться не думал и очень им дорожил. Одноклассники звали его «Суровым». Отец Юры погиб на фронте, мама осталась с тремя детьми на руках. Жить было, прямо скажем, нелегко. Может быть, из-за этого Юра рано повзрослел. Круглый отличник, он сосредоточенно решал на уроках арифметики сложные задачи своим, только ему понятным способом и охотно давал их списывать папе, ничего в математике не смыслившему. После школы вечно возился со всякой живностью — кошками, собаками, голубями. Мальчишкой Юра спас отцу жизнь. Гроза их двора — страшный хулиган и будущий уголовник — толкнул восьмилетнего папу в открытый люк канализации. Была зима, папин тулупчик моментально пропитался зловонной водой и потянул вниз. Юра бросился его вытаскивать и стал звать на помощь взрослых. Прошли годы. Из худенького мальчика он превратился в рослого, добро улыбающегося доктора наук в очках с сильными диоптриями, автора блестящих научных трудов по влиянию электромагнитных полей на поведение животных. Приезжая на дачу, Холодов рассказывал папе о своих открытиях, а тот, подперев голову кулаком, слушал увлеченно, как ученик — талантливого учителя. Время от времени его «поклевывала» консервативная профессура — дескать, больно смел в научных предположениях, быстр и открыт. Отец бросался на защиту друга, сочиняя хвалебные статьи и отзывы.

Жорж Сименон

Папа познакомился с автором знаменитых романов про капитана Мегрэ в 1979 году. Сименон был уже стар, часто хворал, в Москву так и не выбрался. Но, будучи собкором «Литературной газеты», отец часто приезжал к нему в Лозанну, и они, часами попыхивая, Сименон — трубкой, отец — сигаретой, говорили о литературе. Фотографии Сименона с дарственными надписями висели в нашей московской квартире на почетном месте, а его многочисленные письма очень папе льстили. Вот что он написал, прочтя «Семнадцать мгновений весны»:

«Дорогой собрат по перу!

После нашей встречи, от которой у меня остались самые приятные впечатления, я тут же "пробежал" Вашу книгу. Я пока отказал себе в удовольствии почитать Ваше произведение с тем вниманием, которого оно заслуживает — обязательно это сделаю, как только позволит время. Это было четыре дня назад, я в ней буквально растворился, как в знаменитой толстовской фреске. Это количество персонажей и переплетение действующих лиц, их человеческая правдивость произвели на меня неизгладимое впечатление. Ощущение невыдуманности истории было настолько сильно, что мне снова пришлось посмотреть обложку Вашей книги, чтобы увидеть слово "роман". Теперь я понимаю, почему Ваша книга стала бестселлером и по ней был снят сериал. Я, будучи сам не в состоянии написать что-нибудь, кроме коротких романов с небольшим количеством действующих лиц, был просто поражен этой гигантской историей, которая захватывает читателя настолько, что он не может отложить ее ни на один вечер, пока не прочтет до конца.

Поздравляю Вас, мой дорогой собрат по перу и почти однофамилец!

Хочу еще сказать, что, когда я читал Вашу книгу, я зрительно представлял Вас сидящим в кресле Терезы, тихо и спокойно, с внимательным взглядом, ничего не оставляющим незамеченным, словом, таким же, как Ваши герои.

Крепко обнимаю Вас,

Жорж Сименон».

В одну из встреч Сименон рассказал папе, как он мучительно переживал расставание с комиссаром Мегрэ, закончив о нем цикл романов. Ему потребовалось несколько лет, чтобы «выздороветь» и снова начать писать. Предупреждал: «Когда придет время попрощаться со Штирлицем, мой друг, Вас ждут такие же страдания».

Из письма:

«Мой дорогой Юлиан,

Воспользовался праздниками, чтобы посмаковать Вашу "Петровку, 38". Я нашел живых героев, настоящих полицейских, всамделишных преступников, в общем все человечество, во всей своей бушующей и поразительной правдивости. Книга эта, надо сказать, пользуется успехом во Франции и удивила многих, кто еще считает русских инопланетянами. Браво, мой дорогой Юлиан.

Со всей моей старой дружбой».

Михаил Аверин

Папа звал его Мишаня. Он был невысок ростом, голубоглаз, розовощек, добр и жизнерадостен. Всегда носил один и тот же кургузый пиджачок, серые брюки и кепочку, чтобы скрыть рано появившуюся лысину. В детстве Мишаня мечтал стать музыкантом. В четырнадцать начал подрабатывать после школы. Набрав достаточно денег, купил баян. Часами разучивал ноты, учитель в кружке не мог нахвалиться. Раз в воскресенье мать, придя из церкви, швырнула инструмент на пол: «Не смей играть в воскресный день! Не было еще таких богохульников в семье Авериных!» Сверкающий, с перламутровыми кнопочками баян разбился вдребезги, денег на новый не было. Миша сдал на права водителя и стал работать на «скорой помощи». Потом с ним познакомился папа, и он пришел к нам.

Каким же он был весельчаком, какие откидывал коленца, что за притопы и прихлопы выдавал для нас, маленьких! Как играл в свободные минуты со своим сыном Митей, которого из-за папиного бешеного графика видел не часто! Миша встречал отца в аэропортах и на вокзалах, перегонял в Москву его машину, которую, вернувшись из-за границы, он оставлял возле таможни, разбирал корреспонденцию, отвечал на бесконечные звонки, покупал с мамой продукты, помогал собирать чемоданы, возил рукописи к машинистке, сидел с отцом на банкетах, с тоской поглядывая на пустую рюмочку (за рулем — ни грамма), выгружал пьяненького папу дома, ремонтировал машину и чего только еще не делал. Добрых четверть века был он папиным секретарем, доверенным лицом, водителем, ангелом-хранителем, а главное, другом, потому что только настоящий, любящий друг мог выдерживать семеновский непоседливый характер и взрывной темперамент по 14 часов в сутки. Когда отец материл (а это бывало часто) вечные российские запреты и идиотства, Миша хохотал: «Ну, Юлиан Семенович, ну даешь! Дорого-о-о-ой, суши сухари!»

Когда Миша уходил в отпуск — начинался хаос. Взяв однажды пухлую, страниц пятьсот, рукопись у машинистки, папа нажал на газ, благополучно забыв папку на крыше машины, и роман разлетелся сотнями листочков на мосту возле Лужников. Он бросился собирать, — куда там, ветер разнес очередные приключения Штирлица по всей Москва-реке, хорошо еще, что сохранился черновик.

Руль Миша держал изящно, отставив мизинчик, скорость — сколько папа ни бился, не больше шестидесяти. Меня, двухдневную, он забирал с мамой из роддома, поэтому относил-

ся как к племяннице, придумал прозвище «Драндулетик» и любил со мной помечтать по дороге на дачу. «Тебе, Драндулетик, в артистки надо идти. Вот буду я старенький, с палочкой. А ты — артистка, страсть какая известная! Придем с Надюшей в театр, а ты нам р-р-раз, и место в первом ряду!»

Он умирал от рака молодым. После первой операции еще умудрялся помогать папе и учить меня водить машину, после второй слег окончательно. Отец нашел прославленного гомеопата, но помочь было нечем. Миша лежал высохший, пожелтевший. Когда я к нему пришла, через силу улыбнулся:

— Вот, Драндулетик, попросил Надюшу мой портрет, что над кроватью висел, снять (брат-художник нарисовал его розовощеким, смеющимся).

— Почему, дядя Миша?

— Да я тут, как дурак, лежу, а он надо мной смеется!

Никого из друзей Миша видеть не хотел, ждал папу, бывшего в очередной командировке. Он опоздал на два дня. В церкви, пронизанной робкими лучами осеннего солнца, пахло ладаном, вокруг гроба тихо собирались родственники. Отец с блестящими, как в лихорадке, глазами положил венок с надписью «Другу и брату» и встал напротив неожиданно повзрослевшего девятнадцатилетнего Мити.

Евгений Примаков

Со своим студенческим другом — Евгением Максимовичем Примаковым папа встречался не часто. Оба занятые, одержимые работой, с планом командировок и деловых встреч на год вперед, они не виделись по многу месяцев, но знали, что в нужный момент могут друг на друга рассчитывать. Примаков встал на защиту отца, когда того выгоняли из института как сына врага народа, а главное, остался рядом, когда его все-таки выгнали. В те годы это было проявлением настоящего мужества, — от детей «врагов» шарахались, как от прокаженных...

Через несколько лет Евгений Максимович попал в трагикомичную ситуацию и тут уж отец бросился к нему на выручку.

Вспоминает академик Евгений Примаков.

Мы с Лаурой были тбилисцами и снимали в Москве комнатку. По метражу в ней мог прописаться только один человек, и мы пошли на хитрость: сначала в милицию с моим и хозяйки-*

* Первая супруга Е. М. Примакова (ум. 1987).

ным паспортом отправился я и благополучно прописался. Следом, в надежде, что милиционер не заметит подвоха, пошла Лаура и попалась. Паспорта страж порядка конфисковал! Я сразу позвонил Юлику, он тут же примчался, влетел в кабинет к начальнику отделения и через десять минут вышел с победным видом, держа в руках паспорт хозяйки и Лаурин — с пропиской.

Евгений Максимович очень точно называл папу «маленьким бульдозером» — он умел идти напролом, когда хотел чего-то добиться или кому-то помочь. А еще у него было замечательное качество — он искренне радовался успехам друзей. Узнав о назначении Евгения Максимовича директором Института Азии и Африки, он ликовал и все подзуживал меня, школьницу еще, «баловавшуюся» журналистикой (время от времени интервьюировала знаменитых родственников и друзей), взять у него интервью. Я, глупая, тогда отнекивалась: «Пася, дядя Женя такой умнющий, что никто в молодежной газете и не поймет, о чем он говорит».

Раз отец сорвался со мной из Бонна, где был собкором «Литературки», в Гаагу — повидать Евгения Максимовича, участвовавшего в международной конференции. Помню, они долго гуляли по туманной, пропахшей водорослями набережной Шевенингена. Холодное море катило издалека серые пенные волны на пустой пляж, бегали по мокрому песку неизвестно откуда взявшиеся породистые собаки без хозяев и развевались на ветру вывешенные возле магазинчиков пестрые майки. Потом папа угощал нас пряными азиатскими блюдами в маленьком прибрежном кафе, и Лаура все вдыхала, будто не могла надышаться, влажный морской воздух, улыбалась и повторяла: «Восхитительно, это восхитительно!»...

...Когда несколько лет спустя у Примаковых случилось страшное горе — не стало сына, папа сидел у себя в кабинете серый, курил одну за другой сигареты и, рассказав мне о произошедшем, тихо закончил: «Я не знаю, что делать. Не знаю, как Женечке помочь». Он всегда был бойцом, но перед лицом непоправимого растерялся.

Эрнест Хемингуэй

Завистники часто обвиняли папу в подражании Хемингуэю, но он ему не подражал — они действительно были похожи, и не в бородах дело. У них были до странного похожи фигуры: широкие спины, богатырские плечи, крепкие икры — на

фотографии можно спутать. Одинаковым было и умение работать — каждодневно, без капризов. У Хема существовало правило — 500 слов в день (три страницы), у папы — минимум пять. «От литературы, если не сидеть каждый день за письменным столом, отвыкаешь, как от любимой женщины в тюрьме», — написал он как-то знакомому писателю, начавшему лениться.

Папа открыл Хема летом 1954 года в маленьком курортном поселке Архипо-Осиповка, где они каждый год отдыхали веселой институтской компанией под названием «Потуга». Все ребята в то лето поселились у завхоза школы. Папе места не хватило, и ему установили кровать в подвальчике двухэтажного общежития учителей. В изголовье у него стоял скелет, на стенах висели географические карты и диаграммы роста пестиков и тычинок. Он тогда обгорел на солнце, должен был пару дней прятаться и друзья принесли ему из сельской библиотеки «Иметь или не иметь». Это и стало началом праздника, который отец носил в себе всю жизнь. Он преклонялся перед четырьмя писателями: искрометно-радостным Пушкиным; Стендалем — щедрым на точные предсказания типа: «Безопасность богачей обусловливается отсутствием отчаяния у бедняков» и «Виной всему короли, своей неловкостью они накличут на нас республику», Алексеем Толстым, из-за «Гиперболоида инженера Гарина» и Хемингуэем, писавшим, по папиному мнению, мучительно честно, до самой последней степени честности. Отец знал наизусть и цитировал мне целые страницы из их произведений, смакуя каждую фразу, похохатывая басом и повторяя: «Гениально!» Ему нравилась и свобода, с которой писал Хем, и ощущение радости, пронизывающее все, даже самые грустные его вещи. «Счастье за поворотом!» — было девизом отца, поэтому так и дорога ему сразу стала светлая проза Хемингуэя. Считается, что оптимизмом грешат лишь люди плохо осведомленные, папа же, обладая поистине энциклопедическими знаниями, был неисправимым оптимистом. «Трагедия, — говорил он, — рождена для ее преодоления. Если человек привык к трагедии, начал считать ее некой постоянно существующей константой, он неверно понимает самую сущность трагического. Трагедия — это нарушение точек равновесия, неустойчивость, которая всегда временна. Всякое развитие предполагает надежность точек опоры, которые станут ориентирами движения: от трагедийного кризиса к оптимальному решению в схватке добра и зла». А еще отцу была близка религия антифашизма, исповедуемая Хемом, его последовательность в неприятии вой-

ны. Так ненавидеть войну мог только человек по-настоящему добрый, смелый и войну прошедший.

Как же папа мечтал встретиться с Хемом! Он знал, что, как только окажется в Америке, первым делом поедет к нему, но командировок в США все не было, и он попросил своего приятеля Генриха Боровика подписать у кумира книгу. Интервьюируя Хема, Генрих Аверьянович рассказал об отце. «Как зовут Вашего друга?» — спросил тот. «Мы зовем его Юлик, а вообще-то он — Юлиан». — ответил Боровик. И Хем написал на титульном листе книги «Зеленые холмы Африки» своим широким, щедрым почерком: «Моему другу — Юлиану Семенову. Эрнест Хемингуэй».

Вскоре папа попал в Америку, но Хема уже не было. Отец считал, что его смерть была не несчастным случаем, а хорошо замаскированным самоубийством. Узнав от онколога, что он неизлечимо болен, писатель разложил на полу инструменты для чистки ружей, вымазал руки машинным маслом и выстрелил себе в голову.

А с вдовой Хема — Мэри папа в Штатах подружился. Старенькая, миниатюрная седая женщина с энергией молодого гладиатора и мудростью китайского философа вскоре приехала в гости в Москву. Приученная мужем к охоте, отправилась на Волгу стрелять с отцом уток. Разведя костер, они сидели в лесу, грели руки у огня, и Мэри рассказывала о Хеме, которого, как еще несколько близких, называла «Папа». С ним было непросто жить. Нужно было чувствовать, когда посидеть рядом, а когда оставить одного, — она эту науку постигла в совершенстве. А еще Мэри научилась не замечать его минутных увлечений и не устраивать бабских сцен и быть другом. Как же непросто быть женой художника, сколь немногим Бог дает великое умение прощать и принимать любимого человека таким, каков он есть.

Уезжая, Мэри подписала отцу большой фотографический портрет мужа: «“Papa” would say: “For Julian — a great man and a wonderful мужик”. Me too. Mary Hemingway»*.

В 76-м отец отправился по хемингуэевским местам на Кубу. Что за прием устроили ему кубинцы! В местечке, где он остановился, вывесили огромный плакат «Добро пожаловать, дорогой друг и товарищ Юлиан Семенов!». Попросили выступить. Потом развлекали, показывали местные достопримечательности, а главное, познакомили со старым рыбаком Грегорио — с выдубленным солнцем, прорезанным глу-

---

* «Папа» сказал бы: «Для Юлиана — большого человека и прекрасного мужика. Для меня тоже. Мэри Хемингуэй».

бокими морщинами коричневым лицом и пронзительно-голубыми глазами. Грегорио был капитаном шхуны Хема «Пилар», рыбачил с ним, готовил еду (любимым блюдом писателя были спагетти под черным соусом), знал все его секреты. С него Хем писал Эдди в романе «Острова в океане», да и старый рыбак в «Старике и море» как две капли воды напоминает Грегорио... Папа провел с ним несколько дней, расспрашивая о своем кумире. Чем больше он о Старике узнавал (Стариком — «Вьехо» писателя называли друзья кубинцы), — как тот не терпел ложь, старался делать добро, дисциплинированно работал, хулиганил с молоденькими американскими туристками, тем явственнее ощущал присутствие Хема. Казалось, что тот вот-вот выйдет из своего светлого дома с английскими креслами в цветочек, рогами косуль и оленей на стенах, огромной библиотекой, и подсядет, улыбаясь, к ним... Грегорио пригласил отца на рыбалку, и они поймали огромную рыбу-пилу с длиннющим острым носом — таких в свое время ловил Хем. О той встрече отец написал один из лучших своих рассказов «Грегорио — друг Эрнесто», в котором мне очень нравится фраза: «Мир, лишенный ночных штормов и циклонов, которые задувают с Сан-Сальвадора, кончился бы, захирел от тоски и ленивого однообразия».

Папа прошел по Парижу Хемингуэя, отыскав его крохотную квартирку на рю Конт Эскарп. Посидел в знаменитом кафе «Клозери де Лила», где тот писал за чашкой кофе. Открыл Дарье и мне Испанию Хема — искреннюю, добрую, полную надежды и ощущения праздника. Он узнал о Хеме так много и написал о нем так искренне и хорошо, как может написать только друг...

В папином крымском доме-музее в Мухалатке висят четыре фото Хема: с Грегорио — на рыбалке, с Мэри — в саду, с Карменом — в Испании 36-го и большой фотопортрет. Заинтригованные обилием изображений бородатого американца, посетители просят разъяснений, и старенькая смотрительница Лидия Борисовна с важным видом, старательно произнося трудную иностранную фамилию, отвечает: «Так ведь Хемингуэй был большим другом Юлиана Семеновича!» По-моему, она говорит чистую правду.

Хуан Гарригес

Сын Дона Антонио — министра юстиции Испании в первом постфранкистском правительстве, Хуан в молодости был откровенно левым. На первом курсе университета тай-

ная полиция Франко арестовала его за участие в подпольной студенческой организации, ставившей своей целью реформу общества и свободу слова и собраний (при генералиссимусе надо было получать разрешение секретной полиции на собрание, если встречалось больше пяти человек). Шесть месяцев Хуан отсидел в тюрьме, а потом его выслали к отцу — тогда послу Испании в Вашингтоне — «на перевоспитание».

Папа познакомился с Хуаном в Мадриде в самом начале семидесятых, и они стали неразлучны. Красавец, умница, отец семерых детей, Хуан полюбил Россию и поверил в возможность иметь с русскими дело. Раз папа организовал ему и его отцу поездку — не туристическую, а человеческую, по Союзу. Они пролетели над безбрежными полями Ставрополья на вертолете: добрый папин друг Леонид Поздняков, работавший в ту пору заместителем председателя крайисполкома, договорился с сельскохозяйственной авиацией. Потом поднялись пешком к Приэльбрусью, завезли в крохотную избушку — без электричества, на берегу тихой реки, к пасечнику, угощавшему каким-то удивительным медом, напоенным запахом трав. Шофер газика отвел папу в сторону: «Нельзя здесь испанцев на ночь оставлять, неудобно». — «Почему?» — «До ветру надо к тыну бегать. Стыдно, как дикие. Опозорят нас потом в буржуазной прессе».

Дон Антонио Гарригес в прессе нашу страну поднял, первым открыто и громко заявив: «Вне и без деловых и культурных связей с великим евроазиатским государством будущее Европы невозможно». Тогда же он выдал Хуану денег, помог создать фирму и благословил на бизнес с Советским Союзом. Бедный Хуан... В какие только двери Минвнешторга он не стучался! Как старался помочь ему папа! Отказывали любому предложению Хуана — как бы интересно оно ни было: «Он — папенькин сынок, к тому же перевоспитан ЦРУ!» Ему отказывали мягко, улыбчиво, ссылаясь на временные трудности и пустяшные неувязки.

На третий день после смерти Франко, в декабре 76-го года, папа с Хуаном вылетели из Москвы в Мадрид и провозгласили создание «Общества культурных связей Испания — СССР». Их мечтой было организовать обмен выставками: Прадо — в Москву, Третьяковку — в Мадрид, но снова они наткнулись на стену. Лишь один человек отнесся к проекту с пониманием — Екатерина Алексеевна Фурцева, выведенная из Политбюро «хрущевистка». Выслушав отца, она вздохнула: «Идея прекрасная, помогу, чем могу... Теперь мне легче помогать. — Она встала из-за стола, подошла к окну, выходившему на улицу Куйбышева, поманила папу пальцем и,

понизив голос, прошептала: — Когда я была там, — Екатерина Алексеевна подняла глаза к потолку, — сердце атрофировалось, только холодная логика! "Кому понравиться, кто возразит", — постоянная балансировка, как на канате... Мне теперь легче помогать, — еще тише договорила она, горестно добавив, как папе показалось, самой себе, — стараться во всяком случае. Хоть часть грехов простится за это старание, — грустно улыбнувшись, закончила она. — Давайте попробуем».

Попробовали. Ничего не вышло.

А сколько Хуан сделал для России! Многих художников, писателей, ученых принимал в Мадриде!.. Два деятельных мечтателя — испанский бизнесмен и российский писатель — не выпуская сигарету изо рта, строили бесконечные планы и схемы, всегда натыкаясь на «нет!».

...Хуан умер от разрыва сердца сорокасемилетним, незадолго до начала перестройки: бизнес с Союзом поставил его на грань банкротства и разрушил надежду — он очень верил русским, когда начинал. Его братья, завязанные на крупные американские фирмы, преуспели.

...Мы с папой навестили его вдову Кармен в ее мадридском доме в 88-м. Поджарая, спокойная, она встретила нас доброжелательно. Никаких слез, никаких жалоб — достоинство прежде всего, но в смолянисто-черных глазах вспыхнули пару раз угольки обиды. Не на папу, на Россию. Да и как могло быть иначе — ее младшему сыну, так похожему на Хуана, — их седьмому ребенку, только исполнилось десять лет.

Рита

В Союзе, когда писатель становился очень известен, в определенных кругах принималось решение за ним приглядывать — «доверяй, но проверяй». Обычно выбор падал на человека, вхожего в дом, так проще.

Рита в молодости готовилась в актрисы. Пикантная брюнетка с нежным румянцем и чудесными черными глазами, отплясывала она с Симоновым на студенческих вечерах, но, выскочив замуж за сына влиятельного чиновника, актерство бросила. Разведясь, снова вышла замуж, родила дочь, снова развелась. Ей не везло с мужчинами. Дочь выросла и уехала, выйдя замуж за иностранца из соцлагеря. Рита осталась одна, страшно растолстела и пристрастилась ходить на похороны. Успокаивало ли ее это, давая возможность почувствовать себя живой, а значит, счастливой, или нрави-

лась ей атмосфера минутного единения людей перед лицом неизбежного — не знаю. Но к нам она всегда приходила с похорон радостная, подробно рассказывая маме, которая об этом не просила, кого хоронили, кто присутствовал, что говорил на прощание. Однажды ввалилась в дом, задыхаясь от смеха и крича: «Держите меня! У меня сотрясение пупа! Нет, такое сказать невозможно, нет!» Оказалось, что провожая в последний путь умершего, один его приятель закончил длинную речь словами: «Будь здоров, дорогой товарищ!»

С годами Рита стала окончательно своей. Выпив, папа материл при ней некоторых членов ЦК и обзывал Суслова фашистской мордой и серым кардиналом — Рита хихикала в углу, зябко кутаясь в шаль, и ничего не говорила. С ней справляли Новый год, принимали друзей-иностранцев, праздновали дни рождения. Рита ездила со мной на Пахру и на Николину Гору к Наталье Петровне, где, обжигая себе руки кипящим маслом, она готовила обед, пела на кухне оперные арии и поила меня чаем: «Боже мой, смотрите, какая у Олечки жажда! Наталья Петровна, посмотрите же, — даю ей третью чашку, а она все пьет. Девочка чуть не заболела от обезвоживания!»

Много лет спустя Рита готовила меня к поступлению в Щукинское училище. Не будь ее — провалилась бы я с треском, несмотря на папину помощь. Отец позвонил тогда Юрию Васильевичу Катину-Ярцеву и печально сказал: «Моя младшая решила в актрисы пойти». — «Дура! — мудро ответил Юрий Васильевич и, помолчав, добавил: — Ладно, пусть приходит, посмотрим».

Рита натаскивала меня на стихотворение Пушкина «Младой Дафнис...». Читала я перед великой актрисой Верой Павловной Львовой — крохотной восьмидесятилетней старушкой. Зажатая, с пылающими щеками, завалила басню, потом прозу, начала читать Пушкина, и глаза Львовой за толстыми стеклами старомодных очков заблестели и, улыбаясь, она дослушала до конца. Выйдя, я припала к двери, нервно кусая ногти. «Ну, прозу она читала — говно, — донесся до меня тоненький голосок Львовой, делившейся мыслями с помогавшими ей старшекурсниками, — басню тоже, а вот стихи — хорошо. Да вроде она дочка какого-то писателя. Берем!»

...Ошарашенному отцу дали почитать рапорты Риты, когда Юрий Владимирович Андропов стал генсеком. В течение долгих лет она писала о папе, но писала так, что хоть сейчас давай ему героя и вводи в Политбюро.

Когда у Риты разорвалось сердце, мама присутствовала при вывозе тела — дочь не успела приехать из-за границы. Санитары вытащили Риту на носилках и понесли вниз по лестнице: носилки прогибались, санитары горбились, и при каждом шаге голова Риты с глухим стуком ударялась о высокие ступеньки сталинского дома.

Милая, добрая Рита, спасибо тебе — ты тоже была папе настоящим другом...

Не верьте злым словам: «он растерял друзей», —
Где братство — там такое невозможно,
Понятье это слишком многосложно,
Чтоб говорить: «он потерял друзей».

Ушедшие всегда в груди твоей,
А те, что живы, дли, Господь, их жизни, —
Должны лишь жить, без страхов и болей,
А как хрусталь, расколотый на брызги.

Гоните от себя обидные слова:
«Он вознесен, для нас забыл он время»,
Друзья — не символ и отнюдь не бремя,
А вечный праздник, кайф, лафа,

Способность верить в правоту «07»,
Когда набор заезженного диска
Позволит нам сказать: «Ну, Сень,
Как жизнь? Что нового? Дошла ль моя записка?»

Не может быть! Отправил год назад!
А может, вру. Хотел, а не отправил.
У дружбы есть закон, у дружбы нету правил,
Подарков ценных, вымпелов, наград.
Ты жив? Я тоже. Очень рад.

КОЛЛЕГИ

В сорок лет у папы обнаружили затемнение в легком, он сильно кашлял, врачи подозревали туберкулез и выписали мощные препараты. Мама выделила отдельные столовые принадлежности, следя, чтобы мы к ним не прикасались. Каждый вечер натирала папе спину и грудь медвежьим жиром, такой же жир растворяла в горячем молоке, и он это омерзительное снадобье послушно пил. Легкие залечили, но с тех пор, как только наступала поздняя осень с зябкой сыростью и дождями, отец температурил, кашлял и старался уехать до зимы поближе к Черному морю, в ялтинский Дом творчества писателей, где с удовольствием общался с коллегами.

Вспоминает писатель Валерий Поволяев.

Каждое утро Юлиан выходил на пляж, как на работу, ставил на стол под грибок пишущую машинку и начинал стучать по клавиатуре. Страницы спархивали с машинки, будто птицы.

Меня Юлиан заставил написать первую детективную книгу. Произошло это так. Мы с ним состояли в редколлегии журнала «Человек и закон», представляя там Союз писателей, детективов я никогда не писал, ограничивался повестями на нравственно-этические темы.

— Тебе нужно выступить в журнале с детективом, — настаивал Юлиан, — обязательно.

— Но я же в жизни никогда не писал детективов. Даже не знаю, как это делается.

— Детектив пишется так же, как и любая книга — пером. Затем перепечатывается на машинке.

— И все-таки это особый род литературы, — сомневался я. И Юлиан это почувствовал.

— Знаешь, как надо писать детектив? — неожиданно спросил он и прищурился, будто во что-то целился.

— Как?

— Чтобы самому было страшно. Когда самому бывает страшно — значит, детектив удался.

Так у меня появилась первая детективная повесть, потом она была издана-переиздана раз десять, не меньше.

Приехали мы с ним как-то в Ялту, в Дом творчества писателей. Юлиан тогда работал над романом «Горение» о Дзержинском.

Не успел я распаковать чемодан, как Юлиан появился в номере.

— Пошли в город!

Через десять минут мы были уже внизу. Для начала заглянули в аптеку.

— Здесь мы приобретем ялтинский «хрусталь», — объявил он.

Мы купили штук двадцать мензурок, испещренных рисками — 20 мл, 30 мл, 50 мл для дозированного приема лекарства.

— Хрусталь для званых приемов, — сказал Юлиан, — мы будем пить из мерзавчиков крепкие напитки.

— А менее крепкие?

— Из обыкновенных стаканов. Как Штирлиц, отмечающий вступление Красной армии на территорию Германии в 1945 году.

Но самую значительную покупку Юлиан сделал на рынке, в хозяйственном магазине. Он купил... большой ночной горшок, эмалированный, с крышкой и невинными голубыми цветочками по бокам. Вначале я не понял: зачем это?

А на следующий день началась работа — жесткая, без поблажек самому себе, изнурительная. Он наполнял горшок водой из-под крана, опускал туда кипятильник. Потом высыпал пачку чая. Целую. Со слонами, нарисованными на упаковке. Напиток получался такой крепкий, что им хоть самолеты заправляй. За работой, до обеда, Юлиан выпивал целый горшок этого черного чифиря. После обеда заваривал второй. И так — каждый день.

Через месяц пребывания в Ялтинском доме творчества был готов очередной том «Горения» — толстенный, написанный захватывающе интересно. Я не знаю ни одного другого писателя, который мог бы работать так, как работал Юлиан Семенов.

Хочется вспомнить о его политических пристрастиях — или НЕ пристрастиях. Хоть он и возглавил позднее знаменитую ассоциацию детективного и политического романа, а следом за ним — издательство и газету «Совершенно секретно», но все-таки всегда находился вне политики. В рассорившемся, вконец разодравшемся Союзе писателей, он дружил и

с «демократами», и с «патриотами», строя свои отношения по принципу личных симпатий. А уж за кого тот или иной стоит горой — за Ельцина, Горбачева или Зюганова, ему было наплевать. Главным мерилом оставались человеческие качества.

То же самое было присуще его творчеству: он болел за белых и за красных, все заключалось в личности, которую он описывал. И по ту, и по другую сторону стояли герои, великолепные характеры. Они сами, своей жизнью и поступками определили к себе отношение.

...Долгие годы отец был секретарем правления Союза писателей и, действительно, умудрялся поддерживать хорошие отношения с представителями всех политических и литературных фракций. В нем не было ничего от царедворца, обожая интриги политические, он не любил закулисных интриг в Союзе писателей, не сплетничал дома, не лукавил. Секрет его ровных отношений с коллегами заключался в простейшем принципе — видеть в каждом человеке хорошее. «В каждом есть и Бог и Дьявол, — говорил он мне часто, — но Бога, а значит добра, всегда больше, нужно только хотеть его видеть, а не зацикливаться на недостатках». Увлекающийся, снисходительный, не добренький, а по-настоящему добрый, говоря о коллегах за глаза, он часто употреблял эпитеты: «гениальный парень», «наш человек», «добрый дружочек», «потрясающий мужик», «чудесные ребята». Очень ценил творчество «деревенщика» Василия Белова и был с ним в прекрасных отношениях, хотя трудно было найти писателей с более полярными литературными интересами. Любил творчество Юрия Бондарева, Константина Симонова, Василя Быкова, Олеся Адамовича, Льва Гинзбурга, поэззию Евгения Евтушенко, Андрея Вознесенского, Григория Поженяна, Игоря Исаева, Олжаса Сулейменова. Ценил поиски в жанре политического романа молодых тогда Леонида Млечина («Хризантема пока не расцвела») и Андрея Левина («Желтый дракон Цяо»).

Отцу незнакома была зависть, он радовался чужому литературному успеху, моментально разражался похвалами, поясняя: «Талантам надо помогать — они ранимы и беззащитны, посредственности пробьются сами». Первым представил в ялтинских и московских газетах гениальную шестилетнюю поэтессу Нику Турбину, пригласил в свою газету «Совершенно секретно» молодых Артема Боровика и Дмитрия Лиханова. Как мог, поддерживал прекрасного крымско-

го писателя, фронтовика Михаила Круглова, который пострадал из-за своей антисталинской позиции. После прихода к власти Брежнева публично заявил: «Товарищи, Сталин умер, культ личности развенчан, но сталинизм остался!» Его тогда выгнали с работы, он остался на улице, пошел в егеря, и в лесу, в избушке написал первую прекрасную повесть, потом вторую. В Союз писателей не принимали — нужна была книга, журнальные публикации не в счет, издательства печатать его не хотели. Папа отправлял всем знакомым главным редакторам хвалебные отзывы и рекомендательные письма. Когда начали травить Василия Шукшина, ринулся на его защиту, сказав в выступлении: «Шукшин — явление уникальное, поразительное, и это не преувеличение, не личная давняя симпатия к большому русскому художнику, это правда, реальность, с которой могут не соглашаться лишь люди слепые, косные, трусливые». Отец умел занимать позицию и отстаивать ее.

Он еще не был знаком с «совестью» белорусов Василем Быковым, только зачитывался его книгами, когда неожиданно получил письмо, которое хранил потом всю жизнь как зеницу ока.

Письмо писателя Василя Быкова.

С давно не испытываемым удовольствием прочел Вашу книгу «На козле за волком». Отменно хороша во всех отношениях: с точки зрения содержания, информации, жизни. Вашего неповторимого стиля. Ваши строки о Хемингуэе окончательно сразили меня. Я не часто пишу авторам, даже тем, с которыми состою в близких отношениях, но тут не удержался, чтобы не послать Вам мое дружеское, читательское спасибо.

Будьте здоровы и благополучны. Авось как-то случится познакомиться, чему был бы очень рад.

Ваш В. Быков

12 декабря 1974 года

P.S. Вместе с сыном прочли «Испанский Вариант», который печатает с продолжением минская комсомольская газета «Знамя юности». Прекрасно.

Папа мог разойтись с человеком в силу какого-то конфликта, так, например, произошло с Евтушенко. Не помню точно, что у них произошло в ресторане Дома литераторов, по-моему, папа отпустил жене Евтушенко комплимент. Она резко ответила. Папа, наверное, негативно отозвался о ее

характере, в общем, дружба тогда с «Евтухом», как папа ласково называл поэта, кончилась, но он продолжал ценить его как большой талант и постоянно это публично подчеркивал. Внешне Евтушенко очень мило с ним общался, втроем с Михалковым они ездили с делегацией писателей в Китай. А много лет спустя, в статье, посвященной трагически погибшему Артему Боровику, руководившему газетой «Совершенно секретно» после смерти папы, Евтушенко выдал высокомерно-многословный абзац и про отца. Суть его сводилась к тому, что Семенов был человеком безусловно одаренным, но страдавшим простодушно-гимназическим романтизмом и прятавшимся от суровой реальности в воздушных замках. Читая ту статью, я вдруг отчетливо поняла, что, во-первых, поэт почти ничего не читал из папиных книг, а во-вторых, мелко, по-женски как-то сводил счеты за тот давний глупый случай в ЦДЛ. В каждой, бесконечно длинной и красивой фразе статьи читалось одно лишь желание — принизить все, сделанное отцом в литературе. Одни за обиду вызывают на дуэль, другие годами ждут возможности ударить из-за угла. Все это вопрос темперамента и моральных установок. Да и неразумно требовать от любого одаренного человека благородства Айвенго. В романе «Псевдоним» отец написал: «Когда человек умирает, начинают говорить враги, а они знают, что сказать»... Сам он никогда обиду не таил, предпочитая все высказать в глаза (называл это конструктивной критикой) и быстренько помириться. Единственным человеком в Союзе писателей, которого отец не переносил, и тот платил ему тем же, был Георгий Марков. (Сейчас этого писателя мало кто помнит, да и тогда папу читали раз в сорок больше, чем Маркова.) Не собираюсь разбирать литературные достоинства или недостатки его произведений, конфликт находился в совершенно иной сфере. Марков был патологическим антисемитом, и идея, что полукровка пользуется большим, чем он, успехом, была ему непереносима. Он, как мог, показывал отцу свою неприязнь, и тот ему отомстил, выведя в романе «Альтернатива» отрицательный персонаж под фамилией Марков-второй. Был еще Феликс Кузнецов, папу активно не любивший, и по той же причине. В свое время Кузнецов участвовал в написании, вместе с помощником Суслова — Воронцовым, кощунственного комментария о творчестве и жизни Маяковского. Напечатан он не был благодаря вмешательству Константина Симонова, позвонившего Брежневу. Воронцова тогда немедленно сняли. Отец историю знал лично от Симонова и написал позднее небольшое произве-

дение о Маяковском под названием «Научный комментарий», упомянув инцидент.

В ненависти Кузнецова к отцу было что-то нездоровое, темное, дурно пахнущее. «Знаешь, Ольга, — сказал мне раз папа, — я заметил, что все фашиствующие антисемиты плохо пахнут: гнилыми зубами и несвежим, залежалым бельем». Во время одного из отцовских выступлений в Союзе писателей Кузнецову не понравился какой-то пассаж, и он ринулся на него с кулаками. Папа в порядке самозащиты мог бы драчуна нокаутировать, но того «спасли» коллеги, вовремя остановив.

С западными писателями папины отношения складывались всегда на редкость хорошо: отца ценил и тепло отзывался о его книгах Джон Стейнбек, знал и с удовольствием общался Джон Ле Карре, любил звезда шведского детективного романа Арне Блом, обожал, другого слова не найдешь, чешский детективщик, автор сценария к чудесному фильму «Три танкиста и собака» Иржи Прохаска. А самым счастливым днем для отца стал день создания по его инициативе МАДПР — Международной ассоциации писателей детективного и политического романа в 1986 году, президентом которой он и стал. Писатели детективного жанра разных стран признали его лучшим. Это было компенсацией за все злые, бездоказательные нападки завистников...

Отец верил в «добрую» энергетику, защищался от плохой двумя магнитами, которые держал на письменном столе по правую и левую стороны печатной машинки, щедро «положительно» заряжал тянувшихся к нему коллег — все уходили от него веселыми и добрыми, и уверял, что умеет «настраиваться» на волны творчества.

В ДОМЕ ТВОРЧЕСТВА КИНЕМАТОГРАФИСТОВ НА ДУНАЕ

Ах, как хорошо в этом доме,
Пустом и тихом,
Человек, побывавший в нем, остается.
Остается в запахе тепла,
Прикосновении рук к лампе,
В огрызке яблока, оставленном в тумбочке.
И в меня входит творчество,
Оставленное здесь коллегами,
Жившими прежде.
Я его чувствую, я им благодарен.
Спасибо им, растеряхам.
Из оставленных крох
Я стану делать пирог
С капустой, грибами и дичью.
Но с кем разделить мне его?

Коллеги, которые жили,
Забрали любовь до последней пылинки,
Дом вычищен, как пылесосом.
Зачем вы так скупы?
Оставьте немного любви,
От вас не убудет, поверьте,
Иначе как быть иностранцу,
Кто знает лишь «иген»*,
А чаще обратное иген,
Короткое, быстрое «нэм»**!
Как мне хорошо в этом доме,
И все же, с кем разделить
Мне пирог из дичи с грибами?
Бог с вами, включайте свои пылесосы!
Любовную пыль соберите — не жалко,
Нет, жалко, конечно, но лучше приврать, —
Так правдивей.
Вернитесь, врубите систему настройки,
Замрите. Локатором станьте. Радаром.
Вот так. Еще тише!
Вы слышите, это спускается вниз,
По лестнице очень скрипучей, все то,
Что осталось после меня для вас.

---

* Да (*венг.*).
** Нет (*венг.*).

В КИНЕМАТОГРАФЕ

Решив попробовать свои силы в кинематографе, поддержки у мамы отец не встретил. «Ну, если ты еще и сценарии начнешь писать, то я точно уйду!» — пригрозила она, опасаясь полчищ соблазнительных актрисуль. В невеселом настроении сел папа за пишущую машинку. То ли мамина угроза выбила его из колеи, то ли первый блин всегда комом, но картина — «Будни и праздники», вышедшая на «Ленфильме» в начале 60-х, провалилась с треском. Андрон Сергеевич Михалков, находившийся тогда в периоде творческого становления и ревностно следивший за папиными успехами, прислал свояку открытку с одной фразой: «Поздравляю с картинкой».

По словам папы, это был ужасный фильм. «Я там впервые погрешил против себя, — объяснял он, — сделав ставку на традиционную серьезность и забыв о занимательности. И зритель мне этого не простил, потому что любое искусство возможно, кроме скучного. Фильм справедливо, с грохотом провалился, хотя там играл великий актер — Петр Александрович Алейников».

Зато вскоре вышла картина Бориса Григорьева и Евгения Ташкова «Пароль не нужен», где Николай Губенко прекрасно сыграл Блюхера. Следом — «Майор Вихрь» с Бероевым, Стржельчиком и Павловым в главных ролях. И два эти фильма сразу всем полюбились. Папе всегда хорошо работалось с Борисом Григорьевым, позднее он талантливо снял «Петровку, 38» и «Огарева, 6». Любил режиссера Александра Бобровского, снявшего «Исход».

Отец был человеком большого вкуса и не терпел сентиментальности и похабщины. Часто вспоминал рассказ Мэри Хемингуэй. Хем, придя на просмотр слащавой картины, сделанной по его книге «Прощай, оружие!», тяжело смотрел на экран, а когда под занавес в кадре появились два голубя, символизировавшие, по режиссерской задумке,

чистые чувства героев, фыркнул: «А вот и птички!» — и вышел из зала.

Любимыми папиными фильмами были «Золушка» (1947 год), «Фанфан-Тюльпан», который они смотрели с мамой десять раз, «Подвиг разведчика», «All that jazz»* Боба Фосса с Роем Шнайдером — грустный фильм об уходе художника, «Французский связной» и «Двенадцать рассерженных мужчин». Один раз сам убедительно сыграл в эпизодической роли у Тарковского в «Солярисе». Он изображал скептически настроеного профессора, не верившего в существование параллельных миров, и единственную фразу: «Но там же одни облака, я не вижу ничего, кроме облаков!» — произнес искренно и темпераментно...

«По моим книгам очень легко снимать, — говорил отец, — режиссеру достаточно открыть роман, сказать оператору "Мотор" и следовать тексту».

Конечно, он несколько утрировал, но в главном был прав: режиссеров, следовавших тексту и идее, ждал успех, а те, кто начинал «досочинять», проваливались.

Фильм «Семнадцать мгновений весны» дался отцу нелегко. Первые проблемы возникли в процессе работы над литературным сценарием, в 1969 году. Рецензент Л. Безыменский потребовал усилить роль Центра: по его мнению, Штирлиц был брошен на произвол судьбы. Папе, знавшему, что Центр «руководил» своими агентами весьма своеобычно (от Зорге открестился, а Шандора Радо посадил в тюрьму), идти на уступки не хотелось, но пришлось — без этого сценарий бы не утвердили. Появились шифровки из Центра.

Отец уже готов был отдать сценарий на «Ленфильм», но в последний момент Татьяна Лиознова убедила его запустить картину на студии Горького. Нельзя сказать, что работать им было легко. Коллизия двух талантов чревата конфликтными ситуациями. Все началось с выбора актеров. Лиознова на главную роль прочила Арчила Гомиашвили. Папа Арчила любил и как актера, и как человека, но был категорически против из-за его неарийской внешности. 1:0 в пользу отца — утвердили Тихонова. Хотя в документальном фильме, снятом к двадцатипятилетию «Мгновений», кто-то из порядком постаревших и многое забывших вспоминавших утверждал обратное. Мама тогда ахнула: «Да что же они выдумывают, ведь Юлька Тихонова отстоял!»

Папа очень любил этого красивого и талантливого актера, умевшего замечательно играть раздумье. «Славочка, как

* «Весь этот джаз» (*англ.*).

тебе удается так гениально думать в кадре?» — спросил он его однажды. «Очень просто, Юлик, — прокручиваю в голове таблицу умножения», — якобы ответил Тихонов. Не знаю, правда это или папа в очередной раз меня разыграл, но когда я упомянула про этот смешной эпизод в юбилейном фильме, Тихонов был недоволен. Почему? Это же, если он действительно такое придумал, гениальная актерская находка.

Отец долго не соглашался включить в сценарий сочиненную Лиозновой сцену встречи Штирлица с женой, зная, что ни одна секретная служба на такой риск не шла. Лиознова настояла. При трансляции прекрасно сыгранной, но абсолютно неправдоподобной сцены многомиллионное женское население сладостно рыдало, а разведчики подняли отца на смех: «Ну, Борода, ты загнул!»

Папа не только написал сценарий, но и просмотрел километры кинохроники, выбрав лучшие кадры, и много работал с актерами, а наградили всех, кроме него — автора. Будто и не было такого — Семенова.

Вспоминает актер Лев Дуров.

Семенов был, конечно, редкий, потрясающий человек. Даже его обиды носили какой-то вселенский характер. Когда наверху было решено наградить создателей картины «Семнадцать мгновений весны», то в наградном списке не оказалось только одного человека — автора, писателя Юлиана Семенова. Он был безутешен. «Бог с ними, — говорил я ему, — ну нет и нет. Вот и меня вычеркнули из списков, потому что негодяи перевесили по спискам положительных». — «Лева, это я их родил... Я родил Штирлица, всех... всех, ну как же так...» Это была скорбь создателя, которого отрывали от детей. Именно скорбь, а не оскорбленная амбиция.

«Спохватившись», власти наградили отца вдогонку Премией братьев Васильевых в 1976 году, но, как говорится, «дорого яичко к Христову дню»...

Папины попытки следовать исторической правде были остановлены и при съемках фильма 20 декабря на «Мосфильме» в 1980 году. Всполошился Институт марксизма-ленинизма: как враги революции смеют нападать на Ленина и большевиков?! Приведу, к примеру, несколько фраз, которые должны были произносить персонажи в фильме.

Б. В. Савинков угрожает: «Солдат одурманили пропагандой большевиков, немецких наймитов. Мы расстреляем их

во главе с Лениным и спасем матушку-Россию от большевистских узурпаторов». А. М. Каледин диктует телеграмму: «Совет народных комиссаров считаю бандой преступников». В. М. Чернов: «К так называемым народным комиссарам мы относимся, как к узурпаторам власти». Председатель подпольного Временного правительства: «Мы свалим Ленина, ни один честный человек не станет работать с большевиками!» Л. Г. Корнилов: «Я этого немецкого шпиона на фонаре прикажу повесить».

«Нет, так не годится!» — ответили отцу. И ученые мужи вынесли вердикт: «Было бы непозволительным, если бы устами врагов революции с экранов телевидения порочилось святое имя вождя Великого Октября».

Хорошенько искромсав, фильм выпустили. От первоначальной папиной идеи там почти ничего не осталось.

...Папе очень хотелось, чтобы в «Бриллиантах для диктатуры пролетариата», где Исаеву-Штирлицу чуть больше двадцати, сыграл сын Тихонова, копия старшего. Но что-то не сложилось у режиссера, и он взял Ивашова. Потом просил Тихонова сыграть 67-летнего Штирлица в «Бомбе для председателя», но тот не захотел гримироваться под старика. Так что сделать сериал по всем романам с одним актером не получилось, но папа надеялся, что когда-нибудь такой сериал снимут на телевидении. Он считал, что телефильму не нужны десятитысячные массовки, кони и автогонки. «Телевидение должно быть глаза в глаза и слово в слово. Главное — слово. Плюс хроникальный проезд по городу на машине, ночью. Плюс точная музыкальная фраза». Для отца классикой был фильм «Двенадцать рассерженных мужчин». Одна декорация, великие актеры, рапирность диалога, а в результате — нестареющая картина.

Фильм «Не самый удачный день», снятый по папиной повести «Дунечка и Никита», был любопытен тем, что прототипы в нем исполняли самих себя. Никиту играл молоденький Никита Сергеевич Михалков, к которому папа привязался, когда тот был девятилетним мальчиком. Тогда же разглядел недюжинный актерский талант и убедил Наталью Петровну, мечтавшую сделать из сына музыканта, что его путь — театр и кино. Дунечку сыграла маленькая Даша. Фильм рассказывал об одном дне молодого писателя, поссорившегося с женой, и о его юном свояке, взявшем на себя заботу о маленькой племяннице на время, пока родители помирятся. То есть, по сути дела, о нашей семье...

...Отец был легким в общении человеком, но в каких-то вопросах становился неумолим. К примеру, не терпел, ког-

да режиссер переделывал его книгу. «Он не имеет права замахиваться на главное во мне — слово. Писателя определяет только слово, оно создает синтез образов, идейную конкретику вещи».

Семен Давидович Аранович, увы, рано ушедший, замечательно снял «Противостояние». Он последовал просьбе отца: много хроники и много диалогов, поэтому фильм удался. Потом решили снять картину по роману «Пресс-центр». В этой вещи папа исследовал взаимодействие финансового капитала и биржи с механикой политического переворота. Он попытался представить, к чему может привести вмешательство монополий США в дела зависящих от них стран. Книга заканчивалась вторжением в вымышленную страну американской пехоты 28 октября 1983 года (роман был написан в 82-м). А 26 октября 1983 года американцы действительно вошли в Гренаду. У папы, безусловно, был дар политического провидения.

Семен Давидович работал в паре с талантливым оператором Валерием Федосовым, мнением которого дорожил. То ли Федосову — человеку очень российскому — было «неуютно» снимать исключительно интриги иностранных секретных служб, то ли сам Аранович это надумал — не знаю, но сценарий он «разбавил» сценами жизни главного героя в российской деревне. Папа впал в транс. Он пытался урезонить Арановича, звонил к нему в Питер, писал письма, отправлял телеграммы — бесполезно. В результате получился не захватывающий боевик, а помесь ужа с ежом: тут и русская печка, и перестрелки в Латинской Америке, и поллитра, и политические аферы на том конце света. Уж насколько отец был незлобив, но в тот раз рассердился и с киношниками дело иметь зарекся. Хотя несколько лет спустя, основав газету «Совершенно секретно», мечтал о создании киностудии «МИГ» (Мужество и Геройство) с филиалом в Крыму. Планировал выпускать фильмы для детей по книгам Фенимора Купера, Марка Твена, Жюля Верна и Александра Дюма.

Помимо кино папа много работал и в театрах. Он написал пьесы «Дети отцов», «Шоссе на Большую Медведицу», «Особо опасная...», «Провокация», «Поиск 891», «Иди и не бойся».

Пьесы эти ставились в Вахтанговском театре, в «Современнике» у Г. Б. Волчек, у Спесивцева.

Больше всего папе нравилось работать с режиссером Борисом Гавриловичем Голубовским — веселым, энергичным,

искрометным. Он поставил пьесу «Иди и не бойся» в театре им. Гоголя. С ее названием был связан смешной эпизод, о котором мне Борис Гаврилович недавно рассказал. Он сидел в театре на телефоне. Позвонил очередной зритель и спросил: «Какой у вас сегодня вечером идет спектакль?» — «Иди и не бойся», — любезно ответил Голубовский. «А почему это вы думаете, что я вас боюсь?!» — обиженно сказал зритель и бросил трубку. Но однажды все-таки эта пьеса наделала страху. В тот вечер не пришел один из исполнителей. (Папа называл это «птичьей болезнью» — перепил.) Что делать? Борис Гаврилович принял героическое решение сыграть за артиста. Ни свою жену, ни папу, сидевшего в зале, об этом не предупредил. Когда мрачно-сосредоточенный Голубовский, вспоминая слова роли, неожиданно появился на сцене, они в течение нескольких минут были в полной уверенности, что он вышел объявить о каком-то чрезвычайном событии или отмене спектакля. В антракте его отругали: «Боря, в следующий раз так не поступай. Мы же думали, что началась война!»

ОДИНОЧЕСТВО

Однажды, в очередной раз оказавшись на полярной станции, папа наткнулся, простите за прозаическую подробность, в уборной на разрозненные листочки английского или американского журнала. Он уже собирался использовать один из обрывков по назначению, как увидел на нем странные стихи. В переводе на русский они звучали примерно так:

Синее небо, высокое небо я вижу из моего окна.
Белые облака, быстрые облака я вижу из моего окна.
Зеленые деревья, ветвистые деревья я вижу из моего окна.
Любовь... Вы сказали «Любовь»? Ах да, любовь...
Очень мило — любовь... Почему бы и нет... любовь...

Эти стихи отца поразили, возмутили, заинтриговали и в то же время чем-то понравились, — наверное, холодным циничным рационализмом своим, которого он был полностью лишен. Ученые выяснили любопытную вещь про влюбленность — это, оказывается, сложный химический процесс в организме, создающий состояние эйфории и длящийся от силы три месяца.

Перечитывая отцовские письма маме, я понимаю, что если ученые и правы, то эйфория влюбленности сменилась у него нежностью, терпением и заботой.

Из письма маме в санаторий, середина 1960-х годов.

Ну что, дурачок? Каково? Я подумал, что это великое благо, что ты попала в этот санаторий. Будет время и поле для размышлений. Иногда это полезно. Тем более что ты, видимо, будешь общаться с самыми разными соседями — так что я даже доволен.

Как не стыдно дурачку, а? Неужели ж мне и дальше придется думать за кое-кого про то, что после ванн и грязей на-

до быть тепло одетым? Что западный Крым — холодный Крым? Что Саки — это не Коктебель. Это сумасшествие с тем, кто лучше напялит на себя хламиду — недостойно кое-кого, ибо этот кое-кто умен и вкусом одарен кое от кого, и сердцем и любовью кое к кому. Так хрен же с тем, кто и как из всяческих шмакодявок выглядит. Кое-кто может быть выше всех, поплевывая на хламиды всяческих Эллочек Щукиных. (Иносказательный язык Тура, надеюсь, тебе понятен?) Ты можешь хвастаться не покроем линии платья, но тем, что кое-кто тебя очень любит и считает самой красивой, умной и доброй. Коли спрашиваешь совета — выполняй, что советуют. Иначе — сугубо обидно. Я уже опускаю перечень соображений, которые вызываются получасовым стоянием у зеркала перед отъездом кое-куда.

(Я напустил столько тумана, что даже самый хитрый цензор ни хрена не поймет.) Надо очень думать друг о друге. Иначе — снова гипертония переваливает за 200 — начинается необратимая вторая и третья стадия. Необратимая. Это значит — пять-семь лет с периодическими больницами. Извини, что привожу эти выкладки — но страшно бывает за автора второго письма, которое вложено сюда же. И еще потому, что я тебя не просто люблю, я без тебя не могу. Как без Дуни. Поэтому когда кричу, исходя из себя — так это от того, что люблю, а меня не слушают, хочу добра, а мне огрызаются. Вот ведь какая непослушная наша вторая дочь, старшая, я имею в виду.*

Ладно, может быть когда-нибудь наша старшая помудреет. Теперь с младшей: все в порядке, Дунечка сидит рядом и рисует тебе письмо. Переписывает его второй раз и рыдает, пропустив гласную. Она — прелесть.

Мама была красивой женщиной и хорошей хозяйкой. Она держала дом и принимала многочисленных, не всегда званных гостей. На Западе люди заходят на чашечку кофе, у нас не пригласить человека к столу — значит его обидеть, и мама проводила на кухне долгие часы. Готовка для нее была делом чести. Пирожки с мясом и капустой благоухали на весь поселок, в духовке жарился кусок мяса, нашпигованный чесноком, яблочные торты, посыпанные сахарной пудрой, остывали на окне, придавая ему вид витрины венской кондитерской. Мама уставала, но не сдавалась. «Каток, да не делай ты ничего этого, ради бога, — уговаривал ее па-

---

* Письмо маленькой Дарьи.

па, — брось что-нибудь на стол и все». А мама так не могла. В этом проявлялась их разность. Отец, поглощенный обдумыванием сюжета, часто и не замечал, что ест. Для мамы же изысканно накормить нас, папу, гостей было самым доступным способом выразить свою любовь. До замужества она готовила для братьев. Она и при нас часто с удовольствием помогала Татьяне Михалковой, делая пирожки для друзей Никиты Сергеевича. Когда я вспоминаю маму молодой, то неизменно вижу ее прислонившейся к кухонной стене и с лучезарной улыбкой наблюдающей, как мы уплетаем ее очередное кулинарное чудо. Съесть все — значило не только оценить ее талант, но и принять ее любовь.

Года за два до моего рождения у нее что-то случилось с позвоночником: проснувшись однажды утром, она не смогла подняться из-за страшной боли в спине. Врачи почесывали в затылках: налицо симптомы защемления нерва, на рентгеновских снимках — все в порядке, процедуры и массажи не помогают. Что делать? Предложили резать. Мама отказалась, кое-как подлечилась, но боли периодически возвращались. Когда она хворала, за готовку брался папа, давая ход своей неуемной фантазии. Поставив на огонь кастрюлю с мясом, швырял все специи, которые находил: лавровый лист, перец, карри, укроп, гвоздику и, по-моему, даже ваниль! Что удивительно, получалось вкусное и экзотичное блюдо...

Наутро после возлияний готовил кушанье, которое (свято в это верил) помогает при похмелье — клал в кастрюльку много сухого хлеба, куски старого сыра, заливал водой и кипятил. Получившееся варево нравилось и нам.

Несмотря на обострения болезни, мама пыталась выполнять многочисленные папины поручения. Уезжая в очередную командировку, он ей обычно оставлял их целый список.

Из письма мамы отцу, начало 1970-х годов.

Дорогой Юлиан Семенов!

Говоря откровенно, мы уже стали забывать, как ты выглядишь. Помним только, что был такой с бородой гражданин обаятельный. Посидишь еще там — так просто за своего не признаем. Смотри...

В отношении твоих дел.

В «Знамени» идет в 10-м номере, книга — в полном порядке. Запущена в производство. «Октябрь» — звонила в отдел прозы. Дама из отдела прозы любезно сообщила мне, что видимо — нет. И обещала после сегодняшнего совещания позвонить завт-

ра и сказать, что руководство не решается опубликовать произведение моего супруга. О, Господи!

«Провокацию» — посылаю.

«Пароля» нет ни одного ненадписанного экземпляра. Есть только на даче, но мы не успели съездить. Девочки наши в полном порядке. Живем в Москве. Жарища. Но на даче оставаться боюсь, ибо было мне совсем даже плохо. К тому же надо ездить к Ларику на разные ультразвуки, ультраволны и прочие ультра. Он делает невозможное, пытаясь вернуть меня к жизни. Вчера достала какую-то чудодейственную мазилку, от которой дряхлые старцы разгибаются и прыгают, как горные козлы. Если она не поможет, можете сдать меня в утиль.

В субботу и воскресенье нас не будет — уедем на дачу. А в пятницу вечером или субботу утром будем ждать твоего звонка. Надо поговорить. Понял — нет?

Куда тебе такая пропасть деньжищ?

Лично от меня есть просьбишка. Как всегда. Парочку черненьких лифчиков, как в прошлый разочек, а? Убедительно прошу Вас. Обязательно привези что-нибудь для Багали. Какие-нибудь шерстяные чулки или любую ерундистику для старушек. Надо, Федя.

Вообще у нас все более ли менее в порядке. Миша помогает так, что мы не перестаем с Багалей удивляться ему. Бывают же такие! Когда будешь возвращаться — дай телеграмму — он встретит тебя.*

Багалечка тебя целует, любит, скучает и все такое прочее. И я тоже. Очень рада была твоему письмецу, все ж таки дошло. Целуем. Звони обязательно.

...Мама мирилась и с папиными путешествиями, и его реактивностью, понимая, что живет с мужем в абсолютно разных скоростях. Она поняла это на второй год после свадьбы, поехав с ним за грибами. Они долго бродили по осеннему лесу, замечательно пахнувшему прелой листвой, и вышли на поляну, где мама нашла крепкий белый, рядом другой. «Юлька, остаемся, — здесь грибное место». — «Нет, Каток, — ответил папа, — я лучше похожу вокруг». Он обегал весь лес большими стремительными кругами, быстро набрав ведро сыроежек, подосиновиков и опят. У мамы, оставшейся на грибнице, красовалось в корзине два десятка белых. Оба были довольны. Каждый считал, что только он поступил правильно... А папа понял, что никогда его ско-

* Михаил Аверин.

рость не станет маминой еще раньше, до свадьбы. Он тогда купил мотоцикл, приехал к ней, счастливый, на Николину Гору и предложил сесть на багажник и покататься по песчаным дорожкам соснового бора. Она отказалась: боялась скорости, боялась показаться смешной, для нее всегда был важен несуществовавший для отца вопрос: «Что про меня подумают?»... Можно уничтожить в человеке личность, сломить его, но характер изменить нельзя. Родители были мягкими людьми и не хотели да и не могли ломать друг друга. Они старались подстроиться, притереться, надеясь в душе на чудо: «А вдруг Катенька станет дисциплинированной и собранной?», «А может, Юлик с годами успокоится?» Какое там! С годами отец задавал себе все более бешеный темп жизни. Встречи в издательствах, редакциях, на киностудиях, в театрах — часто у него параллельно выходил новый роман, ставилась пьеса и снимался фильм, постоянные командировки. Человек-оркестр, вулкан, ракета! За ним не поспевали ни мама, ни большинство окружающих. Он взрывался: «Мы все по-имперски неподвижны! В Америке в офисах висят таблички "Улыбайтесь и двигайтесь!" — "Smile and move!"». Отвергал библейское «В начале было слово»: «Нет, в начале было дело. "Все вещи в труде!"»

Из воспоминаний актера Льва Дурова.

Мое знакомство с Юлианом Семеновым не ограничивается рамкой фильма «Семнадцать мгновений весны». Я долго знал его заочно, ибо читал его произведения. Каждая книга Юлиана Семенова была бестселлером, таким литературным знаком своего времени, и знаком очень ярким. А сколько картин было снято по его сценариям! Потом пришло очное знакомство, множество совместных акций, смешных эпизодов, иногда странных, подчас нелепых, а в целом все это выросло в фигуру, которую я называл Фальстафом за жизненную неуемность. Когда коллега по артистическому и писательскому цеху Володя Кочан назвал меня перпетуум мобиле, то я мысленно переадресовал это «звание» Юлиану Семенову. Это был подлинный вечный двигатель, еще не созданный научной практикой, но воплощенный в человеке!

...Когда папа упрашивал маму забыть о кухне, он не лукавил. От природы прекрасно чувствуя слово, она абсолютно профессионально редактировала его первые романы. Видя этот талант, он надеялся, что она заразится литературным

«вирусом» и станет переводчиком. Раз просто заставил перевести с подстрочника детскую книжку, но она сделанным не гордилась, а стыдилась. Однажды с интересом ее прочтя и лишь потом увидев мамину фамилию, я с восхищением спросила: «Неужели это ты перевела?!» — «Ах, брось, чепуха», — раздраженно отмахнулась мама и, взяв книжку у меня из рук, забросила на шкаф. Как она мне позднее объяснила, в издательстве ее попросили поговорить с Сергеем Владимировичем на предмет награждения автора: «Надо поддержать замечательного кавказского писателя. Вы — его переводчик, вам и карты в руки», — и это ее обидело. Но главная причина была в ее стеснительности и нежелании чего-то добиться. Не «заболев» литературой, маме все сложнее было принять одержимость отца. Только творческий человек может понять творца, и отличить злаки от плевел, и простить мелочи, и увидеть главное.

...Отец посвятил маме несколько произведений. Но только неопубликованный рассказ «Конец лета» наиболее точно передает его взгляд на семейную жизнь.

Отрывок из рассказа.

Я начал писать из-за тебя. Ты была тем подземным взрывом, который сделал потом очевидным мое искусство. Я очень тороплюсь, понимаешь? Мне надо успеть сделать все то, что я задумал. А я задумал многое. Когда есть дырка в легком — тогда очень торопишься. Я боюсь не успеть сделать, хотя где-то понимаю, что сделанное мною, в иной ситуации, даже не останется тенью на стене дома.

Легко понять теорему. Очень трудно понять себя. Надо отойти в сторону и взглянуть на себя глазами недруга. Или нет. Недруга — легко. Надо взглянуть на себя глазами школьного экзаменатора. Он и плохого ученика пропустить не должен, и в то же время процент успеваемости над ним довлеет. Чистой объективности среди людей нет. Каждая объективность рождена вопиющей субъективностью.

Тебе со мной день ото дня трудней. Женщина требует внимания. А если оно все в другом? Если оно все в отражении того, что было, и в устремлении понять то, что будет?

Наверное, надо жениться, когда уже стал КЕМ-ТО. Тогда женщина будет жить инертным отражением первого впечатления, чужих разговоров и шепота за спиной: «Как он талантлив!» Женщины честолюбивы.

Я очень люблю тебя. Я люблю тебя больше всех, не считая, конечно, моего дела. Это — эгоизм? Нет. По-моему, это твор-

чество. Оно подмяло меня, оно делает со мной все, что хочет. Оно, не ты. Ты от меня — как ребро Адамово. А я — от него, и я — под ним. Нельзя восхищаться Екклесиастом и его великой мудростью только на словах. «Суета сует, все суета» — должно быть девизом для спутницы того, кто созидает.

Только чаще прощай меня.
Прощай меня всегда.
Мы все очень нуждаемся в прощении,
Потому что за утренним кофе
Мы говорим о гибели друга
И о самоубийстве Марлин.
«Свари мне овсянки».
«Ты знаешь, она отравилась».
«Да? Где подтяжки, я через полчаса улетаю».

Не надо. Не надо. Ну, здравствуй.
Я вроде б вернулся.
Но в пятницу я улетаю.
Пролетные гуси идут.
Я буду их ждать в камышах.
Как добытчик.
Сюжетов, и горя, и счастья.
Всем поровну. Всем понемногу.
Прощай.
Я наверно вернусь.

...Банальный вопрос: могут ли мужчина и женщина понять друг друга? Один психолог разработал простейшую теорию, по которой выходит — нет, ни за какие коврижки! Просто потому, что планета мужчин — Марс — война, действие, логика. Планета женщин — Венера — любовь,чувственность, мечты.

«Вспомните, как это у вас происходит, — говорил сияющий психолог мрачным парам на грани развода, — муж приходит домой после работы. Жена встречает его вопросом: “Как дела?” Муж отвечает: “Спасибо, дорогая, все хорошо”. Для него разговор окончен, для нее — это лишь начало. Она хочет знать подробности прожитого любимым человеком дня и не прочь в деталях рассказать о своем. Так зачем же обижаться, ссориться, разводиться? Диалог мужчины и женщины — это разговор двух существ с разных планет! Попытайтесь мирно сосуществовать, осознав вашу разность, всего лишь, — и вы станете идеальной парой. Не пытайтесь понять друг друга — это невозможно!»

...Как можно любить, не поняв? Как можно простить, не поняв? Неужели идеальный союз — это равнодушное сосуществование двух отчаянно-одиноких существ с разных планет? Грустная теория...

Нет, родители пытались понять друг друга. Они часами тихонько говорили, закрывшись в пахринском кабинете, и спорили, и ссорились, и мирились, и ссорились снова. Так может ли женщина понять мужчину? Папа об этом часто думал. В его повести «Противостояние» молоденькая журналистка Кира (в фильме он «подарил» эту роль мне) говорит главному герою Костенко: «Нет женщин, которые все понимают, — есть умные и дуры. Умным везет, всего лишь, а вам кажется, что они все понимают».

Папа часто писал маме письма. Он и нам, дочкам, позднее, устав от наших комплексов, зажатости, надуманных подростковых проблем и откровенной глупости, писал, по пунктам излагая идеи, советы, соображения. Он так надеялся, что мама его поймет, что мы его поймем. Он не просил многого — чуть меньше эмоций, чуть больше логики, доверия и дружества...

...Отец не страдал грязноватой страстишкой коллекционирования женских побед — это прерогатива мужчин слабых и закомплексованных, он таким образом не самоутверждался. Другое дело, был умен и обаятелен, и женщины к нему липли. В течение долгих лет я наблюдала за отцом в путешествиях, вдалеке от мамы — «поклонницы таланта» так и вились вокруг, но ни разу он не начал заигрывания первым, инициаторами всегда выступали дамочки. По большому счету он был настолько поглощен литературой, что времени на флирт у него не оставалось. «Оступался» ли папа? Бывало, но не потому что всерьез увлекался, а потому что не удавалось отделаться от особо настырной воздыхательницы. Поэтому, когда однажды он мне сказал: «Олечка, у меня в жизни были женщины, но любил я только твою маму», — я в его искренности не сомневалась... То, что мужчина, особенно творческий, оценивает как незаслуживающий внимания эпизод, для женщины становится трагедией. Появление очередной актрисули или иностранки, мечтающей устроить свою жизнь, казалось маме концом света. У нее краснели глаза и ныло сердце. У папы, не понимавшего, как об этом можно всерьез говорить, схватывал затылок.

Из письма маме, конец 1960-х годов.

Тегочка! Без тебя ужасно пусто и обреченно.

Лапа, тебе совестно? Или нет? Или да?
Никогда, никогда, никогда.
Я прошу!
Иногда! Иногда! Иногда!
Отвечай за свои ты слова!

В этих стихах очень важны расставленные ударения. Кутя, меня без тебя нет. Когда я вспоминаю, как ты плачешь, у меня сердце вращается, как тяжелый пропеллер. Лапа, я люблю тебя. О, если бы мне позволили написать в печати про то, как я тебя люблю. Зачем. С каких пор. Отчего. Цензура не пустит. Бог с ней, я напишу в романе — иносказательно.

Видишь, я раскололся, цензура будет особо внимательна по отношению к новому роману. Я обожаю тебя всю — даже заплаканную, как дурочку. У тебя подбородок, будто у Дашки. Для меня в мире есть только одна женщина — это ты. Я вижу тебя во сне. Я молодею от этого. Дай тебе Бог, любовь моя. Я напишу тебе завтра стихи.

КАТЕ

Спасибо тебе, женщина,
Мать моих детей,
Спасибо тебе.
Судьбе было угодно,
Чтобы мы любили
И не любили друг друга,
Чтобы я доставлял тебе боль,
А ты попросту мучила меня:
За то, что я был таким, каков есть.
Я пытался скрывать это,
Но меня выдавали друзья,
А после всех тех, кто дерзает
Писать или ваять,
Всех выдал Феллини.
И тогда ты решила, что это конец и наш с тобой мир
Разлетелся, как шарик, взорванный маньяком:
Женщины, которые любят, и дети
Обычно считают трагедией ерунду.

...Отец говорил, что любить, боясь, могут только дети, да и то не всегда. Мужчина же, боящийся постоянной, и чаще всего необоснованной ревности, постепенно теряет и себя, и чувства свои.

Кому из них двоих было сложнее? Трудно сказать. Мне, маленькой, было тогда мучительно жалко маму. Теперь,оглядываясь назад, перебирая папины письма, вспоминая его слова, неприкаянность, одержимость творчеством и любовь к нам — дочкам, понимаю, что сложнее всегда бывает сильному.

Из письма маме.

Тегочка, любовь моя!

Может оттого, что я чувствую себя больным и виден мне далекий мой кончик, и хотя я верю в свой метемпсихоз, но вы-то

у меня вне метемпсихоза и за вас, и за тебя я ужасно все время тревожусь, и оттого любовь моя к тебе так неприкаянна и тревожна. Ты, верно, вправе искать другую любовь — ту, которая бы точно отвечала твоим схемам и видениям, но, видно, это невозможно, оттого что каждый из нас двоих мучительно и прекрасно и трагично проник друг в друга. Диффузия любви — химия и физика, будь они неладны, объясняют тем не менее нас с тобой точнее «Любовных связей», «Декамерона» и «Графа Нулина».

А еще я прочитал стихи Межирова в старом «Октябре», за 1956 год. Он писал там:

Я по утрам ищу твои следы,
Неяркую помаду на окурке,
От мандарина сморщенные шкурки
И полглотка недопитой воды.

И страшно мне, что я тебя забуду,
Что вспоминать не буду никогда,
Твои следы видны везде и всюду,
И только нет в душе моей следа...

После самых наших мерзких и никчемных ссор, оставшись один на один с собою, я вспоминаю тебя. Во всей моей шальной и, наверное, ужасно непутевой жизни ты — моя баррикада, и молитва, и спасение.

Тегочка, наверное, я виноват в том, что меня таким создал Бог, и наверное, я не смею требовать, чтобы ты была иной, чем тебя Господь создал. Но если мужчиной не нужно становиться: жизнь сама подведет к этому, то женщиной стать должно, ибо женственность — прежде всего милосердие. Мужеству нельзя выучить — к нему подводит безжалостная система жизни, а милосердию учат — в обстановке войны, особенно, — за три месяца. Я не прошу о многом. Ты обязана, Тегочка, стать над тем в тебе обычно бабьим, что разделяет нас, как Берлин. Я становлюсь на себя во имя вас. Стань чуть-чуть на себя во имя меня, которому не всегда так смешливо-весело-самоуверенно, как это кажется. Я тебя люблю.

Помоги мне забыть все обиды
И рожденные ими грехи,
Я таким же останусь, как видно,
Помоги, помоги, помоги...

Милосердия надо вам, люди,
И еловый шалаш — на Оби,
Не суди, и тебя не осудят,
Помоги, помоги, помоги...

Помоги мне уверовать в правду,
Ту, что силу дает и покой,
Все, что было, то будет, но в главном —
Я такой же, как был, я такой.

Все мы любим лишь то, что мы любим,
Любим сразу, а губим потом:
То обидев — простим, приголубим,
Пожалеем, заплачем, споем:

Помоги мне забыть все обиды
И рожденные ими грехи,
Я таким же останусь, как видно,
Помоги, помоги, помоги...

После размолвок папа отсиживался на даче. Мама жила с нами в Москве, в большой по тем временам, четырехкомнатной квартире, полученной отцом в доме полярников на Суворовском бульваре. На субботу и воскресенье он забирал нас на Пахру. Втроем мы готовили обед. Папа замечательно жарил мясо, Дарья занималась десертом и первым, мне поручали резку «померцов и огудоров» (так мы в шутку называли помидоры и огурцы). У нас всегда приживались смешные, только нам троим понятные словечки... По вечерам я звонила к маме и долго сидела на телефоне, и больше всего мне хотелось, чтобы родители были вместе (почему-то любила представлять их сидящими за круглым столом, под желтым абажуром). Они пытались. Но с каждым разом это становилось все труднее... Помню: дождливая московская осень, 7 ноября — день рождения мамы. Она и папа — одногодки, только он родился на месяц раньше. Мама всегда шутила: «Даже здесь меня Юлька опередил!» Она ждала нас на Старом Арбате, возле Вахтанговского театра, мы шли на утренник «Кот в сапогах». Папа ехал со мной с дачи. По дороге он остановился возле рынка и старательно выбрал под дождем два букета: роз и горько пахнущих астр. Один букет, по плану, должна была вручить маме я, другой — он. Когда отец вышел из машины и достал с заднего сиденья цветы, я, напрочь забыв о нашем плане, выхватила у него оба букета и ринулась к маме. Она обняла меня, взяла цветы и как-то болезненно улыбнулась папе. Я обернулась — растерянный, он стоял в своей кожанке возле «Волги». И дождь все шел и шел. И лужи пузырились. И вокруг нас радостно галдели торопящиеся на спектакль первоклашки...

Вмести весь мир в пятак арены,
Скрой свою боль, нам радость дай,
Циркач, циркач, всенепременно
Тебя ждет рай, тебя ждет рай.

Неси тяжелый крест искусства,
Ушиб не страшен — есть трико.
Движение — шестое чувство
И смыслом так же высоко.

Когда юпитеры погаснут,
И в цирке будет тишина,
Тогда лишь только станет ясной
Моя перед тобой вина.

Почти во всех конфликтных ситуациях, как ни странно, у папы был мощный союзник — теща Наталья Петровна Кончаловская (все внуки звали ее Таточка). В первый же вечер знакомства, в далеком 54-м году, разглядела она в отце большой талант и поняла, что с обыкновенными мерками к этому необыкновенному человеку подходить неразумно.

Когда я вспоминаю Таточку, то всегда сначала вижу ее руки — небольшие, удивительно красивые, «умные руки», как она сама говорила. А потом возникают милое, в морщинках лицо, с раннего утра изящно уложенные голубоватой седой волной волосы и чуть прищуренные, умные, все видящие и все понимающие глаза.

Это была удивительная, неповторимая женщина. Я говорю это не потому, что она была моей бабушкой, а потому, что это правда. Есть женщины творческие, есть примерные матери, есть мудрые жены, есть хорошие хозяйки, но чтобы все это совмещалось в одной женщине — такого я не видела ни до Таточки, ни после нее.

Таточка вставала часов в шесть-семь утра. День начинался с молитвы. В углу ее спальни на Николиной Горе всю ночь теплилась лампадка. Когда папа бывал в командировках, я проводила субботу и воскресенье у Таточки. Спала в ее комнате на раскладушке, возле русской печки, расписанной молодой художницей смешными жанровыми сценками. По утрам просыпалась от еле слышного Татиного шепота: она стояла на коленях перед киотом и тихо молилась. Я переворачивалась на другой бок и, свернувшись калачиком, снова засыпала. Поставив в духовку хлеб, который она с вечера замесила, и позавтракав — завтрак состоял из половинки грейпфрута, чашки кофе и двух кусочков подсушенного хлеба с тончайшими, просвечивающими на солнце ломтиками сыра, Таточка садилась писать очередную увлекательную книжку для детей. К девяти часам, решив, что хватит мне валяться, она срывала покрывала с клеток с радостно попискивающими канарейками, раздвигала плотные полосатые шторы, ставила пластинку с Рахманиновым, и

весь небольшой, уютный ее дом наполнялся пением птиц и музыкой.

До полудня Таточка продолжала писать за столиком карельской березы с двумя лирами черного металла по бокам. Потом ставила на плиту гречку, готовила на французский манер салат — это было священнодействием, которому она учила, по мере взросления, всех внучек. Салат срывался с грядки, мылся, сушился в заморской сушилке, вращавшейся со страшным грохотом и рычанием, потом резался вместе с помидорами, поливался оливковым маслом и посыпался сверху сухариками, натертыми чесноком. После обеда Таточка с увлечением шила очередное платье Аннушке или мне. Потом выхаживала обязательные два километра по дорожкам сада. Затем вязала носки Егору или шарф Степану, или джемпер маленькому Темочке. Вечером, если был сезон, мастерски варила варенье, читала. А на ночь рассказывала мне про гимназию или путешествия в Италию, про деда — Василия Ивановича Сурикова — много было сокровищ в ее кладовой памяти...

К папе Таточка относилась нежно, по-матерински, и называла его «Юленька». Папа ее ценил, прислушивался к советам, звал «Татуля».

Они хорошо дополняли друг друга в путешествиях. Тата была знатоком французской культуры и открыла папе в Париже Майоля, Мистраля и Джульетту Греко. Отец водил ее по местам Хемингуэя: кафе, где тот писал, квартирка возле площади Контрэскарп, где он жил. Вместе они написали в 1958 году книжку о своем путешествии в Китай, назвав ее «Джунго Нинь хао» — «Здравствуй, Китай». Папа отвечал за прозу. Таточка за стихи. Книжка получилась прелестная, добрая, с трогательными отцовскими фотографиями. У них тогда возникло единственное творческое разногласие. Таточка написала стихи: «Я художник, хоть и мал, но цветок я срисовал. Мао я подарю цветок, чтоб посмеяться Мао мог». Папа попросил: «Татуля, может, не надо про Мао? Ведь он фруктик не лучше Сталина». Таточка ответила: «Неудобно, — обидятся китайские друзья», — и фразу о Мао оставила. Прав оказался папа: Мао начал культурную революцию...

Таточка следила за жизнью нашей семьи как строгий, но справедливый арбитр, подмечая ошибки всех «игроков». Ее, как и зятя, огорчали отказ дочери от творчества и неразумные траты. Мама всегда стремилась создать в доме уют и иногда «увлекалась», тратя внушительные суммы на смену совсем недавно купленной мебели. Таточка попеременно то вразумляла дочь, то наставляла зятя.

Из письма Н. П. Кончаловской, начало 1970-х годов.

Дорогой Юленька,

Вот сейчас семь часов утра, села я за машинку, чтобы работать, и вдруг мне захотелось поговорить с тобой начистоту. То, что я тебе скажу, будет очень важно для меня, а может быть, и для тебя, поскольку мы всегда с тобой дружили и по возможности старались друг друга понять. Самое важное, чтобы ты понял, что я мать Катеньке. Я ее вымолила, часами стоя перед иконой «Взыскания погибших», после шести выкидышей и одного мертвого ребенка. Я люблю ее больше всего на свете, а после нее — Дашеньку! Когда вы поженились, вспомни, какой она была кристальной чистоты, преданности и беспримерного самопожертвования девушка. Может быть, не досталось ей таланта, и кроме того, отец ее, Алексей Богданов, из которого я мечтала сделать пианиста, благодаря своей фантастически повышенной романтике, не был в себе уверенным, не был оделен божьим даром в искусстве, и я ушла, разачаровавшись до ужаса, поняв, что потратила на превращение коммерсанта в музыканта уйму лет и ничего не сделала. Но у Катюши как раз его, отцовская неуверенность в себе и рыхлость характера, что не мешает ей все-таки быть «личностью» — прелестной, умной, обаятельной, красивой женщиной. Как тебе угодно, но она в чем-то неповторима. Я тебе отдала искреннюю, настоящую, умную девушку, при этом бессребреницу. Ты, тогда еще молодой сам, очень чистый душевно, получил отличного человека в подруги. Но ты летел, не оглядываясь на самого себя. Скольких женщин ты брал так, походя, никогда не думая о том, что ты причиняешь Кате? Ну, это твое дело! Если она примирялась, то слава Богу! Я сама всегда жила с Сергеем, не держа его за штаны. Дело ведь не в этом, а в том, что ты сам приучил жену тратить безрассудно. А как ты пил? До умопомрачения!.. Юленька, ты талантлив и очень талантлив, но ведь надо иногда принести покаяние, исповедаться и причаститься. Так было в мое время у православных людей. Я до сих пор иду к духовному отцу исповедоваться и каяться, просить у Бога прощения. А ты мог бы покаяться и спросить себя: всегда ли я прав?.. Я тебя знаю таким нежным, умным, добрым и искренним. В тебе сидят два человека и это вполне понятно, ты слишком талантлив, чтоб не было в тебе изъяна. Но изъянов ни один, даже гений сам себе прощать не имеет права!

Теперь о твоем рассказе «Прощание с любимой». Ты явно будешь иметь с ним массу поклонников, но это — не ты. Это не ты, вдохновенный исследователь самых различных времен и событий, не политик-романист, не влюбленный в жизнь и при-

роду охотник. Послушай меня, старуху. Я ведь тебя люблю! И часто с тобой советуюсь и слушаюсь тебя, потому что каждый настоящий художник посоветовать другому может так, как себе — не в силах — это закон.

Папа слушался — он ведь так любил конструктивную критику — и старался исправить погрешности, но если в литературе ему это удавалось, то жизнь с мамой рассыпалась как карточный домик. Чувствуя обреченность их отношений, он еще больше занимался нами. Видя в нас все существующие и несуществующие таланты, прочил Дарье большое будущее в живописи, «разглядев» в ней одаренного живописца года в четыре. Меня, хотя в детстве я мечтала стать биологом, представлял известной журналисткой. «Девочки, только творчество, как самая прекрасная форма реализации таланта во времени и пространстве, дарует истинное счастье!» — убеждал он нас и цитировал свое четверостишие: «Умение видеть — проходит, умение слышать — проходит. Все смертно, все тленно, / Как глупо... Пассивность таланта — преступна».

За помощью обращался к Таточке.

Из письма Н. П. Кончаловской.

Очень прошу тебя всячески поддерживать в Ольге тягу к сочинительству. Поверь, я ее чувствую точно, и себя в ней вижу, и вижу часть Катюши: там борение идет, просто-таки по Пастернаку: «С кем протекли его боренья? С самим собой, с самим собой!» Помоги ей поверить в неизбежность творчества, не бойся ее хвалить, поверь мне, пожалуйста.

Добрая, мудрая Таточка... Хорошо помню, она мне тогда подарила восхитительный, с пластиковой обложкой в мелкий цветочек, дневник и на заглавном листе написала: «Моей любимой Ольгушке, чтобы она записывала в этот журнальчик истории про своих четвероногих друзей, которые порой бывают значительно лучше двуногих — спесивых и гордых».

Родители не развелись, просто приняли решение как можно реже встречаться, чтобы избежать ненужных конфликтов. Тогда отец и начал подыскивать в Москве творческую мастерскую — архив, где можно остановиться, попить чаю между встречами в издательствах и на киностудиях, положить рукописи. Нашел полуподвальное помещение. Через два месяца прорвало канализацию. Книги и рукописи с

правкой плавали в грязной воде. Перебрался на чердак. Там регулярно текла крыша. В конечном итоге обосновался в маленькой кооперативной двухкомнатной квартирке во 2-м Беговом проезде. Красные обои «под кирпич», на стенах фотографии, маски, копья, пистолеты. Большущий письменный стол карельской березы, узенькая кровать под пледом. Отец умел обживаться и делал это невероятно быстро. Даже номеру в отеле за один вечер придавал экзотическо-творческий вид: бережно раскладывал рукописи на столе, доставал печатную машинку и стопку чистой бумаги, раскидывал по полу прочитанные газеты и журналы, складывал непрочитанные возле кровати и ставил на видном месте для друзей пару бутылок смирновки или виски...

Наши отношения с папой не изменились. Он с соломоновской мудростью смог уберечь нас от груза «взрослых» проблем. Мы ездили с ним на дачу, путешествовали, заходили на Беговой проезд. Как же он радовался нам, с какой гордостью представлял знакомым писателям и журналистам!

Жил отец кое-как. Если мы прибирали — хорошо. Если нет — по квартире скапливались пустые чашки из-под кофе и набитые окурками пепельницы, в раковине — грязная посуда. Он мог бы найти домработницу, но то ли боялся, что она перепутает его рукописи, то ли просто не думал о минимальном комфорте. На маленькой своей кухоньке дарил нам, довольно улыбаясь, первые украшения на дни рождения: сапфировые колечко и серьги — мне, бриллиантовое кольцо — Дарье. Он любил покупать нам драгоценности, и очень быстро их накопилась целая шкатулка. Он баловал нас, как мало кто из родителей балует детей. В этом не было соревнования с мамой (которая могла ухнуть все сертификаты, полученные от папы, на покупку мне, одиннадцатилетней, сразу двух пар дорогущих сапог из «Березки»), просто никого дороже нас у отца на свете не было.

Женщины... Их в его жизни появлялось немало. На несколько дней, недель, месяцев, даже лет. Они звонили, отправляли письма, получали право остаться подле, а получив его, начинали требовать большего. Лишь любовь довольствуется малым, тщеславие же наше и гордыня ненасытны. Никто из них не думал об отце, лишь о себе. Папа все понимал и на все закрывал глаза, но разве от этого меньше становилась боль?

В доме с постоянно трезвонившим телефоном, повсюду окруженный людьми, отец был абсолютно, отчаянно одинок.

1

Больное одиночество мое
Живет вокруг меня.
Как истина. Отчаянье, как страх,
Как нежность — безысходное,
И как напоминанье,
Особенно когда шумит и бьет прибой —
Оно во мне, оно всегда со мной...

Оно пришло неведомо когда,
Локтями всех тихонько растолкало,
Сначала редко о себе напоминало,
А нынче, как шумливый тамада,
Бесшумно мною правит,
И бесславит...

2

Я всем и каждому внимаю,
Но ничего не понимаю
Про обреченность бытия,
В котором он, она и я.

Зачем нам всем глаза даны?
Чтобы смотреть в них беспрерывно,
Все понимая неразрывно,
На что владельцы их годны.

Зачем всем руки нам даны?
Чтоб прикасаться кожей пальцев
К щекам случайных постояльцев,
Которые нам неверны.

Зачем даны нам всем сердца?
Лишь только для вращенья крови.
...С годами истина суровей
И четче облик подлеца.

ПИЦУНДА

С середины 70-х папа часто ездил с нами в Абхазию, в Пицунду. В первый же день номер забивался знакомыми абхазцами, приглашавшими в гости. Папин любимец — молоденький бармен Алябрик (девятилетней я называла его «дядя Кораблик») — по вечерам виртуозно готовил коктейли в грохочущем музыкой баре на последнем этаже гостиницы, а днем возил папу по местным «уважаемым людям». Ездил с бешеной скоростью, отец на него кричал: «Алябрик, разобьешься, не кидайся с кинжалом на горячее говно!» Но Алябрик лишь смеялся, сияя золотыми, по моде тех лет, зубами. Впоследствии он попал в страшную аварию и чудом не остался инвалидом.

Безмолвные женщины в черных платьях накрывают в саду столы: мамалыга, хачапури, жареное мясо, зелень. Палит солнце, трещат цикады, в горячем воздухе разлит горьковатый запах костра. Принесены из погребов плетеные бутылки с вином, расставлены дубовые скамьи, начинаются застолье, тосты. Гости, таков неписаный закон края, не имеют права встать из-за стола до поздней ночи, пока пир не будет окончен. (Вышел по нужде — значит, слаб, не мужчина.)

Мы возвращаемся в гостиницу поздно. В ледяной горной речушке Бзыбь плещется серебристая форель, трещат цикады, ветер пахнет смолой, на море — штиль, дрожит на воде лунная дорожка, а вокруг желтых фонарей на набережной водят хороводы белые мотыльки...

Поправши ужас бытия
Игрой, застольем иль любовью,
Не холодейте только кровью,
Мои умершие друзья.

Мы соберем по жизни тризну,
Вино поставим, сыр, хичин,
Ядрено пахнущий овин
Напомнит нам тепло Отчизны.

Мы стол начнем; кто тамада,
Поднимет первый тост за память,
Которая нас не оставит,
Поскольку мы трезвы — пока.

Все, кто ушли, в живых живут,
Те, кто остался, помнят павших,
Когда-то с нами начинавших,
Мы здесь их ждем; они придут.

Они тихонько подпоют,
Когда начнет свое Высоцкий,
Светлов, Твардовский, Заболоцкий,
А кончим пир — они уйдут.

Не забывайте утром сны.
Приходим к вам мы поздней ночью,
Храните нас в себе воочью,
Как слезы раненой сосны.

Вспоминается маленькое кафе среди сосен. Широченные деревянные столы, табуретки-пеньки, поднимающийся среди желтых стволов и теряющийся в голубизне неба дымок — это готовят на углях крепкий кофе. Папа пил по несколько чашек, окруженный толпой читателей, ловивших каждое его слово. Несмотря на популярность, он никогда не требовал к себе особого отношения. Узнавали — с удовольствием подписывал книжку, обменивался добрыми словами. Не узнавали — ну и бог с ним. Даже когда сталкивался с откровенным хамством — принимал легко и спокойно. Ни намека на звездную болезнь. Простота и демократичность.

Зайдя как-то в Пицунде в парикмахерскую, спросил молоденькую девушку-мастера, не сможет ли она ему подправить бороду.

— Не видите разве, мужчина, занята я! — зло ответила девица, нервно щелкая ножницами в опасной близости от ушей клиента.

— А я подожду, — дружелюбно ответил папа.

Он терпеливо ждал, пока барышня закончит работу, — и тут подошли два клиента по записи. Поняв, что девица подстричь его не могла, только зря продержала, папа вежливо попросил разрешения взять ножницы. Ловко подравнял себе бороду, заплатил за использование инструмента и откланялся. Никакого раздражения — доброжелательность и юмор. Понимая, что не люди, а система, на корню задавившая заинтересованность и личную инициативу, виновата в повсеместном хамстве, отец начал все больше говорить в своих книгах о необходимости дать людям возможность зарабатывать, применяя на деле 17-ю статью конституции, и часто повторял: «Советский сервис ненавязчив».

Экзотику отец любил как неотъемлемую часть романтики, а что может быть экзотичнее охоты на акулу и дегустирования супа из нее?

На лов акулы мы однажды и отправились. В Черном море водится маленькая акулка под названием катран — длиной с метр, для человека неопасная, но мы с сестрой накануне все-таки волновались.Обмазавшись кремами, надев панамы и вооружившись спиннингами, залезла наша троица ранним утром в лодку, папа энергично взялся за весла, и через двадцать минут берег превратился в узенькую зелено-желтую полосочку.

Очень скоро отец поймал симпатичную рыбку. «Пойдет на наживку! — решительно сказал он. — Акулы любят рыбу больше, чем червей», — и насадил ее на крючок. Вскоре клюнуло у меня — добычу постигла та же участь. Последующие рыбешки папу вообще не волновали, азартный рыбак, он ждал акулу! Время шло к полудню, солнце палило нещадно, обгоревшая спина противно щипала. Красно-коричневый от загара, с мокрым от жары носом папа был настроен решительно: «Без акулы мы на сушу не вернемся!» Как я уже говорила, отцовский герой из повести «При исполнении служебных обязанностей» убежден, что если чего-то хочешь добиться, то этого надо уверенно желать, и желаемое сбудется. Папа акулу желал настолько уверенно, что случилось невероятное — леска на его спиннинге сильно дернулась и стала ходить из стороны в сторону. С победным криком «акула!» отец яростно наматывал леску и через несколько секунд из бирюзово-зеленой толщи воды показался зло дергавшийся на крючке блестящий катран с длинной, хищной, совсем акульей мордой. Резким движением отец вытащил его из воды и победно швырнул на мокрое дно лодки, где слабо били хвостами засыпавшие рыбешки. «Кузьмы! — радостно прогремел он. — Вас ждет такое пиршество, которого вы никогда еще не видели!» Выйдя на берег, немедленно отправился с добычей на гостиничную кухню и попросил испуганных поваров акулу сварить, а сам стал обзванивать знакомых абхазцев, приглашая их на сказочное угощение. Когда те приехали и узнали, что папа для них приготовил, то в ужасе отказались: «Что вы, Юлян Семенч, это же нэлзя кушть! Отравитэсь!» Втроем мы уселись за стол и, не обращая внимания на похоронные физиономии и горестные комментарии абхазцев, уверенных, что акула ядовита и это последняя наша трапеза, с удовольствием катрана умяли — мясо его было жирно и нежно.

Отвезя нас в Москву, папа вернулся в Пицунду и... затосковал.

Из письма дочерям, конец 1970-х годов.

Дорогие доченьки!

Дорогая Катюша!

Все, конечно, отлично, и так же цикады трещат, и море пока еще теплое, и Алябрик — душенька, и сосны шумят, но только сердце щемит, ибо грустно мне здесь без Дунечки и Ольгуси, все иное — лишенное нашего августовского смысла, Оленькиных слез по поводу купаний, атиных пароксизмов дрянного настроения, совместных наших застолий, споров о необходимости атиного загара, Ольгиных зажмуриваний в воде...*

Мне невероятно грустно без вас, так грустно, что хочется сесть за работу, а сил нет, да и машинка плоха, не говоря уже о мыслях: они подобны морзе — точка — тире — точка, сплошная рвань, уныние и тягомотие.

Что еще? Есть несколько славных мужиков из Союза, Ким Селихов, новый секретарь Москвы — ребята славные.

А я пойду ужинать — тефтели и вермишель. Напишите мне. Целую вас мои золотые.

Юлиан Семенов.

В тот период отец написал шпионскую повесть, основанную на реальных событиях, «ТАСС уполномочен заявить». Обычно ему приходилось работать в архивах, но тут повезло: все главные участники той истории были живы.Главным героем повести стал блестящий контрразведчик Славин. Не думаю, что открою государственную тайну, если скажу, что на самом деле фамилия разведчика была Кеворков. Он представил уникальные материалы по операции, на основе которых отец лихо закрутил сюжет, многое по обыкновению изменив и переделав. Вячеслав Иванович — для нас и Славочка — для папы, он вошел в дом как консультант повести, но быстро стал близким папиным другом. Обаятельный, умный, без акцента говорящий по-английски и по-немецки, всегда пахнущий духами, с ослепительной улыбкой, он поражал абсолютно европейским стилем. Приехать к нему на дачу, где его обаятельная подруга готовила какие-то невиданные западные блюда, было для нас с сестрой событием, — казалось, что мы не в Подмосковье, а где-то в предместье Лондона. Да это и неудивительно, ведь Вячеслав Иванович долгие годы провел за границей, под чужим именем, с тщательно продуманной легендой. Любимым его занятием на «вражеской территории» в свободное время было плавание в

---

* Атей в детстве я называла Дарью, и эта кличка к ней «прилипла».

океане. Блестящий спортсмен, он заплывал на два-три километра. Однажды, приехав ночью в новое место, с утра пораньше предпринял традиционный заплыв. Повернувшись на спину, любовался голубизной неба в открытом океане, как неожиданно его покой нарушило появление черной, как смоль, рожицы молодого негритенка. Тот сидел в лодке и умильно улыбался.

— Джентльмен ждет, когда клюнет? — скаля белые зубы, озорно спросил он.

— Кто клюнет и кого? — удивился Вячеслав Иванович.

— Джентльмен, наверное, недавно приехал и не знает местных новостей?

— Точно.

— В окрестностях появилась акула-людоед и сожрала вчера несчастного туриста — второго по счету за четыре дня. Если джентльмену «повезет» и акула клюнет — он будет третьим.

Славный негритенок вывез Вячеслава Ивановича на берег, и он эту историю нам со смехом рассказал перед просмотром у него на даче нашумевших фильмов об акулах «Челюсти» и «Орка»... Через несколько лет, когда ему уже было за пятьдесят, он женился на прелестной молодой женщине и у них родилась дочка...

Закончив «ТАСС уполномочен заявить», папа ждал лишь зеленого света Андропова, — такого рода произведение должно было пройти через его руки. Было лето, и отец повез нас в Крым. По дороге в Коктебель остановился на недельку в небольшом винодельческом совхозе, у знакомого директора. Вернувшись с моря, собирались сесть за стол, и тут тревожно зазвонил междугородний телефон. Директор поднял трубку и услышал строгий голос: «Комитет госбезопасности. Положите трубку!» Так повторялось три раза. Помощник Андропова прозванивался минут десять, находя, что связь недостаточно хороша. Когда директор в четвертый раз боязливо, как ядовитую змею, взял трубку и, судорожно вздохнув, тихо сказал: «Алле», — попросили Семенова. Юрий Владимирович повестью был доволен, сделал ряд незначительных замечаний и дал добро на публикацию. Но директора этот звонок травмировал. В те времена комитета крепко боялись. За обедом он, как заклинивший робот, без конца разливал по рюмочкам, произнося один и тот же тост: «Выпьем за нашу Родину, таку большую, таку красивую!»...

После выхода в свет «ТАСС уполномочен заявить» доброжелатели с удвоенным энтузиазмом повели разговоры о том, что Юлиан Семенов — агент КГБ. Что любопытно, папа и не думал никого ни в чем разубеждать. Даже наоборот, всячески эти слухи поддерживал и культивировал. Думается, в этом был некий элемент игры. Отец обожал играть.

Вспоминает генерал-майор КГБ в отставке В. И. Кеворков.

Юлиан знал многих людей из разведки: Удилова, Боярова, меня, моего шефа — нелегала Норманна Бородина еще со времен работы над «Семнадцатью мгновениями весны». Общался с нами очень много. Все знали, что он пользовался какими-то материалами, но что у него могли быть просто человеческие отношения с по-человечески мыслящими людьми, никому в голову не приходило. Отсюда и возникали слухи: «Агент? Не агент? Кто он такой?» По поводу того, был ли Юлиан агентом, расскажу такую историю. Однажды расстроенный Бояров говорит Юлиану, что накануне на каком-то приеме к нему обратилась дама: «Виталий Константинович, мы вот тут прочли новую вещь Юлиана Семенова. Это же ясно, что он — ваш агент!» Бояров, человек суровый, отрезал: «Сама постановка вопроса некорректна, и я не хотел бы на эту тему говорить». И тут же Юлиану предлагает: «Давай я, как заместитель руководителя контрразведки, завтра выступлю по телевидению и скажу, что Юлиан Семенов никогда нашим агентом не был». Юлиан вскочил и говорит: «Ради бога, только не это! Если хочешь, скажи, что Семенов глубоко зашифрованный агент, выполняющий какие-то сверхсекретные суперзадания, которые никому не известны. Очень прошу меня не дискредитировать».

В ГЕРМАНИИ

Зимой 1979 года отец стал спецкором «Литературной газеты» по Западной Европе и уехал в ФРГ. Молниеносно освоившись, начал писать увлекательные статьи о выставках, политической жизни, ярких личностях — его интересовало все. Немцев сразу полюбил за умение работать и железную дисциплину, но и соплеменников не забывал, компенсируя тоску по России тесным с ними общением.

Вспоминает актер Лев Дуров.

Мы встретились в тот раз в Германии, на Мюнстерском фестивале. Юлиан возник резко, сразу после нашего приземления в аэропорту, и тут же, «взяв в плен» меня и Леню Каневского, стал рассказывать о городе, о своей корреспондентской работе. Рассказывал интересно, перебивая свой рассказ вопросами о делах и планах нашего театра. Юлиан снимал отдельный дом — странное бетонное здание, этакое бунгало, куда он нас и повез. Там висели замечательные картины его дочери Дарьи, о творчестве которой мы выслушали увлекательную лекцию. Ему было мало, что мы безоговорочно признали Дарью потрясающим художником. Он договорился до того, что все импрессионисты пошли от Дарьи. И хотя Юлиан рассказывал чрезвычайно увлеченно, в то же время он умудрился разжечь камин, поджарить там какие-то сосиски и... подготовить выпивку.

Леня Каневский, думая, что Юлиан богатый человек, сделал попытку его «расколоть»: «Ой, говорят, здесь в магазинах есть замечательные плащи, а у меня всего 70 марок». Юлиан без паузы, продолжая жарить сосиски, сказал: «Леня! Продай Родину, добавь 70 марок и купи себе плащ».

А когда Юлиан показывал нам Бонн — городские достопримечательности и музеи, оказалось, что он прекрасный знаток искусства и живописи. Я был потрясен его эрудицией и гордился наличием столь грандиозного гида.

В тот период отец познакомился с двумя удивительными людьми: Альбертом Штайном и бароном Фальц-Фейном.

Альберт Штайн, бывший немецкий солдат, прошел всю войну, был тяжело ранен, попал в плен, вернувшись домой, в одно прекрасное утро сказал: «Мы, немцы, виноваты перед русскими. Все вместе и каждый в отдельности. И я виноват, и хочу искупить свою вину». Он начал собирать документы, подтверждавшие хищения нацистами огромного количества культурных ценностей из российских музеев, и требовал эти ценности Союзу отдать. Соседи принимали его за безумца, друзья тревожно заглядывали в глаза: «Дорогой Альберт, подумай о себе, о сыновьях, пусть русские сами разбираются со своими иконами и картинами». Штайн был неукротим, продолжая поиск и добиваясь справедливости. Отец написал о нем статью «Гражданин ФРГ из деревни Штелле», и они подружились.

О бароне отец узнал случайно. На Сотби в Женеве ему сказали, что есть, мол, такой состоятельный господин из Лихтенштейна, собирает русские картины и архивы. Барон — из рода Епанчиных по матери, Фальц-Фейнов по отцу. Их близкими родственниками были Достоевский и Набоков. Родился он в 1912 году в селе Гавриловка на берегу Днепра в имении Аскания-Нова, впоследствии ставшим заповедником. В 1917 году оказался с родителями за границей. Принц Лихтенштейна, знавший и ценивший эту семью, подарил им надел земли в почетной близости от своего замка: «Вот подрастет сын, сделает состояние и построит здесь дом — будем рады соседству». И барон (редкий случай для первой волны эмиграции) сделал-таки большое состояние, открыв магазин сувениров и пункт обмена валюты. На дожидавшемся его участке земли построил просторную виллу, назвав ее «Аскания-Нова». С годами заполнил ее бесценными полотнами русских мастеров и архивами, купленными на аукционах. Первый дар России, сделанный бароном, был уникален: часть библиотеки Дягилева — Лифаря; затем архив Соколова, хранивший тайну расстрела царской семьи; потом портрет Потемкина для Воронцовского дворца. Папа приехал знакомиться к барону в Лихтенштейн, и они стали друзьями.

Вспоминает барон Эдуард Фальц-Фейн.

Юлиан часто приезжал ко мне в Лихтенштейн, места эти он обожал — никто его здесь не беспокоил телефонными звонками, не действовал на нервы. Я с утра уходил в офис, он весь

день писал. Вначале я его приглашал в свободное время поработать со мной в саду, но он не отрывался от пишущей машинки. Здесь он начал свою книгу «Лицом к лицу». Здесь, в Вадуце, ему пришла идея создать газету «Совершенно секретно». Как-то вечером, за водочкой (мне-то мама алкоголь употреблять запретила, так я ее никогда не пил, а Юлиан любил), он мне говорит: «Эдуард, я мечтаю основать газету, в которой можно было бы публиковать секретные архивные материалы. Большинство из них по истечении определенного срока — тридцати, пятидесяти лет — рассекречивают. Представляешь, как такая газета была бы для всех интересна!» Так и получилось.

Но это произошло несколько лет спустя, а тогда у папы возникла идея создать Комитет за честное отношение к произведениям русской культуры, оказавшимся на Западе. Его давно волновала судьба уникальных русских архивов, картин и книг.

Из статьи отца.

Одни видят в русском искусстве явление, достойное созерцания, преклонения. Говорю так не потому только, что речь идет о культурном наследии моего Отечества, но и потому, что на Западе прекрасно понимают: без Петра Ильича Чайковского, Сергея Васильевича Рахманинова, Сергея Сергеевича Прокофьева, Игоря Федоровича Стравинского современной музыки быть не может. Как не может быть современной живописи без Врубеля или Кандинского, Шагала или Малевича. А театра — без Фокина и Нижинского, Дягилева и Карсавиной. Так вот, одни видят в этом явление, а другие в явлении видят деньги, которые туда можно вложить и получить прибыль, палец о палец не ударив. Это если рассечь по одной плоскости.

Есть и другое рассечение. Первые считают, что произведения русской культуры суть национальное достояние и должны быть возвращены, как память; другие же полагают, что вправе лишить народ и достояния и памяти. Авось, забудут, а ежели забудут, то за беспамятство ударим, еще раз докажем: нет пророка. Но вот беда — не забываем; чтим и бережем от забвения.

О своих планах отец рассказал Таточке.

Из письма Н. П. Кончаловской.

Я тут начал поиск картинных галерей Киева и Харькова, украденных нацистами. Дело это чуть рискованное, но необходимое. На днях перешлю Сырокомскому один материал — попробуй быть моим экспертом. И попроси украинцев подобрать русский или украинский каталог похищенных картин — их там более 300!!! Вот бы вернуть хоть часть, а?

В основанный по инициативе отца комитет вошли, помимо барона и Штайна, Жорж Сименон, Джеймс Олдридж и Марк Шагал. День, когда Шагал дал свое согласие, я помню очень хорошо, потому что приехала к папе на каникулы и он взял меня с собой.

Юг Франции, городок Сан-Поль де Ванс, лето, полуденный зной. Воздух напоен пронзительным ароматом трав и цветов, дорожка, извивающаяся между кустарниками, ведет к большому светлому дому Шагала. Живописец, барон и отец сидят за столом — двери в сад открыты, поют птицы, пляшут солнечные зайчики по мраморному полу и высокому потолку, и висят на стенах огромные, в человеческий рост картины Шагала, и каждая поражает бесконечностью толкований. В разговоре отец обмолвился о своем возрасте, дескать, много уже. Шагал, чуть заметно улыбнувшись, поинтересовался:

— Сколько же?

— Сорок девять, — ответил отец.

— А мне на двадцать больше, — неохотно признался барон (он подкрашивал волосы, ездил на гоночном «мерседесе» и уверял знакомых девушек, что недавно отпраздновал свое тридцатидевятилетие).

Шагал улыбнулся уже открыто:

— Мальчишки вы.

Только вот глаза у него так и остались печальными. Живописцу тогда было девяносто два, и он писал и хотел успеть сделать все, что задумал, и понимал, что это невозможно: только сытая посредственность прикидывает, как бы убить еще один день, а гению времени всегда не хватает. Говорили долго. И о том, как начинал, еще в начале века Марк Григорьевич в России, и о том, как было потом, на Западе. Фальц-Фейн рассказывал о поисках культурных ценностей, похищенных гитлеровцами, о Штайне. Отец говорил о России, о той России, начала 80-х — помпезной, нищей и все-таки прекрасной, как всегда. А Шагал, о котором в энциклопедическом словаре сказано: «Французский живописец, автор фантастических иррациональных произведений», сухонький, смуглолицый от жаркого солнца, с седыми, но по-

детски беззащитно взъерошенными волосами, слушал жадно, как ребенок — сказку. Глядя на него, я вспомнила одно интервью с Барышниковым. Элегантный, по-королевски достойный, он сказал: «Здесь у меня работа, дом, друзья, все. В России я оставил только маму, собаку и воздух»... Рядом с Шагалом сидела его жена — Валентина Бродская — хрупкая седая дама. Они поженились в 1952 году. Именно тогда шестидесятисемилетний живописец начал серию библейских сюжетов, состоящую из семнадцати полотен. Вначале не решался (страх не успеть!), она была уверена в его силах и не ошиблась: ныне эти шедевры выставлены в специально для них выстроенном национальном музее в Ницце. Подле Шагала была и его рослая, статная, рыжеволосая, жизнерадостная дочь от первого брака. Замуж она не вышла, жила с родителями, растворившись (папино слово) в творчестве отца.

Я была слишком мала, чтобы ощутить всю необратимость, а значит, трагичность времени, но подумала: «Что с ней будет потом?» А возвращаясь в маленький отельчик недалеко от Ниццы, где мы остановились, спросила об этом.

— Что будет потом? — переспросил папа.

— Да, как она сможет жить совсем одна? Что останется? Одиночество — это же так страшно.

— Нет, — ответил отец, — страшно не будет. У нее останутся воспоминания. Если проживать все снова и снова, одиночество не подступится. Запомни, Кузьма, — пока у нас есть память — у нас есть все.

Есть возраст? Есть. А если «нет»?
Отвергни однозначность истин,
Тебе сегодня столько лет,
Как в Безинги подводных быстрин.

Есть возраст? Нет. А если «да»?
Но в Безинги бурлит вода,
Она умчит тебя туда,
Куда не каждому повадно,
Но ощущение отрадно:
Прозрачна с выси быстрина.

Я сам себя пугаю тем,
Как промелькнули мои годы,
Но в Безинги бушуют воды
Обильем лермонтовских тем,
Оставим их, пожалуй, тем,
Кто катит с круч за нами следом,
Ответ на мой вопрос неведом
Ни им, ни нам. И насовсем
Ничто на свете невозможно,
Хрестоматийность истин ложна;
Все, что прошло, придет затем.

Перед возвращением из Ниццы в Бонн мы с папой съездили в русскую церковь и на русское кладбище. Отец молчаливо водил меня от могилы к могиле, и, читая надписи на скромных табличках, я в свои тринадцать лет поняла, что место это — средоточие самых блестящих имен и трагических судеб России.

...Первой совместной акцией барона и папы стала покупка уникального гобелена с изображением Николая Второго с семьей. История этой покупки очень интересна.

Вспоминает барон Эдуард Фальц-Фейн.

В один прекрасный день Юлиан звонит мне в Вадуц и говорит: «Эдуард, на аукционе во Франкфурте продается уникальный гобелен — портрет царской семьи. Подарок персидского шаха Николаю Второму к трехсотлетию дома Романовых. Ты обязан его купить!»

В тот момент я не мог выехать во Франкфурт. И тогда Юлиан предложил торговаться на аукционе за меня, держа со мной связь по телефону. Я, конечно, согласился. И Юлиан купил гобелен. Так, благодаря ему, гобелен вернулся «домой», в Крым, в Ливадийский дворец.

А однажды Юлиан сказал мне: «Эдуард, ты будешь героем России, если поможешь перевезти прах Шаляпина из Парижа на Родину. Ты во Франции учился, связи у тебя там большие. Давай действовать». А русские уже вели до этого переговоры с французским правительством. Безрезультатно. Тогдашнего мэра Жака Ширака я знал. Но вначале было необходимо получить письменное согласие наследников. Мы с Юлианом позвонили моему давнему другу — сыну Шаляпина, Федору Федоровичу, жившему в Риме. Он приехал, но разрешения давать не хотел. Целую неделю мы с Юлианом его уверяли, убеждали, забрасывали аргументами.

На фотографиях той поры я вижу папу и барона, что-то энергично доказывающих худому, с длинным печальным лицом Федору Федоровичу.

В перерывах между дебатами они по очереди готовили ужин. Папа с бароном больше всего любили макароны по-флотски, делали их мастерски. Раз барон поджарил бифштексы, а сковородку бросил в раковину. Федор Федорович, отвечавший в тот день за мытье посуды, грустно на сково-

родку посмотрел: «Как досадно, Эдуард выбрасывает столько замечательного жира — он бы еще пригодился!» И у папы сжалось сердце от жалости и нежности к этому, не избалованному жизнью, трогательному старому человеку.

Накануне Рождества 82-го года, когда валил снег, радостно перемигивались во всех домах Лихтенштейна разноцветные лампочки на елках, и дети, прижимаясь носами к холодным окнам, нетерпеливо ждали Деда Мороза с гостинцами, Федор Федорович сделал папе и барону самый замечательный подарок, подписав следующий документ: «Я, Федор Федорович Шаляпин, ставший после кончины моего старшего брата, художника Бориса Федоровича Шаляпина, главою семьи Шаляпиных, даю мое согласие на перевоз гроба с прахом отца из Парижа на Родину. Моя сестра Татьяна Федоровна Чернова, урожденная Шаляпина, как мне известно из беседы с нею, также присоединяется к этому согласию.

Федор Федорович Шаляпин.

Документ составлен в Вадуце,
столице княжества Лихтенштейн,
Двадцать четвертого декабря
тысяча девятьсот восемьдесят
второго года в резиденции барона
Эдуарда фон Фальц-Фейна, моего
друга.

Свидетели подписания этого документа, барон Эдуард фон Фальц-Фейн и писатель Юлиан Семенов, удостоверяют его подлинность».

Вспоминает барон Эдуард Фальц-Фейн.

Затем мы поехали в Париж, Ширак хорошо отнесся к идее, но сказал, что так как Шаляпин обожал Париж и парижане его до сих пор знают и любят, то необходим компромисс: мэрия дает разрешение на перезахоронение праха, но перед этим на доме на рю де Ло, где Федор Иванович жил, мы должны установить мемориальную доску.Так и сделали.

Советскую бюрократическую машину папа взял на себя. Поскольку перезахоронения добились не красные бюрократы, а старый аристократ-эмигрант и беспартийный писатель, то неожиданно «возникло мнение», что принимать прах «предателя Родины» будет нецелесообразно. Пришлось обращаться к тому, кого отец ценил за светлую голову.

Вспоминает писатель Валерий Поволяев.

Юлиан Семенов был человеком дела и чести. Однажды он приехал в Союз писателей. Я тогда работал секретарем правления. Отвечал за правительственную связь.

— Старичок, мне надо позвонить по вертушке, — сказал он мне.

— Звони.

Трубку на той стороне провода поднял не секретарь, не референт, не помощник, не советник, а сам хозяин телефона.

— Юрий Владимирович, я только что прилетел из Парижа. Вопрос о переносе праха Шаляпина окончательно согласован с родственниками и с официальными лицами Франции. Теперь нужно ваше согласие. Согласны? Я буду держать вас в курсе дела. Хорошо?

Разговаривал Юлиан с Андроповым, тогдашним руководителем страны. Генеральным секретарем ЦК КПСС. Через некоторое время прах Шаляпина был перевезен в Россию. Совершено это было с помпой, с высокопарными речами. Юлиана же, который все это сделал, откровенно оттеснили в тень. Юрия Владимировича к этому времени уже не стало. Именно Юлиану Семенову мы должны поклониться за то, что прах великого певца вернулся на Родину. Юлиана Семенова много раз пытались задвинуть в тень, но и в тени такие люди, как он, выглядят ярко. А Юлиан Семенов был ярким человеком.

Да, ни папу, ни барона на церемонию перезахоронения не пригласили. Барон обиделся по-детски, чуть не плакал. Папа, тоже задетый за живое, молчал — он умел держать свои эмоции при себе, к тому же знал: «Нет пророка...»

Добро наказуемо — иначе не объяснишь трагедию, произошедшую со Штайном. Он тратил на свои поиски всю пенсию, сбережения, в конечном итоге заложил дом и добился-таки своего — целая партия уникальных икон, пропавших из России во время войны, вернулась на Родину. Стоили они миллионы. Штайн не хотел никаких денежных вознаграждений, лишь попросил возместить расходы, с немецкой аккуратностью составив смету: речь шла о двухстах тысячах марок — смешная сумма по сравнению с тем, что он дал России. Ему не ответили. Напрасно, пока судебные приставы выносили из дома мебель, слал он отчаянные письма в Москву — его забыли, как забыли папу и барона.Разоренный Штайн, никому не рассказав о происходящем, покончил с собой... Умение отдавать дано не

каждому — это привилегия добрых и сильных, Божий дар. Жаль только, что за счастье отдавать приходится так дорого платить.

Я не жалею, что отдал,
И то, что потерял — ко благу,
Лишь только бы листок бумаги,
А там хоть грохота обвал.

Центростремительность начал
Уступит место центробежью,
Так дюны шири побережья
Предшествуют чредою зал.

Я не обижен ни на тех,
Кто оказался слишком резким,
Духовно крайне бессловесным, —
Ведь мир подобен сменам вех.

Когда легко отдать кумира,
Когда не трудно позабыть,
И то, что не было, что было:
В чреде мгновений — эры прыть.

Отчаянье — плохой советчик,
На дне бокала истин нет,
Осмыслен лед сквозь грязный глетчер,
А жизнь людей — в тени планет.

...Барон с папой еще долго искали картины и иконы, а найдя, привозили в Россию. Продолжили они и начатый Штайном поиск Янтарной комнаты.

Вспоминает барон Эдуард Фальц-Фейн.

Писем приходило огромное количество. Некоторые писали, что им известно, где спрятана Янтарная комната, и просили прислать сумму для последних поисков. Вначале мы с Юлианом по русской легковерности все принимали за чистую монету, и я финансировал каждого. Потом стал осторожнее. И когда ко мне обратился немец Хайм Манн, жуликоватый, на мой взгляд, господин, выдумавший мемуары Гитлера, уверяя, что имеет неопровержимое свидетельство пятнадцатилетнего жителя Кенигсберга, якобы видевшего, как загружали Янтарную комнату в один из бункеров, я ответил: «Найдите — заплачу полмиллиона долларов. А до этого — нет». Тогда два американца провели в тех местах два месяца. Увы, безрезультатно. Так мы потратили с Юлианом на поиски годы, веря, что комната найдется. И если кто-нибудь найдет ее теперь — обещание в силе, плачу полмиллиона, а я передам комнату России.

В отцовских архивах хранятся письма «липовых» очевидцев и реальных свидетелей, планы подземелий, бункеров, карты и много всякой всячины. Блестяще рассказал о поисках папы и барона Виталий Аксенов в книге «Дело о Янтарной комнате», поэтому добавить тут нечего. Но думается мне, хоть их поиск не увенчался успехом, в том, что в Питере изготовлена комната новая, такая же прекрасная, есть заслуга и этой замечательной тройки альтруистов...

Небольшой папин домик в деревеньке Лиссем, в предместье Бад-Годсберг под Бонном, был светел и ультрасовременен: много стекла, мало стен, функциональная мебель. В крохотном садике при входе росли под березой, выстроившись по росту, три волнушки. Окна столовой и детской выходили на маленький внутренний дворик, где Дарья любила рисовать. В кабинете стоял внушительных размеров стол, заваленный рукописями, журналами и газетами. Быт в Германии папе был не в тягость. Раз в неделю приходила пожилая немка в выутюженном халате, наводила порядок в ванной и на кухне, пылесосила светло-серое ковровое покрытие, а со всем остальным он справлялся сам. Возил меня в посольскую школу (несколько месяцев я училась в ФРГ), стирал наши и свои джинсы в стиральной машине, ездил в супермаркет, забивал холодильник овощами и йогуртами на всю неделю, лихо жарил на обед ребрышки. Перед тем как сесть за стол, открывал килограммовую банку икры и давал мне чайную ложку — как рыбий жир. Вообще-то пограничники позволили ему провезти эту икру для представительских целей, но он — идеальный родитель — подкармливал и меня... Раз надо было принять графа Ланздорфа — брата одного из тогдашних министров и будущего культурного атташе в Союзе. Он приехал с женой и двумя маленькими сыновьями, и папа придумал замечательное угощение: разрезал пополам несколько авокадо, вынул косточки и положил по ложке икры. Поскольку стоимость двух килограммов черной икры равнялась в ФРГ стоимости неплохого «мерседеса», графская семья была от папиного приема в восторге...

По вечерам мы надевали спортивные костюмы и чапали (папа — с удовольствием, я — с большой неохотой), старательно обегая важных слизняков, неторопливо ползших по узкой асфальтовой дороге, через поле, по которому, смешно подкидывая попки, прыгали зайцы, мимо не спеша прогуливавшихся соседей, при каждой встрече — обязательное «гутен абенд», в лес.

...Шумят высоченные, как корабельные мачты, сосны и ели, загадочно шелестят пронзительно-зеленые папоротники, клубится в лучах заходящего солнца туман, самозабвенно курлычат в чаще дикие голуби. Мы пробегаем километр, два, три, четыре. Открылось второе дыхание, и я уже не злюсь «на злого пасю», вытащившего на пробежку. Время от времени он останавливается, отжимается от деревьев и мы чапаем дальше. Папа бежит небыстро: «Не надо пижонить, Кузьма. В пробежке важна не скорость, а возможность хорошенько пропотеть».

Возвращаемся. Темнеет. В домах за чистыми оборчатыми занавесками зажигается свет. Мы переходим на шаг, идти удивительно легко и радостно. «Никогда не бойся выйти на пробежку, — говорит отец, — даже если на улице холодно и промозгло, натяни кеды, ветровку и чапай. И если идет дождь, чапай, ничего. Поверь мне, преодолей себя. И пусть улица пустынна, и лужи кругом, и деревья гнутся от порывов ветра, и свет фонарей отражается в ряби луж. Ты будешь чапать и в какой-то момент обязательно почувствуешь, что счастлива, потому что шум дождя и преодоление самого себя — это прекрасно».

Все чаще папа говорил о кратости времени, ему отпущенном, все позднее засыпал, за полночь засиживаясь за письменным столом, все раньше просыпался — в шесть часов полоска света пробивалась сквозь приоткрытую дверь комнаты — он читал. У него пахло табаком и лекарствами: на столике возле кровати стояла сумочка, доверху набитая сосудорасширяющими снадобьями. Чуть только менялась погода — у отца схватывало затылок. Он проглатывал пригоршню таблеток, и боль отпускала. Зайдя к папе, я присаживалась на краешек кровати и он читал мне наизусть «Евгения Онегина», любимым был отрывок «А мы, ребята без печали, среди заботливых купцов...» и «Мцыри». Читал без актерской аффектации и надрыва, очень спокойно, тихо и грустно. И жаль мне было Мцыри до слез.

В Париж папа поехал, чтобы взять интервью у дряхлеющего, но по-балетному подтянутого Сержа Лифаря. Остановились мы тогда в пыльной, очаровательно-запущенной квартире Джульетты — лучшей подруги Таточки. Джульетте было 87 лет. Год назад сбылась ее давнишняя мечта — она искупалась в Байкале при температуре воды +8°. В то лето Джульетта уехала погостить в замок к сыну, в Прованс, а ключи оставила нам. Занесли чемодан в квартиру и побежали на Елисейские Поля. Елисейские Поля начала 80-х — не теперешние — ухоженные и упорядоченные за то время, что

Ширак работал мэром Парижа. Тогда это было сплошное, хаотичное, беспорядочное мелькание огней реклам. Я невольно сжалась от неонового полыхания, а отец шел чуть сзади, добро посмеиваясь надо мной, растерявшейся. Одет он был в свою «униформу» — вытертые джинсы, кожанку да еще серебряная серьга в ухе. Кто-то ему сказал, что серебро обостряет зрение, и, страдавший от необходимости носить очки, он поддался, проколол левое ухо. Серьга оказалась призывным знаком для голубых. Папа с ужасом понял это на первом же брифинге в Бонне: молодые люди с тонкими голосами так и льнули к нему, похлопывая по спине и нежно улыбаясь. Серьгу папа со свойственным ему упрямством продолжал носить, молодым людям давал жестокий отпор. Вот и на Елисейских шуганул вихляющей походкой подплывшего юношу в костюме из розового шелка и мигающих лампочек.

В полдень августовский Париж зноен, асфальт раскален, устало перешептываются поникшие от жары деревья на бульварах. Город парижанами брошен до сентября, под палящим солнцем бродят туристы.

Сначала отец водит меня по местам Хемингуэя, потом по Лувру. После покупает на площади перед музеем заводного голубя, который летает, тревожно трепеща хрупкими крыльями из блестящей фольги, и мы отправляемся в музей Родена на рю Варенн. И отец открывает мне великую нежность «Поцелуя», трагическую неистовость скульптуры Бальзака, бесконечную печаль «Мыслителя» и подводит к знаменитому триптиху. Маленькие карабкающиеся по отвесной скале человечки, срывающиеся в пропасть, поражают меня, тринадцатилетнюю, но не под силу мне провести трагические параллели (Да здравствует неведение отрочества, и как следствие его, радость бытия!). А потом, в маленьком кафе в саду при музее, за белым столиком под полосатым зонтом папа угощает меня черничным тортом. Солнечно, пахнет розами и кофе. Важно, как парижские рантье, расхаживают по посыпанным гравием дорожкам голуби и суетливо купаются в пыли воробьи. Отец молчит и улыбается.

Срок — веселью, грусти — мера,
Смысл порочного примера,
Необъятность бытия,
И непознанность причины,
В чем-то наподобье мины,
Или таинству огня,
Или алогизму слова...
Что-то подтолкнуло снова
К рассуждению меня.

...В Бонне мы время от времени заезжаем к папиной кузине Вере и ее мужу Эдуарду Мнацаканову: оба добры, деликатны, интеллигентны. Эдик — корреспондент ЦТ и еженедельно, смешно тараща глаза, обстоятельно вещает на Москву о политическом бесправии, безработице и забастовках, а по вечерам шепчется с Верой об ужасе, творящемся дома. Когда им приходит мысль привезти на каникулы двухлетнюю внучку, оказывается, что нужно просить разрешения в ЦК. Эдик просит, с замиранием сердца ждет ответа. Продолжает делать репортажи о капиталистических беззакониях.Трагическая двуличность эпохи, что страшнее компромисса с собственной совестью?

Раз в Мюнхене отец навещает запойного — глаз не видно — русского эмигранта Лебедева. Попав в плен, он остался в Германии, женился на немке. Весь вечер мы слушали его рассказы о фронте, лагере, послевоенных мытарствах, а тихая фрау «Лебедефф» жарила к ужину грибы, собранные нами утром в лесу...

На улице папа сказал мне: «Горестна ложь, но полуправда еще горестнее и страшнее. Бедняга оттого пьет по-черному, что никому не может рассказать всего».

В этом отношении счастливым человеком была Багаля. Она ни в чем не сомневалась, ничего не таила, не задавала себе лишних вопросов. Плакала, когда в программе «Время» сообщали об очередной поездке Леонида Ильича в капиталистический лагерь: «Умница, — летает, работает, — все для нас!» Штудировала передовицы, свято веря во все, что читала. Когда приехала в гости к папе и он ее спросил: «Мамочка, что бы тебе хотелось посмотреть в ФРГ больше всего?» — она, ни секунды не раздумывая, ответила: «Музей Карла Маркса!»

Так, в один воскресный день, мы поехали в Трир, на родину беспокойного бородача. К торжественному случаю Багаля надела свое самое красивое платье. Вообще-то она была великим аскетом: деньги, которые папа ей регулярно давал, берегла (пригодятся внучкам), отказывалась покупать новые вещи, годами донашивала старомодные наряды, будто сошедшие с рекламных плакатов 50-х годов, но тут принарядилась, даже чуть подмазала губы и всю дорогу возбужденно сверкала глазами. Она была коммунисткой с пятидесятилетним стажем и с гордостью носила значок «50 лет в партии», но папа утверждал, что по степени сознательности бабушка в рядах уже лет семьсот.

Зайдя в музей, мы водим Багалю от экспоната к экспонату — она глубоко дышит, глаза ее поблескивают. Возле ге-

неалогического древа семьи Маркса, восходящего к XVI веку (один из родоначальников — всеми уважаемый раввин), она уже не может сдерживать переполняющих ее чувств и начинает громко рыдать. Отец (так никогда в ряды не вступивший) сочувственно похлопывает бабушку по плечу и отходит в сторону, я давлюсь от смеха. Просветленная Багаля вытирает слезы и счастливо улыбается.

— Мамочка, а что же делать с прадедушкой Маркса — раввином? — шутит папа.

— Тише, мальчик, это империалистическая пропаганда!

Возвращаемся в Бад-Годсберг. По дороге отец останавливается в раскинувшихся по берегу Рейна маленьких деревеньках, славящихся своим виноделием. Заводит меня в сады виноделов, и в холодных темных подвалах, заставленных почерневшими от времени винными бочками, перехваченными зелено-медными обручами, хозяин с мозолистыми руками и командным голосом обстоятельно рассказывает нам об урожае, о заморозках, хвалит виноград и наливает в крохотные рюмочки молодое, сразу же ударяющее в голову вино.

Клаус Мэнарт был худ, стар, горбонос, а густые, кустистые брови придавали ему вид хрестоматийного немецкого профессора. Он и был профессором, специалистом по славянскому миру. Его дом в Шварцвальде (Черном лесу) стоял среди высоченных разлапистых елей, и редко когда солнцу удавалось осветить огромную библиотеку и по-немецки уютные спальни. Жена профессора давно умерла, и последние годы семидесятипятилетнего Мэнарта скрашивала тридцатилетняя пухленькая Аника — хорошенькая веселая немочка со вздернутым носом, которую он часто брал с собой в путешествия. Из Египта Аника вернулась с синяками на попе и спине — исщипали темпераментные местные жители. Больше всего ее огорчило то, что ни одному из нахалов не удалось дать пощечину. Щипали на улице, и когда она с возмущенным визгом оборачивалась, то натыкалась на невозмутимые лица прохожих — попробуй угадай: кого бить?!

Оттого ли, что Аника искренне восхищалась старым мудрым Мэнартом, оттого ли, что он относился к ней скорее как к дочери, нежели как к женщине, смотрелись они не смешно, а трогательно.

Я заметила, что стоило отцу почувствовать в ком-то искренний интерес к России, как он моментально проникался к этому человеку симпатией. Так получилось и с Мэнартом. Он тогда работал над книгой «Что русские читают? Что русские смотрят?» — о литературных и кинематографических вкусах россиян, и папа помогал ему, как мог. Педантичный Николай Германович (так мы его звали на русский лад) писал книгу, как серьезный научный труд, несколько раз ездил в Россию, встречался с писателями, читателями, библиотекарями и архивариусами; много говорил с папой, а в результате получился увлекательный бестселлер, раскупленный в Германии за несколько дней. Мэнарт тогда ликовал. Папа приехал к нему в Шварцвальд, Аника гостила у родителей, и старый профессор дурачился, как мальчишка. Во время прогулки по пахнувшему смолой, хвоей и грибами лесу прятался за елкой и появлялся, сгорбившись, натянув на голову плащ и опираясь на корявую клюку.

— Ха-ха-ха, Олечка. Ты знаешь, кто я? — противным голосом вопрошал он меня. — Да-а-а, я — Баба-яга! — И пускался за мной вдогонку...

...Через год Николай Германович приехал в гости к папе в Москву, привез нам с Дарьей украшения из серебра с лазуритом и бирюзой из Латинской Америки, был весел и улыбчив.

— А где же Аника? — огорчилась я, поняв, что в этот раз он приехал один.

— О, я купил ей книжный магазин, — гордо улыбаясь, ответил профессор, — у нее теперь много работы.

Я порадовалась и чуть позавидовала Анике, которая могла теперь целыми днями сидеть в собственном магазине, принимая умных посетителей и читая любые книжки, поблагодарила Николая Германовича за подарки и больше его не видела, занятая школьными делами. А через несколько месяцев, в ноябре 1983 года, папа получил по почте письмо с черной каемочкой: «Сорок лет назад ясновидящая индианка в Нью-Дели сказала мне, что я доживу до восьмидесяти четырех лет, то есть до 1990 года. Она оказалась плохой предсказательницей. Когда вы прочтете эти строки, меня не будет. Этим летом у меня обнаружили рак желудка и стало ясно, что смерть близка. Чтобы не обрекать себя на бездействие в госпитале, которое могло бы продлить мою жизнь на несколько недель, я решил уйти сейчас. Закончив книгу о русских, которую прочла вся Германия, я писал статьи, вы-

ступал по радио и телевидению и порой чувствовал, что у меня просто нет времени умереть. Но теперь финал близок. Разумеется, я бы предпочел, чтобы сбылось индийское предсказание. Я хотел бы жить, радоваться прекрасному и не жаловаться на тяжелые времена. Но я умираю, как часто говорят, после насыщенной жизни. Я не испытываю страха. Скорее любопытство. Что будет? Увижу ли я моих родителей, братьев и мою любимую Энид, которая, умирая, прошептала мне на ухо “до завтра”. Или я буду спать без снов, как спал всегда после тяжелого дня работы? Или это будет абсолютно отлично от всего, что мы себе представляем? Когда вы прочтете эти строки, я уже буду знать.

Мои мысли обращаются ко всем вам — моим друзьям и коллегам. В большой мере благодаря вам я был счастливым человеком. Я желаю вам всего самого лучшего. Храни вас Бог».

Это письмо, как пример настоящего мужества, папа берег среди самых дорогих своих бумаг.

В ГОРАХ МОЕ СЕРДЦЕ...

«В горах мое сердце» — так называется грустный папин рассказ. В нем он описывает несколько дней, проведенных в Закопане, в семейном пансионате, пропахшем свежевыпеченным хлебом и кофе, у старенькой хозяйки с седыми буклями. Отец приехал туда после журналистского визита Варшавской кардиологической клиники. Он ходил с главврачом по детскому отделению и смотрел на крохотных младенцев с голубыми ноготками и губами — все они были обречены.

Отрывок из рассказа «В горах мое сердце».

Огоньки в горах уже не перемигивались, над Закопане лежала тишина и только где-то далеко звенели бубенцы. Когда я лег в холодную постель, то вдруг почувствовал себя так, как однажды дома, тогда я сидел ночью один и работал. А передо мной стоял черный телефонный аппарат. Я позвонил приятелю и спросил:

— Ты знаешь мой новый номер?

— Нет.

Он записал.

— Пока, — сказал я и положил трубку. А через минуту он позвонил ко мне и спросил:

— Добрый вечер, старина, как поживаешь?

— Спасибо, уже лучше. А ты?

— А я, как всегда, хорошо. Спи.

Мне тогда стало спокойно и здорово после его звонка. А сейчас я лежал, смотрел на горы и пытался уснуть. В дверь тихо постучали.

— Доброй ночи, пан, — раздался голос старенькой хозяйки.

— Доброй ночи, пани! — ответил я, улыбнувшись, и сразу же уснул.

Горы папа любил всегда, несколько раз вывозил всю семью, но на горные лыжи впервые встал поздно, в 49 лет, в Швейцарских Альпах. Его понесло по склону, он врезался в «горнопляжницу», спокойно загоравшую в шезлонге. Напугал ее, в кровь разбил себе нос. Тогда и дал слово научиться кататься. Начал, вернувшись в Союз, в Бакуриани. Утром катался, все остальное время писал роман «Смерть Петра», второй в серии исторических романов «Версии». Отец был убежден, что Петр Первый умер не своей смертью — его убили, чтобы помешать завершить превращение России из отсталой азиатской страны в великую державу со школами, мануфактурами и флотом. Убили российские консерваторы, страдавшие по прекрасной старине и проклинавшие «Антихриста», но смерть эта была прежде всего угодна Европе, начавшей опасаться российской мощи. В этом романе мне больше всего нравится фраза: «Ну кто, когда и где придумал, что истинно русский только тот, кто евангельскому несопротивлению прилежен, жив созерцанием, а не делом, угодным только Царству западного Антихриста?! Кто и когда это сочинил, пустив в оборот? Не русский, только не русский! Тот, кто страшится русского замаха, русского дела и спора русского!»

Затем последовали романы «Гибель Столыпина» и «Псевдоним» — о злоключениях О. Генри. Но эти вещи папа писал в Крыму и Карловых Варах, а в горы ездил с нами исключительно для катания. Почти всегда выбирал Домбай, где останавливался в отеле у Магомета Конова и Юры Примы. Там собиралась большая разношерстная компания. Нейрохирург, академик Коновалов, кинооператор с «Мосфильма» Игорь Бек, молоденькая актриса Александра Яковлева с мужем и двумя детьми, известный в те годы в Москве Валера Барунов, поставлявший западные видеоновинки всем знаменитостям, до черноты загоревший старый физик, начавший кататься еще в 60-х, которого, несмотря на преклонный возраст, знакомые звали Санечка, и несколько коренастых бородатых мужичков, похожих на гномов, — все в дорогих спортивных костюмах, тяжелых перстнях, с холеными женами — столичные валютчики. Раз один из них — самый коренастый — не приехал. «Чалится парень?» — авторитетно спросил отец остальных. Уважительные крепыши в унисон закивали головами: «Чалится, Юлиан Семенович, — и с гордостью добавили: — Старшенький его тоже утюжить пошел у "Националя", мы за ним приглядываем!» Папа не пользовался их профессиональными услугами — у него, несмотря на бандитские замашки ВААПа, забиравшего у писателей 99 процентов гонорара за заграничные публикации,

набиралось достаточно долларов на валютном счете, — романы о Штирлице печатались с большим успехом в США, Англии, Испании и Франции; но искренне им симпатизировал, не квалифицируя их деятельность как преступную. Он справедливо считал и писал, что, намеренно запрещая дело наиболее толковым и предприимчивым, государство само толкает их в валютную спекуляцию и теневую экономику, а значит, и винить, кроме системы, некого. Зато жалел, что у нас не введена публичная смертная казнь за изнасилование или убийство ребенка. Первым узнавая от друзей — сыщиков с Петровки — об этих жутких преступлениях, обычно очень миролюбивый, жаждал крови: «Четвертовать бы пару раз на лобном месте убийцу и насильника — другим подонкам неповадно станет!»

Просыпался отец в горах затемно, еще раньше обычного, прокурив до синевы номер, правил рукописи, привезенные из Москвы, потом пил настой трав: зверобой, шиповник, грудной сбор — сам его придумал, свято верил в целебность, а после натягивал джемпер, темно-синий лыжный костюм. И мы отправлялись к подъемнику.

В феврале в горах почти всегда солнечно, небо так лазурно, что даже вода в лужах на извивающейся змеей мокрой асфальтовой дороге становится голубой.

Тают огромные сосульки, свисающие с крыш деревянных домиков, разбросанных по склону, в воздухе тянет дымком и талым снегом, а в шум ветра, гуляющего среди высоких сосен, вплетается простенькая песенка синичек. Идти трудно: ботинки, висящие на шее, тяжелы, лыжи режут плечо. Отец останавливается, прищурившись, глядит на солнце:

— Ночью шел снег. Склон сегодня замечательный, покатаемся на славу. Вперед.

— Я устала. Жарко.

— И не думай снимать джемпер, пар костей не ломит. И, кстати, способствует похудению. Я тебе уже говорил — нет ничего прекраснее преодоления самого себя. Вперед!

По канатке поднимаемся к вершинам. Кругом только переливающийся на солнце снег. На склоне красным, синим, зеленым сверкают костюмы лыжников. Они спускаются коротенькими зигзагами, такими стремительными, что снег за их спинами взмывает маленькими буранчиками. Надо съезжать и мне. Я — новичок, на горном жаргоне «чайник».

— Валяй, Кузьма, бесстрашно. Не размахивай палками и не отклячивай попу.

Спускаюсь из рук вон плохо, трусливо приседая и подолгу выбирая место для поворота. Дождавшись, пока я оста-

новлюсь, отец отталкивается палками и не спеша съезжает сам. Без пижонства аса, без судорожности новичка, по-боксерски собравшись, достойно. К полудню, когда солнце начинает нещадно жечь, и глаза, если не надел темные очки, слезятся и горят, будто засыпанные песком, мы возвращаемся в отель. Вечером отца заваливают приглашениями. Иногда удается отвертеться, чаще — соглашается, «неудобно обидеть людей, приготовили стол». Гудит он до полуночи, накачиваясь любимой смирновкой, произнося потрясающие, каждый раз новые тосты, отплясывая с поклонницами в баре. Добравшись до номера, обваливается в постель. Стаскиваю с отца, спящего, ботинки, прикрываю дверь его комнаты (иначе не заснуть, храпит он по-богатырски). Полнолуние. В холодном лунном свете заснеженные горы таинственно, нереально красивы. Поблескивают голубым ледники. Звезды близки и ярки — завтра будет солнечно, а значит, мы снова пойдем на самый верх...

Как я уже говорила, папа отличался редкой искренностью, но любил разыгрывать.

Вспоминает академик Евгений Примаков.

Вот одна из последних наших встреч. Конец восьмидесятых, я отдыхал в «Мицави», это в Боржоми. Приехал секретарь райкома и говорит: «У нас в Бакуриани остановился Юлиан Семенов. Страшно вас просит приехать на завтрак». Приехал. Юлиан был окружен грузинскими парнями, которые смотрели ему в рот. Они могли им восхищаться — в нем было столько обаяния, и это могут признавать или не признавать, но читали-то его больше, чем других... И вдруг Юлика понесло, он опять начал играть. Я тогда никакого отношения к КГБ не имел, а он говорит:

— Вы знаете, кто за этим столом сидит?

— Я — полковник КГБ, а Евгений Максимович — генерал!

После этого секретарь райкома решил, что я не открываю мою настоящую профессию, и стал относиться ко мне с огромным почтением и чуть-чуть бояться меня.

Когда идешь в крутой вираж
И впереди чернее пропасть,
Не вздумай впасть в дурацкий раж.
Опорная нога — не лопасть.

Когда вошел в крутой вираж
И лыжи мчат тебя без спроса
И по бокам каменьев осыпь,
Грешно поддаться и упасть.

Прибегни к мужеству спины,
К продолью мышц, к чему угодно.
Запомни: спуски не длинны,
Они для тренажа удобны...

Иди в вираж, иди смелей,
Ищи момент врезанья в кручу,
Судьба еще готовит бучу
Тем, кто Весы и Водолей.

И наконец опор ноги,
Буранный снег под правой лыжей
И солнца отблеск сине-рыжий,
Но самому себе не лги.

Не лги. Иди в другой вираж,
Спускайся вниз, чтобы подняться,
Не смеешь просто опускаться,
Обязан сам с собой сражаться,
Чтоб жизнью стал один кураж,
Когда смешенье света с тенью,
Несет тебя, как к возрожденью,
А в снежной пелене — мираж.

МУХАЛАТКА

С начала 80-х папа все чаще наведывался в Крым, в Ялту, где, в отличие от Абхазии, ему удавалось избегать шумных пиршеств. В Ялте отцу легко дышалось и радостно работалось.

Вспоминает журналистка Татьяна Барская.

В августе 1982 года в Доме творчества Союза писателей, как всегда, был полный аншлаг. Это литературный олимп хранил память о Паустовском, Маршаке, Фадееве, Твардовском, Луговском, Каверине, Окуджаве, Вознесенском. Легче назвать тех, кто тут не бывал. Проходя мимо нашей редакции газеты «Советский Крым» (ныне «Крымская газета»), которая размещалась тогда на полпути от Дома творчества к набережной, писатели непременно к нам заглядывали, приносили отрывки из будущих книг. Мы их печатали на традиционной литературной странице «Воскресное чтение».

Юлиан Семенов появился неожиданно. Он вообще оказался непредсказуемым. Экспромт, импровизация были свойственны его натуре. Этим он был интересен и привлекателен. Накануне взволнованный фотограф Валерий Макинько рассказал мне, что встретился на Ялтинской киностудии с Семеновым и сфотографировал его! На следующий день во дворе редакции появился плотной комплекции бородатый человек в рубашке защитного цвета с большими карманами на груди, из которых выглядывали авторучка и пачка сигарет. Представился: «Юлиан Семенов. Прошу любить и жаловать». Все последующие годы нашего с ним общения и сотрудничества были верны этому призыву: любили и всегда жаловали. На протяжении многих лет на страницах нашей газеты печатались главы из его будущих книг, над которыми он работал в гостинице «Ялта», в Доме творчества писателей, в санатории «Россия». Все гонорары просил перечислять в Фонд мира. Вскоре Семенов

стал своим человеком в городе. Он вникал во все проблемы, связанные с развитием туризма, культуры, музеев, в частности очень близко к сердцу принимал судьбу Ливадийского дворца. Предлагал создать при нем Центр международных исследований «Восток — Запад»...

...На читательскую встречу с Юлианом в кинотеатре «Сатурн» в декабре 1982 года собралось более тысячи зрителей. Он появился на сцене легко и стремительно. Контакт с залом возник мгновенно. Его слушали затаив дыхание. Ни один вопрос не остался без ответа. Любимой формой общения оставался диалог. Зрители даже не подозревали, что перед ними стоит человек с температурой 39, простуженный, буквально за несколько минут до встречи поднявшийся с постели. Когда мы, организаторы встречи, пришли к нему в Дом творчества и увидели, в каком он состоянии, стали уговаривать перенести ее на другое время. Он решительно сказал: «Ни за что! Ведь там же собрались люди!» Помимо писательского таланта он еще обладал огромным даром любви и уважения к людям, какого бы звания и положения они ни были...

Поражали его общительность, открытость, неуемная работоспособность и вместе с тем какая-то моцартовская легкость. Юлиан будто жил вне времени. И я не удивлялась, когда в двенадцатом часу ночи раздавался телефонный звонок и он, хриплым голосом произнеся свою обычную фразу: «Значится так», — начинал диктовать поправки к очередной газетной публикации.

В 1983 году папа написал в Ялте второй роман из цикла «Версии» об убийстве Столыпина.

Вспоминает актер Лев Дуров.

В отеле «Ялта» я оказался однажды в постели Семенова. «Зайди ко мне!» Зашел. Огромный номер и огромная двуспальная кровать болотного цвета. Вокруг этого болота груды книг и исписанной бумаги. «Ложись, — сказал он мне, — так как сидеть негде». Юлиан ложится рядом и спрашивает: «Хочешь я тебе прочту несколько глав из книги о Столыпине?» И начал читать. Это было безумно интересно. Художественное историческое исследование. Сколько материала перелопатил! И эти груды книг были маленькой толикой его источников!

Три дня я провел в номере Юлиана. Он читал мне Столыпина. В доме отдыха «Актер» меня считали исчезнувшим, а когда я вернулся, то честно сказал: «Три дня провел в постели Юлиана Семенова».

...В Крыму папа старался вести правильный образ жизни: избегал компаний, мало ел, не курил. Без сигарет он продержался два года, что было для него — заядлого курильщика — настоящим подвигом. А бросил он курить вот почему. Раз в Германии, в Лиссеме, ночью, отец очень отчетливо услышал во сне суровый мужской голос: «Дурак, брось курить, — детей сиротами оставишь!» Проснулся в холодном поту, решил, что услышанное — совет свыше, и наутро о сигаретах забыл. Продолжал бегать трусцой, некоторые пробежки отличались оригинальностью.

Вспоминает актер Лев Дуров.

Я снимался и жил в доме отдыха «Актер». При этом регулярно ходил в гостиницу «Ялта», в которой был бассейн. И вот однажды, только я спустился по лестнице, увидел пробегающего таким мелким-мелким шажком в трусах и майке Юлиана Семенова. Мельком взглянул на меня и бросил через плечо: «Левочка, присоединяйся». Я почему-то присоединяюсь и таким же мелким шажком бегу по бетонной дорожке. «Я каждое утро бегаю трусцой. Ты бегаешь?» — обращается он ко мне. Смущенно говорю, что нет. «Вот теперь будешь бегать». Итак, мы бежим, а он говорит: «Сейчас добежим до палатки, а потом побежим в обратную сторону». И только мы подбегаем к палатке, оттуда моментально «высовываются» два фужера с апельсиновым соком. Юлиан комментирует: «Так, принимаем коктейль "Юлиан Семенов" и бежим обратно». Я начинаю пить и понимаю, что это не совсем апельсиновый сок, а сок с чем-то очень крепким! Но рассуждать некогда — надо бежать в обратную сторону. Так, а обратная сторона где кончается? Правильно, у той же палатки с коктейлем «Юлиан Семенов». Не помню точно, сколько кругов мы сделали, но мне сделалось уже совсем жарко, а чувствам — возбужденно.

...Папа проводил в Крыму больше времени, чем в Москве, и встал вопрос о приобретении там жилья. Ни один человек в Союзе не имел права иметь собственность в союз-

ной республике. Живешь в РСФСР, значит, дом в Крыму купить не можешь. А уж если купил, то изволь отдать государству московскую квартиру и прописаться на Украине. Папа же, мечтая о даче под Ялтой, совсем не хотел терять жилья в Москве. В конечном итоге он стал первым и, думаю, последним человеком, добившимся двойной прописки. Началась эпопея с покупкой дома в Мухалатке.

Вспоминает актер Лев Дуров.

Когда после «горячительной пробежки» Юлиан сказал мне: «Меня там кое-кто ждет в номере, и я надеюсь, что ты примешь участие в одном деле», об отказе с моей стороны не могло быть и речи. В номере его действительно ждал человек крупных габаритов с огромным портфелем. Увидев его, Юлиан скомандовал: «Едем покупать дачу!» Втроем мы сели в машину и поехали в Алупку. Товарищ с портфелем был директором карьера, приятелем Юлиана, приглашенный, так же как и я, поучаствовать в одном деле. Наконец мы подъехали к какому-то зданию с часовыми. Нам козыряют и открывают ворота. Далее коридоры, кабинеты, в одном из которых произносится: «Товарищ Семенов, все в порядке, все оформлено, печати есть, подписи есть, пожалуйста!» Вручаются какие-то документы. В ответ произносится «Спасибо» и начинается обратный ход по коридорам. Все это сопровождается бесчисленным козырянием и демонстрируемым почтением. Садимся в машину и едем в деревню Мухалатку. Оказывается, мы были в каком-то «компетентном органе», без санкции которого в то время в Крыму невозможно было ничего ни купить, ни продать. Очевидно, оказать услугу для Юлиана Семенова, который достаточно серьезно и много писал о работниках этих органов, им было весьма приятно.*

И вот мы въезжаем в Мухалатку, образно говоря, на руины бывшего дома. Продавец руин, по лицу давно и сильно пьющий мужчина, просто счастлив был избавиться от своей недвижимости. Он с радостью подписывает бумаги, а подошедшие представители местной власти тоже ставят свои подписи. При этом последние говорят: «Только, товарищ Семенов, вы знаете... Вы должны придерживаться параметров вот этого... вот этих... Этой руины. Вы не имеете права расширяться». Я, поминая наш прием в «компетентном доме», ожидаю от Юлиана полного разворота и в словах, и в действиях, а он без паузы, твердо так: «Хорошо. Пойдем вверх!» Не знаю, во

---

* Василий Иванович Шайдук.

сколько этажей он выстроил дом в Мухалатке, но главное — вверх, а не вширь. По закону, а не по беспределу.

На обратном пути в гостиницу мы встретили на шоссе понурую группу киношников, снимавших какой-то фильм с участием Андрея Миронова. Стоп! Юлиан выскакивает из машины и залихватски командует: «Вперед! Танки вперед! Кавалерия вперед! Ура! И потом все в корзину!» Киногруппа опешила, оживилась, а Юлиан тут же прыгнул в машину и сказал: «Поехали!» Я только в зеркальце разглядел в недоумении расставленные руки Андрея Миронова. Когда приехали в «Ялту», в огромном портфеле нашего коллеги по экспедиции оказались не бумаги, а много вкусного и веселящего.

Извивающаяся среди дубов, лавров и кипарисов узкая горная дорога, крошечные покосившиеся домики, крик петухов на рассвете, притворно сердитый лай собачонок и молчаливые старухи в стоптанных кроссовках на босых, коричневых от загара ногах, копошащиеся на огородах, — вот она, деревня Мухалатка, называемая еще Олива.

Дуров был прав, дом не мог превышать по размеру крохотную, еле заметную в зарослях лопухов и малины руину — 22 квадратных метра. Не густо, если учесть, что папа мечтал о столовой, кабинете и трех спальнях! Но самое печальное выяснилось позднее — вверх идти тоже было нельзя! Жили-то, как он горько шутил, в «Нельзянии». Отец почесал в затылке, вспомнил свое любимое: «Что не запрещено, то разрешено» — и нашел-таки выход из критического положения, прибегнув к магическому термину «нежилое помещение». Так на плане первого этажа будущего дома возникли одна жилая комната в 22 метра и две маленькие мастерские (на самом деле кухня-столовая и кабинет), а низенький второй этаж с тремя небольшими комнатками прошел, как книгохранилище. Сейчас-то туристы, заходящие в дом (шесть лет назад я открыла его для бесплатного посещения), умиляются: «Батюшки, такой был знаменитый писатель, а как скромно жил!» Но тогда это было невиданной роскошью! И как же эмоционально объяснял папа строгим товарищам из бесконечных комиссий, бюро и управлений, что без мастерской и книгохранилищ писателю «никак нельзя», и как же радовался, когда те, многозначительно помычав, поставили желанные закорючки в нужных бумагах и планах и благополучно отбыли со стопками «мгновений»!

И тут началось самое страшное — стройка. Насколько отец был проницателен в построении сюжета и хитроспле-

тении интриг, настолько наивен и доверчив в строительных делах. Возле него появился полковник Беликов, одновременно возводивший в Форосе огромный гостиничный комплекс для партийной верхушки — с джакузи, бассейнами, мраморными полами и прочими буржуазными излишествами. Папе из этих роскошеств не перепало ничего, кроме рабочей силы. Под началом Беликова находилось бесчисленное множество солдатиков из стройбатов. Сам же Беликов подчинялся, в обход военным и партийным иерархиям, одному человеку — своей жене Валентине. Ее он уважал, любил и панически боялся. Мадам Беликова носила высокие прически и яркие платья с вырезами, щедро обнажавшими грудь, в строгости воспитывала дочь и постоянно ездила с шофером на мужниной «Волге» раскинуть картишки к старой мухалаткинской гадалке Раисе Алексеевне Вензель. Поняв, что папа будет клиентом непривередливым и щедрым, Беликова (в молодости штукатур) решила тряхнуть стариной, облачилась в серый комбинезон и возглавила стройку в Мухалатке, с уверенностью маршала Жукова командуя подчиненными мужа. Отсутствие строительных навыков заменялось у солдатиков молодой энергией и энтузиазмом: из кругленьких сумм, выдаваемых папой Беликовым, что-то перепадало и им, и трудились они подчас с излишним рвением. В результате дом построили на века, но глупо и бездарно. Кирпичные стены оказались толщиной в метр, окно в кухне-столовой — крохотным, вагонка на потолке была прибита огромным количеством гвоздей — десятки блестящих шляпок сияли по центру каждой доски, печка не грела, потолок в «книгохранилище» оказался так низок, что, входя, мы чуть не стукались об него головами. По-настоящему хорош был только камин в кабинете — высокий, выложенный бело-синими изразцами, и вид из окна: кипарисы, море и цепь гор.

На небольшом, очень крутом участке за домом папа сделал пять бетонных террас, сразу же посадил на них яблони, черешни и персики, а в маленьком дворике перед домом — две пальмы, кипарис, вьющийся виноград и розы. Все это немедленно принялось, зазеленело, закустилось и заблагоухало, и казалось, что небольшой домик, завитый виноградом, стоял здесь с незапамятных времен.

Папа был в Мухалатке абсолютно счастлив. Нисколько не переживая из-за безалаберности дома, он его моментально обжил, на стенах развесил фотографии Хема, Кармена, Шаляпина, Шпеера, барона Фальц-Фейна, хвалебные письма Сименона, Хаммера, Джона Стейнбека и Юрия Бондаре-

ва в рамочках, картины Дарьи, расписные тарелки, шпаги, пистолеты и ножи. На камине расставил любимые сувениры: обломок американского самолета из Вьетнама, бумеранг из Австралии, копье аборигенов с отравленным наконечником, огромный рог с инкрустацией и деревянную фигурку монаха в плаще, горестно облокотившегося на посох. Установил по всему дому полки с книгами. На втором этаже на таких же полках красовались ряды светившихся на солнце банок с вареньем. Его варила худенькая, по-старчески сморщенная соседка Леля, не расстававшаяся с «Беломором». Она стала папиной «домоправительницей» — так он ее называл, не терпя выражение «домработница», и блестяще вела хозяйство и занималась садом. Леля обожала поддать, но на работоспособности ее это никак не отражалось. Дом сверкал, на широченном, во всю небольшую кухню дубовом столе каждое утро стояли свежий букет выращенных ею цветов и тарелка только что собранных персиков и черешни.

Папа проводил в Мухалатке часть весны, лето и осень. Мы приезжали на летние каникулы. Он встречал нас, сияющий, загоревший, в шортах и шлепанцах на перроне в Симферополе, сажал в свою длинную желтую «вольво» (когда та одряхлела, поменял на оранжевый жигуленок) и вез по восхитительно солнечной трассе, мимо беззаботно зеленевших виноградников, недогадывавшихся о грозящей им вырубке — начиналась борьба с алкоголизмом. В дверях дома встречала Леля в переднике, крепко целовала, обдав перегаром. Радостно скакал коньком-горбунком Рыжий. Этого толстого щенка с большими лапами — помесь волка и овчарки — подарили папе пограничники. Трогательный комочек быстро превратился в огромного пса, с по-волчьи поджатым хвостом, светящимися голубым в темноте глазами и черным — признак злости — нёбом. Преданный отцу, к нам с сестрой он относился снисходительно-покровительственно и иногда, чтобы показать расположение, начинал небольно, но очень щекотно покусывать ноги — искал блох. «Рыжий, прекрати немедленно!» — визжали мы, и пес, со скорбным недоумением поглядев нам в глаза, шумно вздыхал и, обиженно ворча, укладывался спать в углу комнаты.

День в Мухалатке начинался рано. На рассвете истошно кричали петухи, потом слышалось неторопливое постукивание копыт по асфальту — это вела на горное пастбище корову хозяйственная соседка Тамарочка, позвякивали ведра соседа Миши Леднева, он нес воду с родника, потом яростно мела узенькую улочку дворничиха Люба-Люба. (Муж по пьянке избил ее раз так сильно, что она помешалась и по-

вторяла любое слово два раза, с тех пор деревенские и прозвали ее Люба-Люба.)

Папа вставал в шесть часов, гулял в горах с Рыжим и садился за письменный стол. Когда жил один, к морю не спускался, но ради нас брал пишущую машинку, кипу чистых листов и ехал в Форос. Разумеется, у отца был пропуск на пляж партийных бонзов, но он предпочитал сидеть на лодочной станции, за белым пластиковым столом, под большим зонтиком, специально для него установленным местными ребятами. Там было так тихо, что слышимо перекатывалась галька в маленьких шипучих волнах и поскрипывали сосны, чуть покачиваясь на теплом ветру. Наработавшись, отец вставал, заходил по колено в море, с брызгами нырял и долго плыл под водой, а вынырнув, шумно, как морж, отфыркивался.

Закончив очередную вещь, устраивал отдых: приезжали крымские друзья — директор гостиницы «Ялта» Владимир Михно, директор карьера Василий Шайдук (он сыграл роль директора завода в «Противостоянии»), Жора Иванов — директор образцового винодельческого совхоза — делал такое вино, что западные виноделы приезжали перенимать передовой опыт. Раз заскочила Пугачева и спела на два голоса с Лелей любимую папину песню «Летят утки и два гуся». Гостивший тогда барон (неисправимый дамский угодник) косился на молоденькую Аллу Борисовну и горестно вздыхал — рядом очень некстати сидел ее муж Болдин. К ночи заходил поддатый сосед Коля Дацун. Худой, по-петушиному жилистый, с падающей на глаза прядью седых волос, он подсаживался к столу, после третьей рюмки доверительно шептал: «Юлианчик! Брат во время войны без вести пропал, а теперь вот в Японии объявился. Фирму открыл, стервец, машины делает, “Дацун” назвал, помоги связаться». Вернувшись в свой домик, Коля добавлял еще, залезал в трусах на крышу, раскидывал сухие руки и, глядя в звездное небо, хрипло кричал на всю деревню: «Ити вашу мать, сейчас полечу!» Папа счастливо улыбался: «Россея».

В свободное время он с удовольствием принимал участие в жизни деревни, выступал судьей в спорах между жителями, всех мирил и проводил политинформацию для молодежи. Я уже говорила о папиной сумасшедшей любви к нам, дочкам. Иногда из-за этой любви, в сочетании с его богатой фантазией, происходили казусы. Самый смешной приключился в Мухалатке. Напротив нас жил все лето с семьей профессор Сегалов — хирург из Симферополя. Его сын — Миша, студент медицинского факультета, безнадежно влюбился в Дарью и, пытаясь заручиться моей поддержкой, решил ее задобрить.

— Ольга, — непринужденно сказал он раз, — после обеда мы идем с друзьями в заброшенный парк Гамалея, ты знаешь, это в трех километрах, хочешь с нами?

— Очень! Только спрошу у папы.

Папа сидел в кабинете в клубах густого сигаретного дыма и печатал на машинке.

— Пася, можно мне в парк с Сигаловым?! — прокричала я с порога в смог.

— Да-да, — ответил папа, поглощенный работой и, как я позднее поняла, не расслышавший вопроса.

Обойдя парк и прослушав Мишину лекцию о его истории, вся компания решила отдохнуть у костра и зачарованно глядела на красно-голубые язычки пламени, лизавшие сухие ветки можжевельника. В горах темнеет рано — в семь вечера мы затушили костер и потихоньку пошли в сумерках домой. Вдалеке послышались крики и топот солдатских сапог. «Что это за шум?» — встревожились Мишины друзья. «Учения, — авторитетно пояснил он, — загоняли солдатиков». Над нашими головами пролетел вертолет и, перекрывая его рев, раздался на весь лес папин зычный голос: «Оленька-а-а! Миша-а-а! Ребята-а-а!!!» Залаял Рыжий. В сгустившейся темноте мы разглядели быстро к нам приближавшегося папу с ружьем наперевес, Рыжим на поводке и еле за ними поспевавшую Лелю. «Да вот же они, Юлиан Семенович, целые, живые!» — закричала она, первой нас разглядев. «Где же вы были?! — сердито басил папа. — Я всех военных поставил на ноги, авиацию задействовал, вас ищут солдаты, я так за вас волновался!» Миша с компанией ошарашенно переглядывались — часы показывали начало девятого... Оказывается, полностью поглощенный работой, папа толком моего вопроса не расслышал, а когда оторвался от машинки и обнаружил мое «исчезновение», страшно испугался. Года за два до этого из крымской колонии сбежали двое опасных преступников и долгое время скрывались в местных лесах. Потом их благополучно поймали, но папа инцидент запомнил. Сразу заработало богатое писательское воображение: «новый бандитский побег, вся компания — в заложниках... Финки, угрозы, кровь! О ужас, дочь в опасности! Может быть, уже убита!!!» Тут и последовала «массовая мобилизация».

В километре от нас, на правительственной даче в Нижней Мухалатке, каждое лето отдыхал Андрей Андреевич Громыко и однажды пригласил папу с нами на ужин. Особняк в центре сада показался мне огромным. Громыко в легких брюках и рубашке встречал отца на пороге. Рядом сто-

яла его жена, светившаяся доброжелательностью. Мы прошли с Андреем Андреевичем по бесконечным залам с лепными потолками в большую столовую. Казенная мебель дом очень портила, но ужин, приготовленный опытным поваром, был хорош, и атмосфера установилась веселая и непринужденная. Папа, как всегда не замечавший, что ел, весь вечер держал стол, в то же время успевая «вытягивать» нужную информацию для будущей книги (готовился тогда к «Экспансии» — продолжению серии о Штирлице, оказавшемся в Латинской Америке).

Громыко, опытнейший дипломат, долгое время работал послом в США и рассказывал много интересного о том времени. Он был человеком с юмором, вкусом и хорошо, а главное, сам написал свои мемуары. Вспоминается смешной эпизод, описанный Андреем Андреевичем. В бытность его в Америке один тамошний крупный политик озабоченно заявил в публичном выступлении: «Америка должна больше думать о маленьких странах, о их интересах и проблемах. Вот, к примеру, мы совсем не уделяем внимания небольшому государству Юнеско!»...

В Крыму Громыко ценили за демократичность. До сих пор старожилы с ностальгией вспоминают, как он ходил пешочком играть с отдыхающими в волейбол в соседний санаторий: ни охраны, ни машин с мигалками... При проездах Кучмы и его свиты движение на трассах полностью останавливали, загоняя машины на обочины и держа людей под палящим солнцем по три-четыре часа. В кустах, через каждые сто метров, стоял солдатик в полной боевой готовности — не дай бог кто на драгоценного президента покусится...

...Когда Громыко не стало, папа, узнав, что его похоронят на Новодевичьем, грустно заметил: «Обманули». — «Почему?» — не поняла я. «Андрей Андреевич хотел лежать только у Кремлевской стены, и ему это в ЦК обещали».

Папу, помимо огромного количества несправедливостей и несуразностей с живыми, удивляли несуразности с усопшими. К примеру, он не мог понять, почему у Кремля оставлен Вышинский: «Это то же самое, что закопать там Гиммлера!»...

...А времена потихоньку менялись — еще далеко было до перестройки, но в гнилостной атмосфере застоя нет-нет да и чувствовалось дуновение ветерка первых изменений. Чи-

тatели политизировались, рос интерес к детективному и политическому роману. И однажды к папе приехала из Ташкента молоденькая ученая-филолог Тавриз Аронова, решительно заявившая, что собирается писать диссертацию по его творчеству. Проштудировав все произведения отца, она заключила, что он — живой классик детективного и политического жанра и заслуживает внимания научной общественности.

Вспоминает кандидат филологических наук Тавриз Аронова.

На первую встречу с писателем я не шла, а буквально летела, обуреваемая каким-то сумасшедшим восторгом и ощущением, что вот он-то меня поймет, поддержит, подскажет, направит, но главное, оценит результаты моей предварительной работы. Мною были собраны и обработаны сотни статей, очерков, газетно-журнальных публикаций о детективах и политических романах, которые хоть и не считались высокой литературой, но были настолько увлекательны и любимы народом, что нуждались в объективной научной оценке.

На встречу я пришла не одна. Меня сопровождал мой научный руководитель Алексей Васильевич Терновский. Настоящий ученый, воплощавший лучшие качества русского интеллигента: высочайшую порядочность, редкое благородство, действенную, а не слезливую доброту, энциклопедические знания, такт и какую-то, совсем несовременную по советским меркам, кротость.

По дороге мы условились, что говорить в основном будет Алексей Васильевич, а я, так сказать, — на подпевках. Ни страха, ни неуверенности я почему-то не ощущала. Было безумно интересно.

Юлиан Семенов встретил нас подчеркнуто вежливо, но в его лице мы не заметили ни малейшего интереса ни к нам, ни к моей, такой замечательно-смелой (с моей, безапелляционной точки зрения) идее. Даже Алексей Васильевич считал эту задумку слишком дерзкой, хоть и интересной... Сам Юлиан Семенов, похоже, не испытывал никакого желания подобрать хоть какие-то эпитеты к моему проекту. Он равнодушно слушал, кивал, отвечал на вопросы, оставаясь при этом несколько отстраненным. Я совсем пала духом и, понимая, что заколачиваю последний гвоздь в крышку гроба, в котором уже лежала моя идея-мечта, вдруг ринулась в бой с самим Семеновым. Я категорически отказывалась принимать его мягкое недоверие, скепсис и полное отсутствие каких-либо эмоций.

Это был не тот Семенов, образ которого угадывался во всех его книгах, каким я его видела в телепередачах. Мой эмоциональный взрыв неожиданно помог мне. Писатель вдруг включился в разговор, отбросив свое меланхолическое недоверие. И, зажигаясь каким-то внутренним азартом, торопливо заговорил.

Как же он говорил! Сколько страсти, любви и трепетной нежности, ненависти и разочарования, тоски и едкой иронии, веры и усталого безверия прозвучало тогда. И мы, слушая его, ужасались и негодовали, печалились и оскорблялись, хохотали и не верили, улыбались и верили, любили и ненавидели, растворялись и отторгали, взмывали в восторге и камнем падали вниз. Это было какое-то, почти осязаемое, единение душ. Когда мы прощались, он, чуть улыбаясь, сказал: «Что ж, милое дитя, пиши, а вдруг и получится»...

Папа, конечно, неслучайно не выказал заинтересованности в начале встречи. В душе-то он очень радовался появлению молодого, умного и энергичного сторонника, но одновременно и тревожился. Не та весовая категория. Каково будет девочке идти «против течения»? Не заклюют ли матерые идеологические костоломы?

Головастенькая аспирантка, азартно начавшая работу над диссертацией, оказалась «первой ласточкой». Буквально через несколько недель в доме появился представитель «тяжелой артиллерии» российской критики. И тоже из-за политического романа.

Вспоминает писатель Лев Аннинский.

Ранней осенью 1983 года на заседании редколлегии журнала «Дружба народов» главный редактор Сергей Баруздин в свойственной ему манере объявлять важные новости как бы между прочим обронил:

— Журналу в отделе публицистики необходим материал о важности в наше время жанра политического романа.

Я решил, что могу пропустить эту реплику мимо ушей. Во-первых, я работал в отделе публицистики, а не в отделе критики. Во-вторых, жанр политического романа мало интересовал меня как объект анализа, но вызывал что-то вроде аллергии. И в-третьих, когда я слыхал оборот «в наше время», уши мои захлопывались почти автоматически (теперь такую реакцию у меня вызывает выражение «на сегодняшний день»).

— Мне удалось договориться, что у нас на эту тему выступит Юлиан Семенов, — продолжал Баруздин. — Юлиан согласился принять нашего корреспондента...

Сергей Алексеевич покосился на меня. Я изобразил внимание. Он закончил нарочито скучным голосом.

...Но поставил одно условие: чтобы в Крым съездил побеседовать о жанре политического романа Лев Аннинский. Раздался общий хохот: члены редколлегии кинулись поздравлять меня с поездкой на курорт в самый что ни на есть бархатный сезон. Я дисциплинированно поломался и пошел оформлять командировку. Через несколько дней я сошел с поезда и стал осматриваться. Вагон был хвостовой и остановился далеко от здания вокзала. Народ схлынул, перрон опустел. Похоже, меня никто не встречал. Вдруг из-за какой-то привокзальной постройки вынырнул сверкающего вида автомобиль (теперь сказали бы «иномарка») и с победным рыком подскочил, как мне показалось, по рельсам прямо к дебаркадеру. Я успел разглядеть на капоте эмблему «вольво» прежде, чем того, кто сидел за рулем, но и не разглядев его, я понял: за рулем Семенов. Мы обнялись, и «вольво» рванула.

Осенние красоты Южного берега понеслись перед глазами, как в кино. Попутные машины Юлиан обдирал не церемонясь. На сиденье рядом с ним лежал полосатый милицейский жезл, как я понял — подарок благодарных читателей, незаменимая палочка-выручалочка на крутых крымских поворотах.

Через полчаса Юлиан показал мне свой только что достроенный (но не совсем до конца) дом. По стенам висели портреты — от Сименона до Шпеера. В столовой хлопотала дочь Юлиана художница Дарья. Во дворике сидел возле конуры на толстой цепи огромный пес, имя которого я уже запамятовал.*

Этот пес поразил меня тем, что днем спокойно сидел в ошейнике, иногда скуля от «невозможности освободиться», ночью же преспокойно и самостоятельно освобождался и бегал, где хотел, а под утро влезал в ошейник добровольно и тоже самостоятельно и далее изображал роль узника. Но это — детали. Нам надо было сделать с Юлианом главное: диалог о политическом романе. Я предложил начать так: «От чего я оторвал вас?» Он мгновенно понял и подхватил игру:

— Почему «вас»? Разве мы не дружим? «Вас» — это для дипломатов.

— Хорошо... От чего я оторвал тебя?

---

* Собаку звали Рыжий.

— От пищущей машинки. Только что вернулся из поездки в Западную Европу. По-прежнему занимаюсь проблемой пропавшей Янтарной комнаты и сотен тысяч экспонатов из наших музеев.

— Это будет политический роман?

— Как пирог ни называй, только в печь поставь.

— Я бы хотел назвать пирог по имени. Меня интересует твое отношение к политическому роману, как к жанру современной литературы.

— Политический роман — дитя эпохи научно-технической революции. Радио, телевизор в каждом доме. На полках — политические биографии. До дыр зачитываются книги Трухановского и Молчанова, «Августовские пушки» Барбары Такман, книга адмирала Кузнецова «Накануне». Все эти бестселлеры нашего времени, как и ожидаемая всеми «Международная панорама», как еженедельник «За рубежом». Сегодня перелет за двенадцать часов из Шереметьева в Манагуа — реальность. Меня волнуют не жанры, а скорости. Вековые страсти человека в пересчете на новые скорости. Я боюсь литературоведения с его окостеневающими на глазах формулами.

— Но все-таки. Считаешь ли ты жанр политического романа (то есть жанр, в котором традиционная романическая «интрига» — история индивида, история душ, история выделенной из общего потока конкретной человеческой жизни сопоставлена не просто с «достоверным фоном», но с картиной политической жизни нашего времени), считаешь ли ты этот жанр принципиально новым или видишь его предшественников в истории литературы? Почему ты уверен, что современности нужен именно этот жанр?

— Я в этом уверен, потому что исхожу из того, как лучше воплотить структуру современной реальности, а не из того, в каком жанре это сделать. Главное, завоевать читателя. Как в каждом случае удобнее, эффективнее, так и делаешь, а какой при этом получается жанр, пусть решат критики. «Интрига» «интригой», а политическая реальность нашего времени обязательна.

— Но предшественников своих литературных ты можешь назвать? Ориентиры у тебя есть?

— Разумеется. Джон Рид «Десять дней, которые потрясли мир». Михаил Кольцов, «Испанский дневник». Что поражает у Рида: описывая революционную борьбу, он ставит друг перед другом достойных противников. При всей своей тенденциозности (без которой не может быть политического писателя) Джон Рид сохраняет объективность и поэтому ему веришь. Михаил Кольцов тоже отлично знает, на чьей он

стороне. Но и он не знает, не хочет знать готовых ответов на сложнейшие вопросы реальности. Он анализирует, он доискивается причин, он — как медик — выслушивает действительность и ставит ей диагноз: точность его диагнозов я мог в какой-то степени проверить сам, когда в 60-е годы был в Испании и интересовался ее проблемами. Тогда я оценил Кольцова как политического писателя: он великолепно почувствовал структуру политического сознания своего времени, он дал художественное исследование политической реальности. И дело не в том, роман ли это, или поэма, или очерк — дело в чувстве реальности, которая в наш век насквозь политизирована.

— Стало быть, предшественников современного политического романа вовсе не обязательно искать среди романистов.

— Именно! Я их и нахожу среди поэтов и драматургов. Величайшим политическим писателем был Шекспир: «Король Лир» — трагедия огромного политического темперамента, пронизанная интересом к человеку, осуществляющему себя именно как «существо политическое». Пушкин был величайшим политическим поэтом.

— А «История Пугачева»? А «Капитанская дочка»? Что тебе все-таки ближе?

— И «История», и «Капитанская дочка»: и там и там он политический художник, хотя в «Истории» тончайшим образом придерживается исторических фактов, а в «Капитанской дочке» соединяет вымышленных героев с историческими фигурами Пугачева и Екатерины. Дело опять же не в эффекте такого «жанрового соединения», а в том, что у Пушкина между сторонами политического конфликта идет серьезная борьба, и каждый чувствует себя правым, так что Петруше Гриневу действительно приходится решать, с кем он, а не присоединяться к готовой правоте одной из сторон.

— Само соединение реальных исторических фигур с вымышленными не предвещает ли у Пушкина современный художественный тип романа?

— Предвещает, но почему только у Пушкина? «Война и мир» — величайший политический роман, где историческое соединено с вымышленным: все дело в том, что и вымышленное у Толстого исторично по внутренней задаче.

— Где же начало политического романа в европейской литературе?

— Начало пусть ищут историки литературы. Я думаю, что и в Античности можно найти образцы художественно-политического письма. Хотя установки на увлекающее читателя действие у тогдашних политических авторов не было.

— Зачем же тебе эта внешняя установка?

— Старый спор! Теперешнего читателя — массового, занятого, надо завоевывать. Надо его держать и покрепче! Нужна интрига, нужна тайна, нужно расследование. Роман обязан быть очень интересным. Альберт Бэл, латышский прозаик, не побоялся назвать свой роман «Следователь», не побоялся чисто детективного сюжета, хотя речь там идет о глубоких и серьезных вещах: и герой, и автор размышляют над историей страны.

— Кого бы ты назвал из современных писателей, чьи работы лежат в русле политического романа?

— Замечательными политическими писателями я считаю Владимира Богомолова и Василя Быкова. А знаешь, какая линия делает политическим роман Бондарева «Берег»? Линия Княжко! Выстраданная убежденность человека, прошедшего войну, прошедшего через ненависть к немцам, утверждающегося в необходимости добра, в необходимости диалога с немцами. Это история современного политического сознания. В «Буранном полустанке» Чингиза Айтматова очень важно постоянное стремление писателя подняться «над горизонтом», увидеть событие с глобальной точки зрения: эта тенденция точно передает ситуацию современного человека, который чувствует, как уменьшился земной шар. Я назвал бы Алеся Адамовича, автора «Карателей». Колоссально важен опыт Льва Гинзбурга, автора «Бездны» и «Потусторонних встреч», — этот автор поистине болен политическими проблемами — отсюда и художественная убедительность его работ. Но почему мы ищем узкие жанровые аналогии? Я, например, считаю сегодня одним из самых политических художников поэта Ивана Драча. Считаю таковым поэта Олжаса Сулейменова. Поэтов Андрея Вознесенского и Егора Исаева. Поэта Евгения Евтушенко.

— А прозаика Евгения Евтушенко?

— Нет, поэта! Именно поэт Евтушенко, с моей точки зрения, придал современной литературе эффект непрерывного, живого, острого отклика на политическую реальность, и этот непрерывный отклик обозначил судьбу лирического героя.

— Валентин Распутин назвал роман Евтушенко «Ягодные места» агитационным. Тебе не кажется, что это определение перекликается с определением «политический роман»?

— Не кажется. Мне не надо, чтобы меня «агитировали» за готовые истины. Мне надо, чтобы автор искал истину вместе со мной, исследовал современные структуры, откликался на вопросы, еще не имеющие решения. Здесь-то и лежит главный внутренний признак политического романа: не в том, что речь идет о политике, а в содержании «речи».

— Так, может быть, дело просто в качественном уровне письма? Может быть, всякая отлично написанная вещь сегодня с неизбежностью окажется художественным исследованием политического сознания?

— Вовсе нет. Василий Белов, например, пишет отлично и широко читается, но я считаю его художественный мир непричастным к жизни современного политизированного человека. Этот мир слишком замкнут в своем местном своеобразии, он и ориентирован на такое замыкание.

— А если взять западную литературу? Тут какие ориентиры?

— Дюма-отец, «Три мушкетера» — блистательный политический роман своего времени.

— Нет, поближе.

— Габриель Гарсия Маркес. «Сто лет одиночества».

— Жорж Сименон?

— У Сименона есть прекрасный политический роман «Президент».

— А цикл о Мегрэ?

— Опять ищешь «жанровые параллели»? Да, серия романов об инспекторе Мегрэ — пример художественного постижения сегодняшней насквозь политизированной реальности. Но для этого постижения вовсе не обязательно иметь в основе сюжета криминальную интригу. Хотя я предпочитаю ее иметь.

— Я хотел бы остановиться на этой «формальной особенности» чуть подробнее. Думается, это вовсе не «формальная особенность» твоих книг. Недаром же в глазах столь огромного количества читателей ты не столько автор политических романов, сколько создатель особой жанровой разновидности романа приключенческого: создатель «интеллектуально-милицейского детектива», как сформулировал один мой знакомый. Свое писательское право на такую форму ты отстаиваешь последовательно, в частности и от моих давних нападок. Так я хочу связать воедино две стороны твоего художественного мира: интерес к современной политической реальности и интерес к деятельности современных секретных служб. Я подозреваю, что это вовсе не «форма», удачно совпавшая с «содержанием», это нечто другое, это что-то вроде Магдебургских полушарий, стянутых внутренним вакуумом и притертых до нерасторжимости. Вопрос состоит лишь в том, почему так важен для тебя сам феномен «разведслужбы», «секретного» знания и так далее, то есть некая особая, подспудная, параллельная реальность, существующая кроме, помимо и, так сказать, опричь реальности явной и видимой? Не является ли эта скрытая реальность для тебя более подлинной, чем реальность

явная? Да и писательская твоя манера — беглый сцеп фактов, когда автору как бы «некогда» возиться с объяснениями, — о чем говорит? О вере в потаенно-подлинную, невидимо сцепленную реальность, которая скрыта под обманным флером реальности внешней, «объяснимой» для дураков, не подлинной? Для этого прощупывания и нужен тебе в сюжете «разведчик», «секретный агент», «сыщик»?

— Все проще. Я пишу реальность как она есть. Великие политические писатели Бомарше и Дефо были асами секретных служб. Или пример поближе к нашему времени. Автор книги «Моя тайная война» Ким Филби являлся руководителем одного из важнейших подразделений английской разведки. Вместе с ним служили Ян Флемминг, Грэм Грин и Ле Карре. Первый стал автором знаменитой «бондианы». Второй — автором политических романов (в «Тихом американце» предсказал вьетнамскую войну). Третий, Ле Карре, известен у нас романом «В одном немецком городке» — это настоящий политический роман о неофашизме. Так вот, о разведчиках, агентах и работниках секретных служб: они не то что живут в какой-то особой реальности, они по роду деятельности первыми смотрят в глаза фактам и вырабатывают относительно новые факты концепции. Самое страшное в наше время — иллюзия и неосведомленность. Ложь ведет к ужасам. Мера ответственности людей, знающих правду, узнающих ее первыми, — это концентрированная истина о современном человеке. Здесь человек политический выражает себя предельно адекватно. Иными словами, Штирлиц для меня не «средство упования публики», как считаешь ты, а квинтэссенция современной политизированной реальности. Просто я верен фактам и структурам двадцатого века.

Аннинский всегда считал творчество отца интересным и без Штирлица, чем, кстати, очень его огорчал. Но недавно, в разговоре со мной грустно как-то признался: «Штирлица не хватает многим. Мне в последнее время тоже».

Но вернусь к середине 80-х. В тот период отец был занят серией исторических романов, о Штирлице не писал, а письма читателей становились все требовательнее, дескать: «Когда продолжение? Мы ждем!» И папа решил заслать своего героя после войны в Испанию, а оттуда в Латинскую Америку. На это было две причины: во-первых, если бы Штирлиц вернулся в Москву, его бы немедленно посадили; во-вторых, папе захотелось устроить конфронтацию «нашего» штандартенфюрера с нацистскими преступниками, ук-

рывшимися в Латинской Америке. Заблаговременно переслав на счета колоссальные суммы и раздобыв ватиканские паспорта на чужие фамилии, они устроились там очень уютно. Тема фашизма волновала отца всегда. «Ничего в жизни не надо бояться, ничего, кроме фашизма. Его люди должны уничтожать в зародыше, где бы он ни появлялся», — писал отец в романе «Майор Вихрь». Чтобы понять его изнутри, он встречался и со Скорцени, и с начальником личного штаба Гиммлера — Карлом Вольфом, и с Альбертом Шпеером. Настоящим шоком стало для него путешествие в середине 80-х по Латинской Америке. В немецких колониях на границе с Парагваем, не скрываясь, жили старые нацисты, с местного аэродрома частные самолеты то и дело улетали в фашистский Парагвай. В Чили, на границе с Аргентиной, существовала закрытая зона — вход по пропускам, нацистская свастика, нацистские ордена. Изучая феномен преемственности нацизма, папа выяснил, что фюрер национал-социалистической рабочей партии Гарри Лоук — гражданин США по паспорту, был сыном крупного нацистского чиновника. Вальтер Рауф — «отец» душегубок, спокойно жил в Пунта-Аренас, в Чили, а после прихода к власти Пиночета стал начальником отдела в его охранке. Гитлеровский летчик Рудель работал в Аргентине, в авиационном научно-исследовательском институте, возглавляемом штандартенфюрером СС, профессором Куртом Танком, гитлеровским изобретателем. Клауса Барбье завербовали американцы, а создатель ФАУ Вернер фон Браун переехал в 1945 году в США и разрабатывал ракеты для Пентагона.

Обладая дальновидностью и даром абсолютно салтыково-щедринского предвидения, отец еще тогда предчувствовал появление неонацистского движения в России, рассказывая читателям о Штирлице, часто цитировал фразу из Тиля Уленшпигеля: «Пепел Клааса стучит в мое сердце» и повторял набившее всем оскомину: «Никто не забыт, ничто не забыто». Но у него это звучало искренно и значительно. Я поняла его опасения много позже...

...Катя жила в курортном местечке под Бейрутом на огромной белой вилле с видом на Средиземное море. Семья ее мужа-ливанца сделала состояние на торговле наркотиками, наладив крепкие связи с Сирией и Египтом, но я об этом узнала позднее, когда с ней уже не общалась. Двое ее детей — четырехлетний мальчик и трехлетняя девочка с чуть прикрытым левым глазом, отчего казалось, что она все время что-то подсчитывает, почему-то яростно рвали книжки, попадавшиеся им под руку. Катя нравилась мне невозмутимой

серьезностью и рассказами о том, как девчонкой устроилась поломойкой в свою школу, чтобы помочь деньгами родителям. После по-барски капризных, изнеженных ливанок, окруженных черными служанками, слушать Катю было одно удовольствие. В очередной раз приехав ко мне в гости (дома наших мужей находились рядом), она сидела в гостиной, заботливо придерживая огромный живот (была на восьмом месяце беременности), и пила чай. На втором этаже в детской раздался пронзительный визг ее дочки, которая хотела расправиться с томиком Андерсена, а мой сын пытался ее остановить. «Alex, don't touch the book, please!»* — растягивая слова, закричала Катя, задрав голову. Она почему-то говорила со своими детьми только по-английски. Визг перешел в недовольное ворчание.

Низко пролетел израильский самолет, и оконные стекла жалобно задрожали. «Вот жиды проклятые, разлетались, — перешла Катя на русский, — жаль, что их Гитлер всех не дожег». Я сразу вспомнила давнишние папины слова и хотела спросить Катю, знает ли она, как он их жег. Знает ли, что сначала сжигали женщин и тонконогих, большеглазых детей. Их было около трех миллионов. Мужчин сжигали потом, когда они уже не могли работать от истощения. Жгли, конечно, и русских, — с красными офицерами любили сперва «пошутить». Отправляли с куском мыла в душевую, офицер доверчиво крутил кран — воды не было, тут в отверстие в стене его и пристреливали, и относили в крематорий, и пускали в душевой воду, чтобы смыть кровь «славянского недочеловека». Жгли и немецких социал-демократов и коммунистов, и французов из Сопротивления, и цыган, но приоритет всегда оставался за еврейскими детьми. Иногда, получив новую партию детей, их для разнообразия не сжигали сразу, а затравливали собаками. Или забивали насмерть дубинками по дороге в лагерь. И варили мыло из их костей, и делали абажуры из кожи, и набивали матрасы волосами. Я хотела спросить Катю, знает ли она все это, но потом вспомнила, что она не может этого не знать, потому что об этом нам всегда рассказывали наши учителя истории, и просто отвезла ее домой, чтобы больше не встречаться... Вскоре в Москве молодые фашисты насмерть забили цепями девятилетнюю таджикскую девочку. Все чаще стали калечить в Питере вьетнамских, африканских, индийских студентов — среди бела дня, на глазах у прохожих. Каждый раз я вспоминала папины слова, понимая, что то, чего он так страшился, в России произошло.

---

* Алексей, пожалуйста, не трогайте книгу! (*англ.*).

...Работая в Германии, он посетил в 80-х один из концлагерей. Недалеко, в лесу, прогуливались немецкие семьи и, поравнявшись с ним, вежливо здоровались. Он подумал тогда, что так же доброжелательно приветствовали друг друга их родители сорок лет назад, а из трубы крематория в отдалении валил дым, но гулявшие этого не замечали или замечать не хотели. Папа часто повторял слова Бруно Ясенского: «Не бойтесь ваших врагов — они могут лишь убить вас. Не бойтесь ваших друзей — они могут вас лишь предать. Бойтесь равнодушных, ибо с их молчаливого согласия в мире происходят все убийства и предательства». Ему равнодушие было незнакомо.

...Серия из четырех романов о Штирлице после войны — «Приказано выжить» и три «Экспансии» — была захватывающей. Вылечившись от старых ранений у старой колдуньи индианки — Канксерихи, Штирлиц находит друзей. Испанскую женщину, полюбившую его и взявшуюся во всем помогать, американца Роумэна, скандинавку Крис. После неимоверных усилий им удается поймать Мюллера. Последний роман заканчивался тем, что Роумэн, связав Мюллера, ждет Штирлица, побежавшего в представительство к русским — за помощью.

И тут папа оказался в тупике — надо было продолжать, а продолжение могло быть только грустным, а он этого терпеть не мог. «В настоящей прозе должны быть провозглашены не только Права человека, но и его Обязанности! А человек обязан быть счастливым. Его надо побуждать к этому, требовать от него поступка, а не слезливого описания горестей, на него свалившихся, — в этом я вижу задачу литератора», — говорит его герой в романе «Псевдоним». Так думал и он сам.

Прав был старенький Сименон, предупреждавший, что расставание со Штирлицем будет болезненным. Никогда отцу не было так трудно писать, как в тот раз, когда он начал о нем последнюю вещь, называвшуюся «Отчаяние». Тяжело было не только из-за приближавшегося расставания, но и из-за сюжета. Штирлиц оказывался на Лубянке, в центре страшной интриги, и терял самое дорогое — сына Санечку и жену, и оттого отчаяние его было «огромно и величественно, как океан». Сломленный, он уходил из разведки в холодную, беспристрастную науку. В конечном итоге происходило то, что не произойти не могло. Личность, порядочный человек, во многом с меньшевистскими идеалами и принципами, сталкивался с системой совершенной и не менее страшной, чем в гитлеровской Германии, и она его перема-

лывала. К чести отца он написал то, что написать было должно и нужно, но как же больно ему было ту безжалостную правду писать.

Его редко кто видел в минуты сомнения, почти никто — в минуты отчаяния. Я лишь в то крымское лето, когда он работал над этим романом. Оно было молчаливо — это отчаяние и походило на отчаяние его героя, который ничего не мог изменить... Вечером мы вышли на нашу традиционную прогулку. Дорога все время поднималась в гору, поэтому шли не спеша. Низко над землей летали стрекозы, последние солнечные лучи подрагивали в листве деревьев.

— Я писал свои книги, — говорил отец, — глядя на засыпающие горы, — чтобы люди понимали: нет безысходности, всегда есть выход, только надо надеяться на свои силы и во всем и везде видеть красоту.

Мы остановились возле маленького шумного водопада. Здесь он каждый день отжимался от каменной ограды, сегодня этого не сделал:

— Мне все труднее работать. Раньше я видел тех, для кого пишу. У них были добрые глаза, они были рады мне, а сейчас их заслонили ватные маски врагов. Это тяжело. А может быть, я просто старею...

Домой мы вернулись затемно. Устроились на кухне. Отец сидел ссутулившись и грустно смотрел на экран телевизора, глубоко затягиваясь. В комнате плавал голубой сигаретный дым. Мне всегда казалось, что где бы ни появлялся отец, сразу же возникала атмосфера журналистского пресс-центра. Хотя я никогда не была там, мне слышались разноязыкая речь, шум, телефонные звонки, виделось множество людей и обязательно табачный дым.

Я достала две глиняные чашки и начала готовить чифирь. Я готовила его так, как недавно научил отец: в крохотных кофейных турочках на электрической плитке. Самое главное, не пропустить тот момент, когда клокочущий чай готов выплеснуться на раскаленную спираль плитки — хватай поскорее турочки и переливай черную влагу в чашки.

В тот вечер мы сидели недолго и говорили мало. То ли отец устал, то ли все выговорили во время прогулки. Выпив чай, отец пошел в кабинет, бросив на ходу: «Я главу закончил, хочешь почитать?»

Я взяла страницы, забралась с ногами на маленький диванчик и стала читать неправленый текст. Отец сидел за широким письменным столом в большом кресле с высокой спинкой и из-за этого казался маленьким. Он сидел неподвижно и смотрел в окно. Уже совсем стемнело, и в стеклах

сначала была видна комната, а потом уже луна и море. Сначала я не могла понять, что рассматривает отец — собственное отражение или море с луной. Потом поняла, что отец никуда не смотрел, а просто сидел непривычно маленький в большом кресле, чуть склонив голову, будто прислушиваясь к чему-то, и глядел растерянно — широко раскрытыми глазами в самого себя.

— Очень интересно, пася, — сказала я. И это была правда. Мне всегда нравился Штирлиц — сильный, одинокий, честный.

— Да-а, — протянул неопределенно отец, по-прежнему не меняя позы, — а по-моему, это хреновина...

— Нет! Это хорошо, папа, грустно, тяжело, но очень хорошо.

Отец поднял наконец голову и посмотрел на мое отражение в окне:

— Не нужно это.

— А может быть, ты придешь к чему-то новому, может быть, это новый виток, — говорила я, понимая, что говорю не то и не так.

— Не знаю, ничего не знаю. Закончу книгу и завяжу с этим. — Отец опять закурил.

«Сколько же папа курит! — мелькнула у меня мысль. — Две пачки в день? Больше, теперь почти три. Выкурила бы я столько, умерла бы от никотинового отравления».

— Как завяжешь? — сначала не поняла я.

— Очень просто, не буду писать, и все. — Отец задумался на несколько секунд, потом договорил: — Ни издательств, ни редакторов, ни рецензий.

Он хрустнул пальцами, и камень в его золотом кольце ярко высверкнул в черном стекле окна. Я постояла за спиной отца, потом, как всегда, сказала:

— Я пошла, пася, спокойной ночи.

У себя в комнате включила радио. Нашла Турцию, почему-то передавали концерт русских балалаечников. Села на пол и, глядя на глазастую луну, прислушивалась к пению цикад и к тому, что делается у папы. Он не писал. Значит, сидел в кресле и курил. Я хотела вернуться к отцу, но почему-то было неловко. Концерт балалаечников кончился, стали передавать грустные английские песни... Ночью мне приснился отец, дерущийся на ринге с огромным детиной, вроде Мухаммеда Али, в красных шелковых шортах.

Утром проснулась словно от толчка: высоко в горах мелькнула фигура папы. Я быстро натянула джинсы, майку, кеды, вышла из дома и побежала за ним. Солнце поднималось, море было тихим и большим. Туман, как прозрачное

серое покрывало, сползал с вершин в расщелины гор, а сосны тихо шептались о прошедшей ночи. Я догнала отца, и мы пошли по дороге рядом. Через две недели последний роман о Штирлице был закончен...

...Андропова уже несколько лет как не стало. Папин друг, бывший контрразведчик Кеворков, его по-прежнему любил и поддерживал, но, несмотря на занимаемый высокий пост, не мог оградить от всех нападок «мелюзги». В прессе косяком пошли мерзкие статьи, особенно старался какой-то капитан второго ранга в отставке. Иначе стали смотреть на отца и в комитете, и в партийной верхушке. Юлиан Семенов оказался далеко не таким романтичным идеалистом, каким его многие представляли. До «Отчаяния» любой сотрудник комитета отождествлял себя со Штирлицем. После выхода романа это стало невозможным, — отец открытым текстом заявил, что в течение десятков лет там работали фашиствующие садисты.

Временами подле папы появлялась подруга — некрасивая очкастенькая блондинка, работавшая в цензуре. Он звал ее «Буратино» из-за длинноватого носа. И сестра, и я поддерживали с ней дипломатические отношения, не очень жалуя в душе. Недавно, разбирая папин архив, я прочла ее письма — странный коктейль искренности, сюсюканья и фальши. Папа это видел, и, наверное, поэтому она и не могла, как ни старалась, занять в его жизни постоянное место. В ней было много от интеллектуальной библиотекарши и чуть-чуть от некрасивой, а потому особенно распутной куртизанки, но этого «чуть-чуть» было достаточно, чтобы папа не был счастлив. Она могла неделями разбирать бумаги и наводить порядок в библиотеке, а потом первой подливать отцу во время празднеств с друзьями, зная, что ему с его давлением давно пора завязать. Почти каждый год папа ездил на три недели в Карловы Вары — возвращался худым, помолодевшим. Раз взял с собой Буратино. Гульба продолжалась все три недели, он приехал уставшим и отечным. Иногда, не справившись с дочерней ревностью, я начинала «Буратино» критиковать, а папа вяло ее оправдывал, догадываясь в глубине души о правде значительно более горькой. Наружу это вырвалось только однажды. Мне было уже двадцать, я приехала в Мухалатку. Незадолго до этого папа отправил Буратино в Москву. Мы пошли гулять. «Знаешь, Кузьма, — задумчиво сказал он мне, — странное дело: заезжали тут ребята из девятого отдела, посидеть, книжки подписать. Один что-то сказал Буратино, и у нее сразу изменилось лицо, она вся вдруг переменилась — другой человек, злой и чужой...»

Вполне возможно, папа не ошибся, решив, что Буратино велели за ним приглядывать, лучшей кандидатуры было не найти. Это мало что изменило в их отношениях. Отец просто стал представлять ее знакомым как своего личного серетаря — статус, при котором предательство казалось ему менее обидным.

Стал самому себе не мил,
Седой старик с душою урки,
Коня б завесть, накинуть бурку
И в горы — из последних сил.

Как люб мне круг слепых бойцов,
Чадры старух, чеканка ножен,
Кинжал дамасский, что в них вложен,
И на коня — и был таков!

Подъем все круче, ветра свист
И одиночество, как веха,
Самгин ли ты, или Алеко,
Ложишься в землю, словно лист,

Будь путником, не бойся выси,
Ищи обзора точный смысл:
Глаза совы мудрее рыси, —
Ведь зверь в движенье слишком быстр.

Моли о медленности всхода,
Не торопись, не шпорь коня,
Все в мире суета, что модно,
Ах, жизнь моя, пусти меня.

ОСТАЮСЬ ЖУРНАЛИСТОМ

Выпустив десятки книг и став маститым писателем, отец продолжал заниматься журналистикой, считая ее лучшей писательской школой, да и взрывной характер не позволял ему сидеть на месте. Он проинтервьюировал сотни людей, среди самых знаменитых — Эдвард Кеннеди (брат убитого президента) и Хо Ши Мин, Сальвадор Альенде и Че Гевара, Курт Вальдхайм и Арманд Хаммер, принц Суфановонг и Альберт Шпеер, Жаклин Кеннеди и Отто Скорцени, Пабло Неруда и Шандор Радо.

Каждый год папа путешествовал не менее пяти месяцев и за свою жизнь объездил весь Союз и почти весь мир. Из ближних и дальних странствий аккуратно отправлял маме весточки — то коротенькие телеграммы, то грустные или весело-хулиганские письма.

14.11.61.

Здравствуй, золотенькая моя!

Добрались мы с Валюном на Молитвенную косу, ныне переименованную в Новую. Место это заброшено в устье Терека, неподалеку от тех мест, кои пел Толстой в «Казаках». Интересно, ветрено и очень далеко. Добирались пять часов по непролазной грязи, вдоль по берегу Каспия, встречь нескончаемым караванам уток и гусей. Местами все похоже на пустыню, помпасы.

Золотой мой тегулепочек, очень я тебя люблю и тоскую по тебе. И, конечно, по маленькой Дашечке.

Приехали, хорошо нас встретили, накормили ухой из красной рыбы, а сейчас я разложил свои атрибуты, отстучал письмецо тебе и принимаюсь за повесть. Не знаю, что получится, но получится наверняка.

Наверное, это очень хорошо, что я смотался в свои оче-

редные странствия — после Полюса я здорово подзасиделся, а засиживаться мне никак нельзя, потому что притупляется восприятие окружающего, а оно — окружающее — это ты и Дашуня. А проживи полгода безвылазно в Эрмитаже — к Рубенсу тоже будешь относиться как к старому знакомому и, может быть даже, ошалев совсем, звать его «раздавить по маленькой».

Каток, если какие-либо новости появятся, сразу же шли мне телеграмму: «Махачкала, почтовое отделение Новая Коса, Абдулаев Рахмет, для писателя Юлиана Семенова, как догадываешься».

Пожалуйста, будь очень осторожна, никому не открывай вечером, езди на дачу и береги Дашутку и себя. А все остальное приложится, а не приложится — так черт с ним, проживем и так.

Целую тебя и люблю. Твой Юлиан Семенов.

Ахали, Гагра, 16.8.62.

Дом творчества

Здравствуй, Каток, и поклон тебе, Дунечка.

Целую Вас обеих крепко и нежно. Наш вояж с Андроном и Никитой закончился благополучно, если не считать того, что Никита 5 раз наступил мне на ноги, 3 раза ударил дверью машины по ребрам, 1 раз выстрелил в Андрея из подводного ружья и чудом не убил, 7 раз говорил старым евреям, принимая их за абхазцев: «Ну что, жиды вас тут не замучили?» и т. д. и т. п.

Словом, очень славно проехали — с матом, песнями и шутками. (Мит попахес, мит ломпасес унд мит ден еб твою мать!) Сейчас сижу, работаю, редактирую. Ничего не понимаю из написанного и склонен больше думать о плохом, нежели о хорошем.

Как дела в Москве, Каток. Вышли письмо подробное, с фактами, хохмами, размышлениями — мне глава будет новая. Здесь, в Гаграх, конечно, тоскливо в сравнении с Коктебелем — народ бомоновый, срановатый, к литературе имеющий отдаленное касательство. Море, правда, сказочное — такого цвета я нигде не видел. Пронзительно-голубое. Чертовски красиво. Описать нельзя. Разве что только Дашка может нарисовать его точно и реалистично. Как там она, моя маленькая?

Целую тебя очень нежно.

Твой Юлиан Семенов.

Кенигсберг 3.3.65.

Здравствуй, Тегочка.

Пишу тебе из столицы поверженной Пруссии. Малыш, извини меня, но твой муж — фигура известная вроде М. Жарова. В газете меня встречают по-братски нежно.Тут великолепные ребята. Один из них — с бородой. Лапочка, это все же так замечательно, когда все вокруг говорят по-русски. Но это так, нота бене, просто расчувствовался. Очень я горд тем, что российский либеральный читатель к моим книгам относится очень хорошо. Без дураков — это заряжает.

Я люблю тебя и нашу девочку. Я вас целую 1812 раз.

Ваш всегда. Юлиан Семенов.

Декабрь 65-го, Монголия

Сей бай ну! Здравствуйте дочечки Катя и Даша!

Как твой радикулит? Как Дунечкина школа?

На мой здешний сценарий ставится большая карта: даже на торжественном докладе в театре министр культуры говорил о том, что ваш покорный слуга прибыл в Улан-Батор для работы над будущим совместным фильмом. Страна очень своеобычна, народ прелестный, относятся ко мне нежно — сие приятно.

Сегодня осматривал поразительные дворцы Богдо-Гогена, это буддизм, сдержанно и в то же время роскошно. Очень мне понравился один из богов: у него на голове пять черепов. Он охраняет людей от пяти самых страшных — по буддизму — зол: неразумных любовных увлечений, глупости, нервозности, зависти и жадности. У здешних богов по двадцать четыре руки и шестнадцать ног — чтоб драться за религию с неверующими, и три глаза, чтобы обозревать три времени: будущее, настоящее и прошедшее.

Каток, пойди, если можешь, в абонемент Исторической библиотеки и поищи мне книги про Унгерна, Монголию, процесс Унгерна в 21 году и все это закажи к моему приезду — засяду покопаться в архивах и библиотеках...

Мечтаю о том, как втроем мы встретим Новый год. Это верно будет божественно. Я обязательно напьюсь и суну голову в снег. Я почему-то все время мечтаю сунуть голову в снег. В свой пахринский снег.

Дай вам Господь всего наилучшего. Целую вас нежно. Ваш борода.

21.12.65.

Ночую в Иркутске. Целую. Борода.

23.3.67. (Путешествие по Чехословакии с Дарьей.)

Каток, только что проснулись в горах, в Татрах. По утру было солнце, вчера плутали по пустынной дороге до полуночи и сидели в кабаке с джазом до 00.45. (первый раз за все время — так Дунечка со мной укладывается в 9-9.30.). Характер у нее пополам: мое нетерпение и твоя сибирская застенчивость. Но человечек она поразительно интересный, нежный и умный. Впечатлений у нее, мне кажется, масса. Интересно, во что это все трансформируется. Целую тебя и Ольгу. Дай вам Бог всего. Завтра здесь начинается Пасха. Христос Воскресе!

Твой Юлиан Семенов.

14.4.67.

Целую вас всех нежно с самого Северного полюса. Наша льдина чертовски быстро плывет к Гренландии, чтобы там растаять. Ждем последнего рейса. Нас тут осталось семеро. Беседуем о медицине и об акклиматизации животного по кличке «Человек» в условиях полюсов и меряем друг другу кровяное давление. Скучаю по вас. Дай вам всем Господь счастья.

12.6.67.

Дорогие мои, не скрою — у нас в Вашингтоне уже утро: чирикают по-русски воробьи, ездят по улицам красно-сине-белые кары, и, — главное, — идет нудный, батумский (по ощущению) дождь. Сейчас шесть утра — сколько в Москве, рассчитать не могу — пусть Дуня рассчитает. Плоский телевизор передает сообщения о победителях на Праймарис. Через час улетаем на Ниагарский водопад. Уже начал по вас скучать. Целую вас, мои девоньки, дай вам Бог.

22.6.69.

Люблю и целую родные девочки, улетаю через Сидней в Новую Гвинею и скоро вернусь домой. Ваш борода, скучающий, любящий вас.

1975 год, Токио, гранд-отель

Здравствуйте мои родные.

Поскольку в этой машинке нет восклицательного знака или, попросту я его пока не нашел, обращаюсь к вам шепо-

том, без восклицаний. Хотя, не скрою, восклицать есть все основания: впечатления в первый же день, при самом беглом осмотре Токио — громадные. «Хайвэй», наподобие американских, громадные скорости, посадка на аэродром, стиснутый со всех сторон мощными, марсианского типа, промышленными комплексами, архитектоника, причудливо, но в то же время органично вместившая в себя модернизм Корбюзье, размах Лос-Анджелеса, антику Японии, динамизм второй половины двадцатого века. Только что вернулся из нашего корпункта: там настоящая Япония — и дом, и камин, и телевизор, и хрупкость стен, которые на самом деле сугубо каменные и отнюдь не хрупкие. А в окно моего отеля лезут тридцать семь этажей неонового безразличия. Живу я рядом с парламентом, МИДом и резиденцией премьер-министра, то есть в самом центре.

Девочки мои дорогие, я вас целую и желаю вам счастья. Дай вам Бог всего самого хорошего. Ваш (поелику ручку забыл, не подписуюсь).

Это лишь малая часть папиных писем, а значит, путешествий. Из каждого он привозил не только интервью и репортажи, но и кассеты с записями. Всегда ездил с маленьким диктофончиком, наговаривая впечатления от новых мест, архитектуры, музеев, выставок (все это могло пригодиться для новой книги). Привозил и замечательные, абсолютно профессиональные фотографии.

...Отец не любил болеть, ни разу, не считая двух дней, проведенных в клинике у его друга Святослава Федорова, «подремонтировавшего» ему глаз, не лежал в больнице, не ходил в поликлинику Литфонда. Заманили его однажды тамошние эскулапы к себе, ужаснулись давлению и анализу крови, выписали кучу таблеток, которые надо было принимать строго по часам, но отец, если и принимал их, то как Пеппи Длинныйчулок: все вместе, залпом, запивая для верности стаканчиком водки. Он существовал по принципу американского актера Джеймса Дина: «Жить на полную катушку, умереть молодым и быть красивым трупом». Жизнь без опасностей папе претила, и он всегда торопился в эпицентр военных действий и конфликтов. В этом проявлялись его бойцовский характер и вера в то, что если о происходящем интересно и объективно написать, то можно что-то изменить.

Одна из самых опасных командировок была у отца во Вьетнам, откуда он присылал захватывающие репортажи с места военных действий для «Правды».

Он провел там несколько месяцев в 68-м году, живя в джунглях, в пещере с вьетнамскими партизанами. Лил дождь, по ночам в лицо, шею, руки зло впивались комары, и почти каждый день прилетали американские самолеты. Американцы бомбили яростно и методично. После нескольких бомбежек папу контузило и он оглох на левое ухо. Увидев вьетнамских сирот — большеглазых, худеньких, с цыплячьими шейками, он захотел усыновить одного мальчика, оставшегося без родителей. Запросил разрешения у местных властей и предупредил маму. К сожалению, в последний момент что-то застопорилось по административной линии и разрешения на усыновление и вывоз ребенка не дали. Когда я подросла и узнала от родителей эту историю, долгое время по тому «неслучившемуся» братику тосковала.

Из Вьетнама папа привез страшные фотографии раненых и убитых детей, разрушенных деревень, обломок крыла американского самолета, подбитого у него на глазах партизанами: на покореженном железе можно разобрать написанное черной краской «US ARMY» и номер. И вскоре написал грустную повесть «Он убил меня под Луанг-Прабангом».

А потом началось в Чехословакии. Говорить в полный голос не решались, гнев был клокочущим, глухим. Одна знакомая молодая москвичка, уехавшая в Прагу с мужем чехом, отправила свой паспорт в наше посольство с запиской: «Мне стыдно быть советской». Хотелось это сделать и папе, но были мы, мама, и он, человек в общем-то бесстрашный, тяжело молчал, осознавая собственное бессилие.

21 АВГУСТА

Чаек крик и вопль прибоя,
Смех детей и солнца зуд,
Ну пойдем скорей с тобою
На роскошный белый зунд...
Все прекрасно, все сияет, говорят девицы «нет»,
(А в Москве все заседает наш высокий кабинет.)
А кругом так симпатично, и вокруг такое чудо:
Одеваются наяды, раздеваются атлеты,
Самолеты пролетают, и эсминцы грозно ходят —
Так, чтоб видели их люди...

(Именно в это время Дубчек и Черник присоединились к Свободе для переговоров об урегулировании отношений между братскими народами, вокруг которых роилась контрреволюция)...

— Я читаю Пастернака..
Да, стихи весьма прелестны...
Очень чувственны и сладки,
Как медок в конце июля...



Опыт для радистки Кэт: «Нелегко же ей будет с двумя младенцами!»

Работа с Вячеславом Тихоновым над фильмом «Семнадцать мгновений весны».

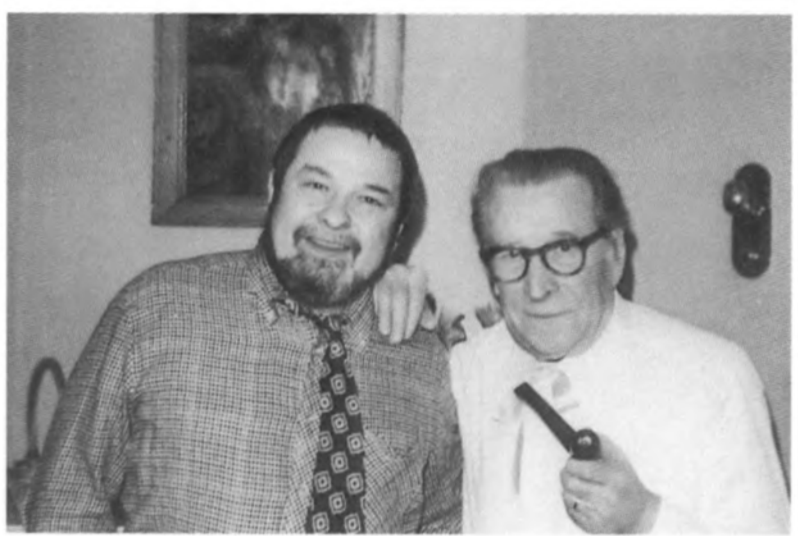
Слева направо: В. Тихонов, Т. Лиознова, Р. Кармен, Ю. Семенов.



С мамой в Трире.
1981 г.



С Жоржем Сименоном.
Лозанна. 1981 г.

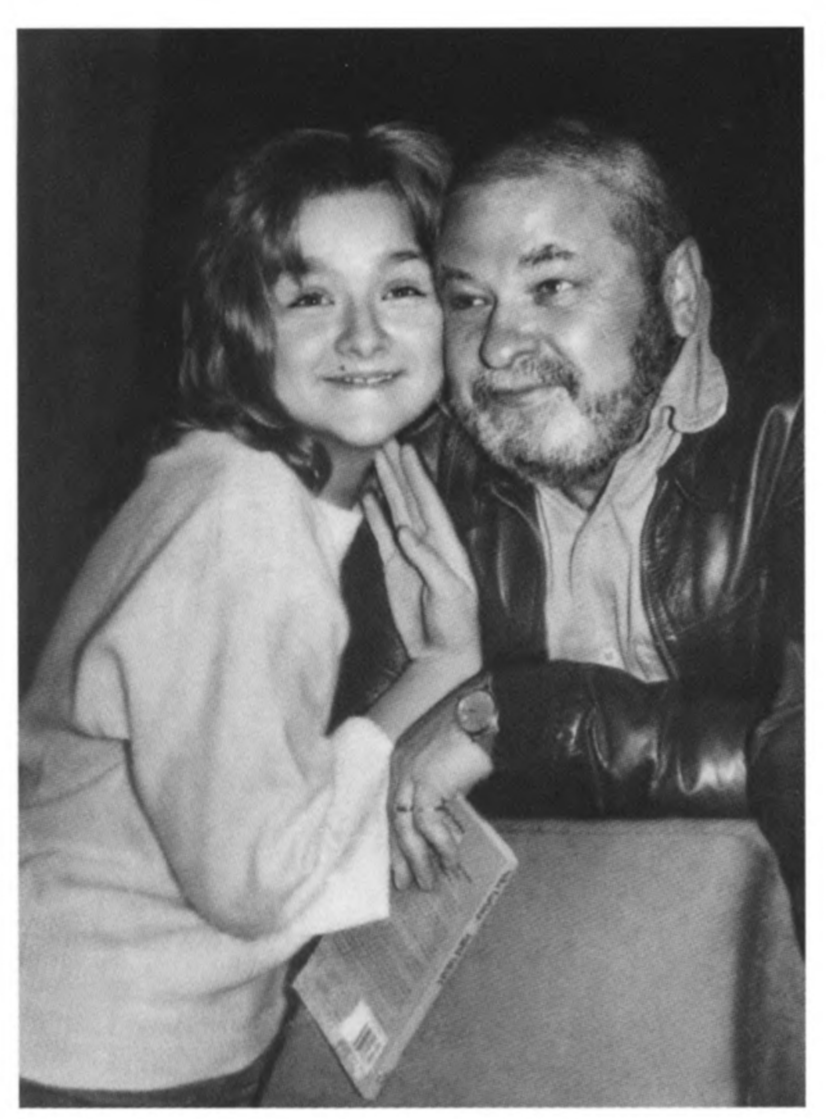




С Альбертом Шпеером.
Германия. 1981 г.



С Альбертом Штайном.
1980 г.



С юной поэтессой Никой Турбиной. *1988 г.*



У берегов Фороса.

Юлиан Семенов
с любимым
псом Рыжим.
Мухалатка.
1980-е гг.

В Ялте.
Слева направо:
Ю. Семенов,
Д. Семенова,
Л. Дуров,
О. Семенова,
А. Миронов.
1980-е гг.



С Андреем
Андреевичем
Громыко.
Мухалатка.
1980-е гг.

Евгений Примаков
с женой Лаурой
и Ольгой Семеновой.
1981 г.



Юлиан Семенов
и Лев Аннинский.
Мухалатка. 1983 г.

С дочерью Ольгой.

С Федором Федоровичем Шаляпиным и бароном Эдуардом Фальц-Фейном. *Лихтенштейн. 1982 г.*

С Сергеем Лифарем. *Париж. 1981 г.*

В мастерской художника Михаила Шемякина. Слева направо: М. Шемякин, режиссер О. Стоун с женой, Ю. Семенов, доктор П. Лебовиц.

С Георгием Вайнером.

С Аллой Пугачевой. *Москва. 1980-е гг.*



С друзьями в горах. *Домбай. 1983 г.*

В Бразилии. *1980-е гг.*

На съезде писателей МАДПР. Слева направо: Л. Гримальди, М. Тагава, Ю. Семенов. Во втором ряду крайний справа И. Прохаска.

На съезде писателей детективной литературы. *1987 г.*

Работа над газетой «Совершенно секретно».
Крайний слева А. Плешков. *1989 г.*

В Афганистане. *1985 г.*

В клинике Инсбрука.
Слева направо А. Боровик, Ю. Семенов, А. Бененсон. *1991 г.*



Юлиан Семенов.

Ха-ха-ха, скорее в море,
Ха-ха-ха, какие волны,
Пастернака бросьте в сумку,
И перемените плавки...
А песок прогрет под солнцем...
А песок увял под солнцем...
А песок умят под солнцем.

(В это время в Праге люди вышли на работу.)

— Ну смотрите же, смотрите, вон идет прелестный парень,
Загорелый, мускулистый, сколько силы в нем и страсти!

(В это время, как сообщал ТАСС, переговоры продолжались в обстановке полной откровенности и дружбы.)

— Не хочу я слышать это,
Поищите мне другое,
Надоели мне «нахрихтен»,
Я ищу себе покоя...

(Ее звали Гертруда, она работала в Дрездене ассистентом по исправлению дефектов речи. На время отпуска она сняла обручальное кольцо.)

— Надоели сообщенья,
Поищите лучше песни,
Все прелестно, все красиво,
Девушек тугие груди,
Спины юношей нагие,
И старух глаза большие...

(А над пляжем пронесся МиГ-21, и дети смеялись, глядя на него, и махали ему руками, ибо он был знамением мира, и никто не знал, что именно в этот момент пилот получил приказ приготовить кнопку 2-ЗЕТ для педалирования в случае ядерного нападения подлюг из НАТО.)

Песок прогрет под солнцем,
Водицы синь тепла,
Кругом белеет море,
Эсминцы на дозоре,
И в людях берега...

(В это время Людвиг Свобода говорил с правительством, которое охроняли от наскоков контрреволюции советские бронетранспортеры.)

Ах прошу вас, ах не надо!
Здесь же пляж,
Едем вечером отсюда
В бар, где будет очень людно,
Там приперченные блюда,
Там играет старый джаз...

(А в это время Чжоу Энь Лай выступил с провокационной речью в румынском посольстве в Бухаресте.)

Ах, как дети здесь смеялись,
Будто не существовало горе,
Рыбаки сушили сети,
Говорили дамы «нет»,

(Мне сегодня, по секрету, 248 лет.)

А мужчины говорили о последних матчах в мире,
А мужчины говорили о победах на рапире,
Ну а женщины боялись за детей, что без оглядки
Все играли, все играли в салочки, в песочек, в прятки...

(А в это время орудия развернули свои жерла на Вацлавское предместье, где собралась толпа безответственных хулиганов, которые протестовали против акта братства, оказанного народами — друзьями чехам и словакам в их борьбе с контрреволюцией.)...

...Ближе познакомившись с Андроповым, отец заговорил с ним о Праге 68-го. Юрий Владимирович в ответ рассказал о будапештском восстании. Во время событий он работал в Венгрии и навсегда запомнил побелевшее лицо маленького сына, когда тот увидел на фонаре перед резиденцией повешенного за ноги доброго дядю Пишту, их служителя по дому, — мальчик любил играть с ним в шахматы.

И еще сказал, что на пост председателя КГБ не стремился, — Леонид Ильич настоял. Возглавив комитет, провел через Политбюро решение: КГБ не вправе провести ни один арест, не получив на то соответствующего постановления прокуратуры. Наиболее заметный диссидент может быть арестован лишь по согласованию или постановлению ЦК. В те времена это означало: «Хотите творить беззакония, — творите, а я умываю руки».

Однажды сын с дочкой принесли Юрию Владимировичу книгу репрессированного дворянина-интеллектуала Бахтина. За один день ее прочтя, он назавтра велел подыскать опальному литературоведу приличную квартиру (тот ютился в какой-то каморке, в захолустном городишке). Сразу же позвонил разъяренный Суслов, но Андропов Бахтина отстоял.

Когда снесли выставку абстракционистов бульдозерами, он отдыхал в Кисловодске, о случившемся ему доложил дежурный, позднее.

— Какой идиот, какой кретин пошел на этот вандализм?! — взорвался Юрий Владимирович.

— Указание члена Политбюро ЦК товарища Гришина, — кашлянув в трубку, ответил смущенный дежурный...

Так сидели и говорили они о самом больном и постыдном в истории страны: шеф Комитета госбезопасности и известный писатель. Могущественные рабы системы, по-мальчишески-робко мечтавшие об изменениях...

РАЗМЫШЛЕНИЯ НА ТЕМУ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

Абраму Кричевскому

Не знаю я,
Что значит «что»?
Почем торгуют «как»?
Зачем нам «почему»?
И для чего «не надо»?
Вопросы столь важны,
Сколь прост на них ответ:
«Что» — это просто «что»,
Синоним «почему» — «зачем»,
А вообще привет!

Вопрос мы разрешим,
Вопрос ведь не ответ,
Виновны только «да»
И не виновны «нет».
Наивен компромисс
Вопроса и ответа...
«Зачем?» — вас в каземат,
«Как?» — в дальнюю тюрьму!
Услышь мою мольбу,
Не пария, но брата,
И «как» не виноват,
И «что» не виноват,
И для того «нельзя»,
Что всем сейчас «не надо»...

Берлин, 1 сентября 1968 года

...Скорцени — любимец фюрера, освободитель Муссолини, принципиально не принимал журналистов даже из самых правых изданий. Сначала папа «подкрадывался» к нему через старого генерал-полковника Молина — последнего военного атташе Франко в Берлине, друга Скорцени. Тот потребовал за услугу контракт с советскими фирмами на поставку асбеста (у Молина была маленькая пенсия, хотел подзаработать). В Испании тогда советского торгпредства не было. Сидели представитель Черноморского пароходства Виталий Дырченко и его заместитель Сергей Богомолов, ставший первым советским послом после смерти Франко. С асбестом они помочь не смогли, и увидеть Скорцени папе в тот раз не удалось. ...Кстати, Молина рассказал отцу о его последнем обеде с генералом Власовым, в его доме в Вюнедорфе, в апреле 45-го года. (Жуков в тот день прорвал оборону и пошел на столицу.) Власов, Молина и несколько немецких офицеров ели русские блины, поливая их топленым маслом с рубленым яйцом и поджаренным луком. Молина запомнил «русский» запах, определявший суть дома Власова. «Русский запах?» — удивился отец. «Да-да, — убежденно повторил Молина, — в этом запахе была скрыта теплота, полнейшее спокойствие и ощущение, что “пронесет”». Власов, по воспоминаниям Молина, был зол: «Война проиграна из-за идиотизма немцев, которые не дали нам оружия. Только мы имели возможность остановить Сталина. Я — его ученик, я умею угадывать его ходы, война — это увеличенные до гигантских размеров шахматы. А Гитлер думал, как слепой фанатик! “Славянам нельзя верить!”». Тут один офицер вермахта, говоривший по-русски, сделал Власову замечание. Тот напрягся, потом откинул голову и рубяще произнес: «Вон из-за моего стола! Чтоб духу вашего здесь не было!» И выгнал немецких офицеров.

...Так вот, во время следующего приезда в Испанию в 1974 году папа рассказал о том, что встреча со Скорцени сорвалась, своему другу Хуану Гарригесу. «А ты по-прежнему хочешь с ним увидеться?» — поинтересовался Хуан. «Конечно!» Хуан поднялся из-за стола (они ужинали у него дома), набрал номер своего могущественного отца, тот через пять минут отзвонил: «Хулиан (так все испанцы произносили папино имя), завтра в семь вечера Скорцени будет ждать тебя в нашем клубе финансистов».

На следующий день, оставив шестнадцатилетнюю Дарью в гостиничном номере и велев запереть дверь, папа отправился на встречу со штандартенфюрером СС. Они начали разговор в семь часов вечера, а закончили в третьем часу ночи, в фешенебельном ресторане, хозяин которого приветствовал Скорцени нацистским вскидыванием руки. В течение пяти часов Скорцени много курил, много пил и много врал. Он уверял отца, что не знал лично ни Барбье, ни Менгеле, ни Рауфа. Постоянно подчеркивал, что он — зеленый СС, а значит, боец, и не имел ничего общего с черными эсэсовцами, сидевшими в тылу и применявшими пытки против врагов рейха. Папе удалось вытянуть из старого лиса интересные детали подготовки его операции по освобождению Муссолини. Скорцени подтвердил, что Гитлер ежедневно (!) принимал 45 различных таблеток. Но стоило отцу заговорить о Мюллере — закрывался. Это утвердило папу в мысли, что тот в 45-м выжил и сбежал в Латинскую Америку. Эту версию он и использовал в романе о Штирлице «Экспансия»...

Манеры Скорцени были безукоризненны. Он прекрасно говорил по-английски и по-итальянски, знал латынь, но отца неприятно поразили его жажда к однозначным оценкам и бескомпромиссность в осуждении чужих. Главное для таких людей — жестко обозначить врага, не своего, навалиться на него всем миром, смять, втоптать в землю, уничтожить, после этого наступит рай на земле. Скорцени повторял рефреном: «Фюрера обманывали!» — и этим до странного напомнил папе старых сталинистов, кричавших: «Сталин ничего не знал о злодеяниях!» «Руководителя страны, не знающего о творящихся злодеяниях, переизбирают — в условиях демократии, — напишет отец позднее. — Истинные патриоты Германии пытались Гитлера, как злейшего врага немцев, уничтожить. Они хотели немцев спасти, однако те истерично приветствовали Гитлера, который приказал показать им, как предателей вешают на рояльных струнах. Значит, каждый народ заслуживает своего фюрера? Или как?»

Встреча со Скорцени в который раз отцу подтвердила: сталинизм и гитлеризм — суть две стороны одной медали. Несколько разнились формулировки, но одинаковым было потребительски-презрительное отношение диктаторов к своему народу. Подспудно, более десяти лет после разговора со Скорцени вынашивал отец идею и написал пьесу «Процесс-38». Персонажи недавней истории — Троцкий, Ульрих, Гитлер, Вышинский, Молотов, Жданов, Бухарин — выходили на авансцену и говорили сокровенное. Страшен монолог Сталина.

Отрывок из пьесы «Процесс-38».

Кто, как не я, знаю народ свой. Кто, как не я, прожил жизнь среди них: я их «винтиками» называю, ржою, железками, а они кланяются мне в пояс. Я говорю, что любой другой народ прогнал бы таких, как я, а они — терпеливы, все сносят — так они от слез немеют и многие лета мне поют с амвонов. Как же мне можно с ними иначе, кроме как жестокой строгостью и безотчетным повиновением?! Не потому я жесток с ними, что не люблю, а оттого, что знаю рабью душу их, не способную к тому, чтобы стать в рост и крикнуть небу: «Явись мне, Господи!» Побоятся, поползут в храм просить, чтобы священники замолвили за них слово перед небесами, у самих от страха гортани пересохнут... Как же я могу бросить этот несчастный народ в рабском горе его и юдоли?!

...На следующее утро после встречи Скорцени прислал папе свою книгу мемуаров с автографом. Довольный уникальным интервью и «фашистским» подарком, отец отправился показывать Дарье Мадрид. Зайдя в кафе, невозмутимо заказал два эспрессо и килограмм марихуаны (его манера шутить), чем вызвал страшный переполох. Отец был удивительным человеком: в нем уживались спокойный, все видевший, все понимавший мыслитель и аналитик и куролесивший бунтарь, бросавший вызов закостеневшему в нудной мещанской добропорядочности миру. «Я разный, я натруженный и праздный, Я целе-нецеле-сообразный!» — цитировал он фразу поэта, объясняя многоликость свою...

...После интервью с Эдвардом Кеннеди, в Америке, в аэропорту, на рутинный вопрос полицейских, есть ли у него наркотики или оружие, отец с энтузиазмом ответил, что есть и то и другое. Стражи порядка немедленно на него бросились, заломили руки и стали обыскивать. «Я пошутил!» — объяснил папа держащему его здоровенному двухметровому

громиле. «Don't joke with American Secret Service!»* — погрозила ему пальцем симпатичная начальница громилы с пистолетом на боку и отпустила восвояси.

Прекратив травмировать вражеские секретные службы, папа продолжал «отрываться» с рядовыми гражданами. Никогда не забуду нашу поездку в Голландию. Амстердам, лето, утро, солнце. День начинается замечательно: папа, Дарья и я бродим по музею Ван Гога, потом катаемся на катере по тихим каналам, дивясь приюту для бездомных кошек на одном из пришвартованных к набережной корабликов. Вечером отправляемся в самый страшный квартал, находящийся рядом с улицей Красных фонарей. Мельком взглянув на девиц, призывно улыбающихся в подсвеченных неоном витринах, отец заводит нас на улицы, где полицейские предпочитают не появляться. Тусклый свет, закрытые ставни, снующие в темноте торговцы наркотиками и прочие подозрительные личности. Идем, боязливо прижимаясь к папе. Дарье — двадцать один год, мне — тринадцать. Зачем папа нас сюда притащил? Затем же, зачем его герой Штирлиц показывает невесте наркоманов и проституток. Хочет, чтобы мы знали жизнь во всех, даже самых страшных ее проявлениях. Одно условие — он должен быть рядом, всегда готовый нас защитить. С полкилометра бредем по жуткой улице и натыкаемся на мрачного китайца, — тут папа заводится. После публикации романа «Бомба для председателя», в котором он раскритиковал Мао, его объявили врагом Китая номер 137 (помошники Мао присваивали идейным противникам порядковые номера) и въезд туда ему был заказан. Отец затаил обиду. Встреча с представителем этой нации давала ему, слегка выпившему, возможность высказать накипевшее. На хорошем английском папа поминает Мао, культ личности и культурную революцию всю целиком. Голландский китаец оказывается патриотом: замирает на месте и какое-то подобие чувств появляется на его непроницаемом лице. Что за чувства пробудил в нем папа, становится ясно, когда китаец, направлявшийся первоначально в противоположную сторону, круто разворачивается, достает финку и с полквартала идет за нами на расстоянии двух метров. Не знаю, хотел ли он обидчика «пощекотать» или только пугал, но нам с сестрой было страшно. Папа же не проявил ни малейшего беспокойства и даже, пару раз обернувшись, добавил «комплименты» в адрес китайского руководства. Отцовская невозмутимость помогла — китаец незаметно исчез в одном из мрачных переулочков.

---

* Не шутите с американской секретной службой! (*англ.*).

В 1985 году отец отправился с Дарьей в Никарагуа. Он готовил репортажи о своих друзьях-писателях, журналистах, революционерах: Омаре Кабесасе, команданте Томасе Борхе, Доне Марии. Дарья писала с них портреты маслом и делала карандашные зарисовки. Ситуация была жутковатая — вовсю стреляли, без калашникова и гранат из дому не выходили, но папу это ничуть не смущало...

...Вернувшись из Никарагуа, он немедленно отправился с Дарьей в Афганистан. Эту маленькую страну он знал и любил с 50-х годов, хотя и был поражен тогда отчаянной нищетой. Приехав снова, попытался дать максимально объективную оценку происходившего. Дети ходили в школы, женщины работали с открытыми лицами, экстремисты не забивали девушек камнями за приоткрытую щиколотку. Цена за это относительное благополучие (люди Бабрака пытали врагов революции, те отплачивали тем же, в подвалах томились тысячи окровавленных пленников) была непомерно высока — каждый день «Черный тюльпан» увозил десятки, сотни гробов...

Папа не знал того мальчика, да и я видела один раз, мельком, на дне рождения моей лучшей школьной подружки, которой исполнилось тринадцать. Родители ретировались на кухню, чтобы дать нам всласть напрыгаться под итальянцев и умять дивный домашний торт, обсыпанный крохотными разноцветными шоколадными шариками... Он был единственным сыном приятельницы мамы моей подружки. Не очень красивый, худенький, с темно-русыми волосами и добрым лицом, в котором появлялось что-то беззащитное, когда он улыбался. Ранимый, мягкий, мальчик без отца, мамина гордость. Он разительно отличался от наших уверенных в себе одноклассников — дипломатических сынков, поэтому я его и запомнила... Через пять лет его забрали в Афганистан, хотя и существовало вроде бы гласное или негласное распоряжение — единственных сыновей туда не отправлять. Наверное, больше негласное: деловые мамы, ярко накрасившись и вооружившись лучшими коньяками, конфетами и хрустящими конвертами, шли к краснолицым майорам и подполковникам и всеми правдами и неправдами выбивали тихие подмосковные стройбаты. Его мама не сумела.

Когда привезли гроб, она потеряла сознание. Соседки привели ее в чувство. Взглянув на гроб, она глухо закричала и снова упала. Так прошел день. Ее отходили. Я увидела эту женщину много лет спустя, дома у моей повзрослевшей подружки, — она сидела на красивой кухне с модной мебе-

лью темного дерева, быстро и некрасиво ела рыбу, запеченную в духовке, и, не переставая жевать, негромко повторяла: «Совсем нет вкуса... Рыба, говорю, совсем без вкуса, бумага...» Я увидела ее глаза — в них уже не было ни отчаяния, ни боли, в них не было ничего... Жива ли она еще? Если да, то хранит начавшие желтеть фотографии худенького паренька, его школьные тетрадки, рисунки к 8 Марта, дневники с отметками и корявыми подписями учителей. А если нет ее, то и этого не осталось. Не очень красивый, смущенно улыбающийся паренек исчез окончательно, превратился в прозрачную тень, далекое эхо. И непонятно, что несправедливее и абсурднее — сам факт его смерти или то, что скоро исчезнет даже память о нем.

Папа не знал того паренька, я видела лишь раз, но он стоит у меня перед глазами. Как же его все-таки звали? То ли Андрей, то ли Миша. Наверное, это не так важно, он — один из десятков тысяч убитых мальчиков и у всех — его беззащитное лицо. А у всех мам — пустые, серые, будто выжженные нестерпимой болью глаза.

В Афганистане было страшно. Сестра рассказывала, что недалеко от них взорвалась на мине машина. Днем и ночью слышались далекие канонады и близкие автоматные очереди. Отец чувствовал себя под пулями совершенно спокойно: беседовал на своем любимом пушту с афганцами, ездил по стране. Невозмутимый, в подаренном ему афганском национальном костюме — расшитых серебряной ниткой белых шароварах и такой же рубашке, отстукивал на машинке очередную статью: «Александр Довженко сказал как-то: “Смотрите в дождевую лужу — даже в ней вы увидите звезды, если обладаете даром видеть”. Дети, весело идущие в школу, — это звезды нового, за ними — будущее. Видеть это новое следует прежде всего в лицах тех, с кем довелось встречаться. Лица людей — это коллективный портрет народа, а их глаза тенденция. Я был счастлив, что мог всматриваться в глаза моих афганских друзей — они смотрят с надеждой».

Со всех портретов женщин и детей, привезенных из Афганистана Дарьей, на меня действительно смотрели огромные глаза, в которых теплилась надежда. Для многих она сменилась ужасом, когда пришли талибаны, а вскоре глаза и вовсе закрыли густой вуалью, — как зеркало в доме покойника.

Папа отрицал трагедию как нечто постоянное, для него она была нарушением равновесия, временным явлением. Он хотел верить в доброе человеческое начало и в высшую мудрость, но порой, разочарованный жестокостями и злом, тво-

рящимися в мире, терялся. В один из таких моментов, в очередной «горячей точке», записал в дневнике: «Дети — единственно чистые создания на свете. Помимо множества мировых "союзов" создать бы всемирный союз детей, они бы навели порядок в этом дряхлеющем, амбициозном мире».

Скоростные сдвинулись пределы,
А мораль по-прежнему стара:
«Свят есть Бог, хоть первородно тело,
И весна — суть лучшая пора».

Почему? Ведь однозначность истин
Будет мстить отсталостью и тьмой.
Все неправы. Прав один лишь гений,
Отменивший турбовинтовой.

Гений тот ломал себя и мучил,
Самолет смертельный флаттер бил,
Пробивая грозовые тучи,
Гений о спасении молил —
Не себе, а той своей идее,
Для которой лишь один предел:

Чтоб исчезли в скоростях пределы,
Как в любви — дворовые наделы,
Как в игре отравленные стрелы,
И чтоб мир скорее поумнел...

Скорости — им нет определенья,
Скорости — тревоги наших дней...
Он погиб. Не надо сожалений —
Мир живет умнее и быстрей:

Формула, записанная мелом,
Станет делом миллионов рук,
Бумеранг, запущенный умело,
Возвратится, сделав полукруг.

Скорости есть символ первородства
Мощностей направленных вовне —
Доброта, Отвага, Благородство
Здесь нужны. Чуть меньше — на Луне.

ПЕРЕСТРОЙКА

Когда в 85-м году папа получил квартиру в знаменитом Доме на набережной, его кузина Галя Тарасова язвительно-шутливо спросила: «Уже мечтаешь о мемориальной доске, братишка?» Досок на фасаде этого дома и впрямь немало, но столь далеко идущих планов у папы не было, просто понравились планировка и высокие, в три с лишним метра, потолки. В коридоре он развесил фотографии афганских и никарагуанских друзей, деда, Сименона, Кармена. В столовой, выкрашенной Дарьей в болотный цвет, — несколько полотен Кончаловского и ее работы. Мой портрет (в старинном платье на фоне средневекового замка) купила за баснословную по тем временам сумму — 10 тысяч рублей Третьяковская галерея, а портреты Никиты и Татьяны Михалковых остались. Портрет Татьяны в красном платье, с длинными золотистыми волосами чем-то напоминал работы Боттичелли, и папа его очень любил. Над нами обитала семья Орджоникидзе, под нами, на первом этаже — дворник с женой татаркой. Напившись, он ее страшно избивал, а она, как восточная женщина, покорно его хулиганства сносила. Окна выходили во внутренний зеленый дворик — там было тихо и ветер доносил соблазнительный запах шоколада и горячего печенья с соседней фабрики «Красный Октябрь». Мама тогда жила подле Таточки, которая хворала, мы — с папой.

Меня заинтересовали два брата — доходяги лет пятидесяти, вечно сидевшие во дворике на выкрашенной в зеленой цвет скамейке, — то ли близнецы, то ли погодки на одно лицо. Они почти всегда были пьяны, но спокойны и корректны, знали всех жильцов, вежливо здоровались с проходящими. Время от времени один из них исчезал на пятнадцать суток, но неизменно возвращался на излюбленную скамейку с бутылкой пива. Иногда к ним подсаживались пришлые забулдыги или кто-нибудь из «элитных» грузчиков — во дворе размещалась столовая лечебного питания, или, попросту,

кремлевская «кормушка». Что-то двух братьев от всех этих выпивох отличало. Вскоре соседи рассказали, что они — сыновья бывшего коменданта Кремля и в детстве жили в одной из роскошных квартир. Утром провожали папу на почетную работу под бодрое «Солнце красит нежным светом», шли отутюженные и причесанные в престижную школу, по вечерам играли во дворе в лапту и салочки. Когда коменданта то ли в 30-х, то ли в 40-х сняли (не знаю, расстреляли или нет), из квартиры их выгнали. Где они жили, чему учились, кем работали да и работали ли — неизвестно. Но самым светлым и дорогим местом остался для них маленький, сумрачный от густой листвы дворик, и казалось, отвези их за тысячи километров — они, как верные насиженным местам кошки, вернутся к Дому на набережной...

...Всякий раз, когда папа приезжал из странствий, квартира приобретала вид туристического агентства, представлявшего страну, где он побывал. Из Африки приезжали статуэтки газелей темного дерева и страшные маски. Из Латинской Америки — расшитые попугаями и цветами длинные платья, в которые мы с сестрой немедленно облекались. Из Китая, куда папу наконец пустили с делегацией писателей вместе с Михалковым и Евтушенко, — фарфоровые вазы, кассеты с современной китайской музыкой — молодая певица пела что-то необычайно ласковое, мелодичное и абсолютно непонятное, и всевозможные чаи и коренья в банках — все лечебные и чудотворные.

Папа по тем временам считался очень богатым человеком (в рублях), но поскольку за зарубежные публикации наше справедливое государство, как я уже упоминала, заботливо брало в свою казну более 99 (!) процентов дохода, то, чтобы выполнить все наши многочисленные «заказы», ему приходилось за границей рассчитывать траты до последнего доллара, лишая себя необходимого. В конечном итоге отцу это надоело, он решил обойтись без услуг всемогущего ВААПа и стал заключать контракты на издания напрямую с западными издателями. Отец всегда стоял за законность и с удовольствием бы заплатил 60, 70, даже 80 процентов с дохода, но позволять себя обворовывать больше не хотел...

...Он был одним из журналистов, освещавших женевскую конференцию. Когда задал вопрос Горбачеву, тот, щурясь от яркого света юпитеров, посмотрел в зал и радостно сказал: «А-а, да это Юлиан Семенов! Знаем, уважаем!» А потом стал отвечать по существу. В первой трансляции это на нашем телевидении прошло, во второй заботливые сальери слова о любви и уважении предупредительно вырезали. Па-

пе, конечно, было обидно, но он смотрел на происходящее философски. «Главное счастье литератора, — говорил он, — если он убежден, что его книги читают. В этом смысле я человек счастливый. О читателе лишь я и думаю, когда пишу, а не о том, чтобы понравиться литературным снобам».

...К папе приходили письма со всего Союза — люди просили помочь достать его книжки. В магазинах они расходились моментально, на черном рынке стоили непомерно дорого. Даже Юнна Мориц прислала однажды шутливое послание с просьбой посодействовать с подпиской и обещала воспеть за это в поэтическом сонете. Одно письмо меня откровенно поразило. Работницы фабрики рассказывали, что их коллега переписывала взятые в библиотеке папины книги от руки (!) в обеденный перерыв, и просили избавить ее от каторжного труда, прислав несколько романов о Штирлице. Чем больше росла любовь читателей, тем негативнее относились к нему, как он их окрестил, «литературные снобы».

Вспоминает кандидат филологических наук Тавриз Аронова.

На вторую встречу с Юлианом Семеновым я шла как на заклание — несла рукопись первого варианта диссертации, на страницах которой разгулялась в мыслях, ощущениях и выводах без малейшей оглядки на цензуру. Я была почти уверена, что Семенов будет, мягко выражаясь, разочарован, обнаружив, что диссертантка позволила себе отнюдь не тяжеловесно-академический стиль в своем научном исследовании. Да и выводы, сделанные мною, могли показаться писателю не просто неожиданными и непозволительно резкими, но и непочтительными, не отвечающими общепринятым стандартам. Но нет! Он его одобрил, был приятно удивлен и обрадован общей тональностью и выводами диссертации. Много смеялся и уверял, что в таком виде работа не пройдет через бастионы профессуры кафедры советской литературы МГПИ им. Ленина, где я была аспиранткой.

Увы, Семенов оказался прав. Кафедральные оппоненты буднично-серыми голосами всего за пять минут доходчиво объяснили, что это интересно, элегантно, временами даже умно (вероятно, им на удивление), но в таком непричесанном виде не пойдет. Не надо умничать и выписывать сложные пируэты — не о Достоевском пишете.

Вся в тоске и скорби, я позвонила Семенову. А он вдруг, совершенно неожиданно для меня, откровенно-безудержно обрадовался.

...Готовый вариант диссертации с авторефератами и всеми отзывами официальных оппонентов я принесла Семенову в его шикарную квартиру в Доме на набережной. Мы сидели втроем (писатель, мой научный руководитель Алексей Васильевич Терновский и я) на кухне, пили зеленый чай, шутили, смеялись, но как-то в полсилы. Будто истощился заряд оптимизма и веселья... Прощаясь, Юлиан Семенович вдруг протяжно-тоскливо сказал:

— Завалят тебя на защите! Может, мне прийти для моральной поддержки?

Алексей Васильевич, помолчав, задумчиво сказал:

— Нет, это может быть расценено как психологическое давление. Вы слишком знамениты и популярны.

— Да ей-то за что страдать?! — воскликнул Семенов. — Мои враги будут рассчитываться с этой девчушкой!..

За «девчушку» я немедленно обиделась, запальчиво так, по-юношески порывисто вскочила и, глядя ему прямо в глаза, отчеканила:

— У вас нет врагов, у вас есть лютые завистники.

Семенов, преодолевая внутреннее сопротивление, сказал:

— У тебя, деточка, есть еще один серьезный минус: ты еврейка. Еврейка, защищающая диссертацию по творчеству полукровки! Тебе придется трудно.

Глупое провинциальное дитя, я высокомерно-надменно улыбнулась:

— Я готова к любым баталиям и уверена в победе. Ваши завистники не могут не знать, как вы любимы народом. Штирлица обожают все. Даже... преступники. Да-да! Мне об этом рассказал начальник колонии в Узбекистане, мой студент-заочник. Он меня спросил, где можно достать ваши книги. В его колонии, в тюремной библиотеке, набралось 73 заявки на ваши произведения. Одна из заявок — от вора в законе!

Семенов выслушал мою тираду, а потом сказал:

— Я не смогу сидеть и ждать твоей защиты. Лучше уж в Ялту полечу.

Алексей Васильевич даже обрадовался:

— Да, это мудро. А мы уж тут сами, без вас справимся.

...А назавтра нас ожидал такой мощный выпад из стана завистников Юлиана Семенова, что мы не просто изрядно поволновались, а попросту впали в глубочайшую, почти безысходную тоску-печаль. Представьте себе мое потрясение, да что там потрясение, — шок, когда главный оппонент — зав. кафедрой Лит. института им. Горького, доктор филологических наук, профессор, ровно за сутки до означенного срока сдачи документов вдруг отказывается от защиты, если не будут из-

менены некоторые формулировки и выводы, напрямую касавшиеся Юлиана Семенова. Справедливости ради надо отметить, что диссертацию он одобрил, но... у него были профессионально-дружеские связи с некой группой неособливо удачливых писателей и журналистов, которые, кто тайно, кто явно, стремились усложнить жизнь Юлиану Семенову. Они использовали в качестве рычагов давления и влияния ложь, клевету, слухи, домыслы, вымыслы, а то и прямые запреты, если имели на это возможность. Мой оппонент не мог противостоять жесточайшему давлению, которое оказывали на него эти люди. К счастью, он оказался не настолько коварным, чтобы вынести смертный приговор моей диссертации прямо на защите, но весьма малодушным, ибо о своих претензиях заявил только за сутки, хотя работа находилась в его распоряжении полгода. Авторитет Алексея Васильевича, полное доверие ему, как научному руководителю, ученому, помогли нам найти удивительного человека — доктора филологических наук, профессора Петра Ивановича Плукша. Профессор Плукш, сам с удовольствием читавший Юлиана Семенова, очень удивился, что нашлась в «далекой Азии столь рисковая аспирантка». Он с явным, искренним, а не показным энтузиазмом согласился стать моим оппонентом. Конечно, он вздохнул, когда мы его поставили прямо-таки в прифронтовые условия (написать за сутки отзыв — дело нешуточное), но на следующий день, в 6.15 вечера под неодобрительно-строгим взглядом ученого секретаря, еле переводя дух, я сдала все отзывы и диссертацию в секретариат. Я опоздала на 15 минут. Все заканчивали работу в 6 часов. До защиты оставалось ровно тридцать дней, как и было положено по инструкциям ВАК.

Молодая ученая защитилась. Семнадцать проголосовало за, четыре — против. Перед выходом к оппонентам научный руководитель ее «накачивал», как боксера перед боем: «Не сдавайся. Будут провоцировать — держись. Будут критиковать — игнорируй. Ты должна реабилитировать жанр! Вперед, отступать нельзя!» Когда «экзекуция» закончилась, всхлипывая после нервного напряжения, позвонила отцу в Мухалатку. Тот, звонка ждавший, радостно прогремел в трубку: «Только четверо против?! Я думал, будет больше! Молодчина, поздравляю!»

Вернувшись в Ташкент, Аронова с увлечением стала читать в своем институте лекции по творчеству Юлиана Семенова. Студенты, прослушавшие ее курс, лучше всех других были подкованы по истории.

Отец радостно-недоверчиво посмотрел на присланную Тавриз кандидатскую в синем переплете и бережно положил в шкаф. Время от времени я ее доставала, с удовольствием читала, смаковала наиболее удачные пассажи... Папа не хвастался ей перед друзьями, не «задавался» — не в его характере было почивать на лаврах.

...«Не бойтесь верить людям, Кузьмы, — часто говорил отец нам с сестрой. — Неверие — приговор к одиночеству. Поверь и обретешь друга, пусть ненадолго, на неделю, на месяц, и даже если потом наступит разочарование, память об этом времени дружества у тебя не отнимет никто, а это — самое важное»... Отец умел верить, и умел дружить, и умел прощать — легко, с улыбкой, как прощают только самые сильные из нас...

Теплый май 1987 года. В нью-йоркском аэропорту проверка паспортов занимает от силы две минуты. Просматривая отцовский паспорт, высокий белобрысый пограничник в темно-синей фуражке спрашивает:

— Цель вашего приезда?

— Конференция детективных писателей и вручение премии Эдгара По, — отвечает отец.

— Эдгар По? А что это за парень, Эдгар По? — интересуется пограничник.

— Это ваш известный писатель, его знают и у нас, в России.

— Вот как! — Представитель закона сверкает белозубой улыбкой. — Тогда передавайте ему от меня привет! — И шлепает печать в наши паспорта. Мы в Америке!

Художник Михаил Шемякин встречает нас на пороге своей нью-йоркской мастерской. Он в высоких черных сапогах, черных брюках, замазанных краской, и в куртке. За ним — безмолвной тенью — рыжеволосая худенькая девушка в старомодном платье — Сара, молчаливо обожающая и молчаливо ревнующая его ко всем, независимо от пола и возраста.

Шемякин показывает мастерскую: по стенам ящики с материалами по искусству. Все, начиная от Древнего Востока и заканчивая современной американской живописью. Подводит к маленькому постаменту, на котором стоит перевязанная черной лентой гитара, опускает голову:

— Володенька Высоцкий, он здесь часто на ней играл.

Потом достает свои картины — странные, красивые, чуть болезненные: маски, женщины, звери. Дарит нам литографии, каждую подписывает витиеватым старорусским почерком с «ятем» и вензельками... Подходит к фотографиям на стене. Две старые, выцветшие — красивая женщина с огромными глазами и усатый суровый господин в мундире.

— У меня мать актриса была, а отец — военный, из дворян, а вот и дочка моя. — Шемякин указывает на фотографию коротко остриженной, увешанной металлическими цепочками девочки в потрепанной кожаной куртке, поясняет: — Три года назад снимал, панковала тогда. Она сейчас в Париже живет, рисует интересно.

Заходит в гости режиссер Оливер Стоун со светловолосой голубоглазой красавицей-женой — актрисой.

— «Взвод» — это моя исповедь, — объясняет он. — Я провел во Вьетнаме год и показал в картине все, что за тот год увидел.

— В каком году вы там были? — спрашивает отец.

Выясняется, что они находились там в одно и то же время. И хотя «с разных сторон» — воспоминания их похожи: полуразрушенный Лаос, раненые, ночные налеты и смерть, которая совсем рядом.

— Собираюсь снимать фильм о Второй мировой. Главная героиня — русская, место действия — немецкий концлагерь...

Стоун с женой быстро уходят — завтра съемочный день, к тому же дома ждет новорожденный сын. Дожидаясь лифта перед огромной мастерской Шемякина, Стоун обнимает жену и с удовольствием вдыхает запах ее волос. Считается, что художник всегда одинок. Это так, но, к счастью, бывают и исключения.

— Ну что ж, поехали к отцу! — поднимается Шемякин с огромного старинного кресла черного дерева.

«Отец» — низенький, толстый, с добрыми улыбающимися глазами грузин — хозяин ресторана в центре Нью-Йорка, уже ждет нас. Сегодня — 9 мая, ресторан для американцев закрыт, оркестр играет «День Победы», накрыт стол. Темнеет быстро, наступает теплый весенний вечер, и нет-нет да и появится в проеме закрытой стеклянной двери лицо очередного любопытствующего: «Что за праздник сегодня отмечают русские?»

Шемякин встает — большие руки, за толстыми линзами очков сурово блестят темные глаза: «За День Победы, за нашу Победу!» И опять гремит оркестр, и сверкает блестками маленькая армянская танцовщица, и «отец» по-хозяйски су-

етится вокруг стола, ухаживая за каждым гостем. Шемякин говорит мне тихо:

— Два месяца назад у него убили единственного сына. Открыли дверь и из автомата, в упор.

— За что?

— За что-то, а может, и ни за что, так просто. А если серьезно, то это дела «общественности» (так у нас называют русско-еврейскую мафию). Убить человека стоит всего 700 долларов.

Шемякин закурил, глубоко затянувшись:

— Тогда я пришел к нему и спросил: «Можно, я буду вас звать "отцом"?» И он ответил: «Можно, сынок».

Над Нью-Йорком опускается ночь, ворчат поливальные машины, улицы пустеют — как-никак уже четыре, неугомонны лишь огни рекламы. В дверях ресторана стоит маленькая фигурка — это «отец», глядя нам вслед, он по-прежнему улыбается...

...Вскоре папа помог организовать приезд Шемякина в Москву — несмотря на перестройку, пришлось «нажимать на рычаги». Были приемы, конференции, интервью. Отец написал восторженную статью, упомянув о «трагедии художника вне России». Шемякин резко выступил в ответ: «Не надо говорить за меня. Не было трагедии». Что отцу оставалось после этого делать? Он продолжал хранить память о нескольких неделях дружества...

...Папина приятельница Мэри Фриск ведет его к крупнейшему американскому издателю детективной литературы господину Батиста.

— Батиста, это испанская фамилия? — спрашиваю я Мэри.

— Да, он испанец.

— Тем лучше, — замечает отец, — представится возможность поговорить по-испански!

Однако в ресторане ему навстречу поднимается типичный голубоглазый американец:

— Сразу предупреждаю: я не знаю ни слова по-испански. Америка — это котел, перемалывающий все национальности. Так что английский, только английский.

Батиста краток, вопросы задает без «воды»:

— Кого из советских писателей вы предложили бы здесь напечатать?

— Ардаматского, Цырулиса, Вайнеров, Дудко, — перечисляет отец.

— А каким, на ваш взгляд, может быть название спецномера журнала, посвященного советскому детективу?

— «Вот пришли русские», — шутит папа.

— Кстати, прекрасное название, с ним кассовый сбор обеспечен. Обязательно посоветуюсь с моим адвокатом...

Меня поражали свобода и раскованность, с которой отец вел себя за границей с дельцами, богатейшими людьми. Открытость, умение слушать, вести диалог, переубеждать собеседника или, если понимал, что тот прав, соглашаться. Он был открыт, прост, искрометен и одинаково хорошо себя чувствовал в беднейших кварталах, бандитских районах и на роскошных приемах... По дороге в отель, на маленькой улочке в Манхэттене со старыми, неказистыми домами видим дверь с табличкой «Дом престарелых актеров». Отец легонько ее толкает — темная каменная лестница круто спускается вниз. Вдруг за спиной раздается слабый голос: «Please, help me»*. Оборачиваемся: старушка со слезящимися глазами, с палочкой тянет к нам сухие руки — спуститься самой ей уже не под силу. Спускаемся, держа ее под руку. Небольшой зал, длинный стол с грубой посудой и одни старики. Некоторые ковыляют сами, но большинство в инвалидных колясках. Уходя, еще раз вглядываюсь в их выцветшие лица. Неужели всего несколько десятков лет тому назад эти люди играли на Бродвее, репетировали, гримировались, лихо отплясывали чечетку, снимались в фильмах, пели? Как же страшна в своей неумолимости старость и что может быть страшнее старости забытого, одинокого актера...

Мы приглашены на выставку Хуана Миро Аллом Рубинстейном. Заезжаем за ним домой. Алл — огромен, одет в черный кожаный костюм на манер охотничьего наряда. Его дом — колоссальное нагромождение телевизоров, сверхсовременной мебели, аквариумов, ламп, роботов и баров. Алл — фанатик телевидения, его самый большой телевизор ловит 320 программ по всему миру. Он любит путешествовать. Подведя нас к карте мира, с гордостью говорит:

— Видите эти красные крестики? Так я помечаю места, где уже был.

Если верить пометкам, Рубинстейн объездил весь свет. За верность своему увлечению даже получил от авиакомпании бесплатный билет на кругосветное путешествие...

У подъезда ждет бесконечно длинный, на десять человек, кадиллак Алла. Едем на выставку. Большое ультрасовременное здание из светлого камня ярко освещено, вход только по приглашениям. Здесь собрался цвет Нью-Йорка: художники, критики, писатели, актеры, адвокаты, журналисты. От обилия

---

* Помогите мне, пожалуйста (*англ.*).

фраков и драгоценностей так рябит в глазах, что не сразу начинаешь воспринимать живопись, к тому же пробиться к ней совсем не легко. Переходим, а вернее, проталкиваемся от картины к картине и никак не можем разобраться в обилии точек, палочек и кружочков. Отец замечает: «Быть может, это и консерватизм, но, по-моему, шумные премьеры и вернисажи с вавилонским столпотворением — от лукавого. Настоящее начинается, когда залы после первого бума пустеют, гулкими становятся шаги и перед каждой картиной можно стоять долго-долго, разглядывая и ведя безмолвный разговор».

А где же Алл? Оглядываемся и видим его в дальнем конце зала, в одиночестве. Все старательно обходят его стороной. Огромный бородач выглядит здесь потерянным, лишним и никому не нужным. Через несколько минут он незаметно исчезает.

У Алла трехэтажный дом в центре Нью-Йорка, огромный автомобиль с личным шофером, но руки ему не подает никто — ведь он владелец одного из самых крупных порножурналов США. Что поделаешь, издержки профессии.

«Бойся однозначности и резкости суждений, — сказал мне тогда отец. — Помнишь, я уже говорил, внутри у нас и Бог, и дьявол, но ты всегда старайся найти хорошее, божье — его больше. Не суди людей. И еще — бойся обидеть. Это легко сделать, даже если на первый взгляд человек силен, независим и неуязвим. Вспомни садик Алла во внутреннем дворике его дома». И я вспомнила и поняла. Садик у него крохотный: игрушечные дорожки выложены гравием, фонтанчик кукольный, а на маленькой клумбе — нежные, хрупкие, удивительно прекрасные цветы...

Странное слово «доверие».
Похоже на жеребенка,
Нарушишь — чревато отмщением,
Словно обидел ребенка.

Нежное слово «доверие»,
Только ему доверься,
Что-то в нем есть газелье,
А грех в газелей целиться.

Грозное слово «доверие»,
Тавро измены за ложь.
Каленым железом по белому.
Только так и поймешь!

Вечное слово «доверие»,
Сколько бы ни был казним,
Жизнь свою я им меряю,
Принцип неотменим.

«Шератон» — огромный небоскреб близ Бродвея, одна из самых престижных гостиниц Нью-Йорка. Шесть часов вечера. У входа в «Шератон» — оживление, бесшумно подъезжают кадиллаки, ролс-ройсы и лимузины, из них выходят солидные седовласые господа и дамы в белых кружевных накидках или черных декольтированных платьях. Это писатели со всего мира спешат на открытие международной конференции, посвященной Эдгару По. Гигантский зал, бесконечные зеркала, красные стены. Все ослепительно улыбаются и очень громко разговаривают. Отец досадливо морщится: «Ей-богу, голова разболится, также нельзя, кричат, как дети». Шум в зале действительно неимоверный, а людей столько, что, потеряв кого-то в толпе, вряд ли найдешь. Торжественный момент — вручение премий. Американцы на них щедры: тут и премия за лучший детективный рассказ, и за повесть, и за роман, и за сценарий, и даже за лучший диалог. Всего тридцать премий!

После вручения слово предоставляется отцу и он начинает его рассказом о смешном пограничнике, передавшем привет По. В зале взрыв хохота. Смеется древний американский старец, написавший свою первую книгу 70 лет назад, заливается молодая начинающая французская писательница, сотрясается толстая литературная дама с большущей золотой сионистской звездой на животе, хохочет итальянский автор. Смех, добрый смех, а где он — там всегда есть надежда.

Когда в 88-м были опубликованы папины «Ненаписанные романы», в которые вошли его ранние «антисоветские» рассказы и исследование-анализ истории страны с 1924 года, к нам домой по почте пришел смертный приговор: группа «Справедливость» требовала немедленно опубликовать опровержение романа в центральных газетах, такое же письмо было отправлено Рыбакову, напечатавшему «Дети Арбата». В противном случае обещали привести приговор в исполнение в течение 90 дней. Папа терпеливо ждал народных мстителей два месяца, а потом мы уехали с ним в путешествие по Испании.

В 1974 году отец впервые отвез туда Дарью. Написал о путешествии рассказ. В ответ вышел злой пасквиль в «Литературке»: «Пустите Дуньку в Европу». Сильные, как правило, добры. Желчно злы — слабые, лишь они трусливо бьют из-за угла, умело выбрав время и стараясь сделать как можно больнее, будто мстя за слабость свою. Сестра жаловалась: «Надо мной в училище смеются!» Отец тяжело молчал. Он всегда умел выносить удары, направленные против него, лишь когда задевали нас, становился беззащитен...

Сначала папа показал мне величественный, нарядный Мадрид. Потом, арендовав маленькую машинку, повез в Памплону. Близился Сан-Фермин, коррида. Город был наводнен туристами, в отелях ни одного свободного места. Отец чудом нашел свободную комнату с балконом на Калье-Эстафета, улицу, по которой на рассвете гонят быков. Наши соседи по квартире — молодые американцы: джинсы застираны до белизны, майки рваные, красные платки на шеях. Всю ночь они галдели, беспрерывно бегали по скрипучей лестнице и пили вино — набирались храбрости (через несколько часов им предстояло стать афисионадо и бежать перед быками). Ранним утром худая говорливая старуха испанка с подагрическими скрюченными пальцами разбудила нас и вывела на балкон. Солнце только вставало, было прохладно. На всех балконах стояли, зябко поеживаясь, люди. Было тихо, потом вдалеке послышался шум, стук сотен копыт, он приближался, нарастал, наконец появились быки. Тут уж со всех сторон раздались истерические крики, в воздухе затрепетали платки, понеслись по улице безумные афисионадо. Впереди быков я заметила несколько баранов с широкими, упрямо-изогнутыми рогами...

— Почему впереди бараны?! — кричу отцу на ухо.

— Кагановичи корриды, — кричит он мне в ответ, — заманивают и ведут за собой доверчивых быков!

— Понятно...

Мы идем в маленький ресторанчик с потемневшими от времени кирпичными стенами, крохотными деревянными окошечками и бело-красными скатертями на темных дубовых столах. Отец заказывает горячий кофе кон-лече (кофе с молоком) и учит меня макать в него теплые маленькие хлебцы — чуррос... Потом ведет на корриду. Подготавливает: «Это не убийство — это честное сражение. Шансы тореадора и быка равны». Затем с азартом комментирует бои, мастерски оценивая быков и очень точно чувствуя тореадора: «Этот играет в бесстрашие, а вот тот по-настоящему смел». А наутро мы уезжаем в Толедо.

Из книги «Отчет по командировкам».

Одни считают Толедо античной столицей Кастилии, другие — самым красивым городом мира — хотя бы потому, что здесь жил великий изгнанник Эль-Греко, потерявший родину и нашедший ее в Толедо, и снова потерявший. В нем, рожденном на Крите, пришедшем через Грецию, Италию и Францию в Испанию, — величие и трагизм художника, посвятившего себя

служению правде. Он знал правду, он служил только ей, святой правде, но чтобы делать это, он был обязан стать другом и «приписным живописцем» инквизиции. От него отшатнулись друзья, о нем брезгливо говорили те, которые дерзали — на словах, да и то шепотом, — не соглашаться с инквизиторами; а он, сжав зубы, молча и сосредоточенно работал. Неосторожное слово, сказанное в сердцах, могло принести гибель — не ему — гений не боится смерти, — могло пострадать его искусство.

Первым делом отец ведет меня в дом-музей художника в центре еврейского квартала. А потом мы до гула в ногах бродим под палящим солнцем по узеньким, по-восточному «закрытым» улочкам Толедо, и в маленькой лавочке отец покупает мне деревянную шкатулку с инкрустацией. Вечереет, пустеют улицы, мы не спеша возвращаемся в отель, и шаги наши по булыжной мостовой отзываются гулким эхом.

А в Толедо — вечность,
Ласточек полет,
Сан-Фермин, беспечность,
И кинжалы — лед.

А в Толедо — древность,
Очень много камня,
Странно мало окон,
Сплошь — резные ставни.

А в Толедо — лето,
Лава узких улиц
Захлестнет туристов,
Что бредут, сутулясь.

А в Толедо — праздник,
Все перемешалось,
И в глазах Эль Греко
Вместе — смех и жалость.

Отец встретил перестройку на ура. Ему очень хотелось верить, что на этот раз страна освободится от удушающей бюрократической машины, станет европейской державой, люди смогут иметь свое дело и зарабатывать. Отец не отделял свои интересы от интересов, не буду употреблять выспренное «народа», скажу «читателей». Он надеялся, что средний класс, то есть все население страны (за исключением партийной верхушки, небольшой группы подпольных цеховиков и сотни состоятельных музыкантов, художников и режиссеров), получит возможность зарабатывать, путешествовать, одним словом, жить не нищенской, а достойной жизнью.

В 1986 году была создана Международная ассоциация писателей детективного и политического романа, и отец, как я уже писала, был избран ее президентом. Он, конечно, ликовал, и не только из-за почетного поста, но и из-за открывавшихся возможностей. Немедленно основав российский филиал организации и зарегистрировав московскую штаб-квартиру, начал пробивать свою газету и издательство. О газете, в которой можно было бы рассказать о том, о чем раньше не то что говорить, думать боялись, папа мечтал еще у барона. Давно ему пришла идея и о собственном издательстве. Помню, в самом начале 80-х, в гостинице «Ялта» он с карандашом в руке просчитывал выгоды собственного бизнеса (мне это тогда казалось несбыточной мечтой). В 87-м набрал «команду», пригласил юристов. Те начали выражать сомнения и боязливо ссылаться на всевозможные запреты. Отец переходил на крик: «Васильки! (тра-та-та!) Вы мне не объясняйте, чего у нас делать нельзя, я и сам знаю! Почти ничего нельзя! Вы мне скажите, что можно?!»

Законники, зарядившись его петровской энергией, выискивали юридические лазейки. «Вот это я понимаю, — радовался отец, — в будущем руководствуйтесь золотым правилом: что не запрещено — то разрешено!»

Папа пробивал все: бюджет, помещения, типографию, бумагу. Успевал в один день съездить в десятки организаций. В тот период он, и так спавший шесть часов в сутки, спал еще меньше. И чудо случилось. В 1988 году начало работу папино издательство ДЭМ (детектив, энигма, мистерия), а 13 мая 1989 года Совет министров СССР выпустил постановление о создании московской штаб-квартиры МАДПР. Тогда же были созданы газета «Совершенно секретно» и журнал «Детектив и политика». Никогда не забуду, как он любовался первым номером «Совершенно секретно», упоенно вдыхал запах свежей типографской краски, с нежностью листал и перелистывал страницы и все ликующе спрашивал меня: «Ты понимаешь, Кузьма, что случилось? Нет, ты понимаешь?!»

...Только за первый год работы издательства, журнала и газеты папа смог опубликовать по тем временам вещи уникальные: воспоминания князя Юсупова под названием «Конец Распутина», мемуары вдовы невозвращенца Раскольникова, отрывки из Екклесиаста, речи Каменева, новеллу Гийома Аполлинера, статьи о бомжах и растущем бандитизме, запрещенные еще недавно произведения Орвелла и Набокова. Он обладал безукоризненным литературным вкусом и печатал настоящие сокровища. Люди, изголодавшиеся по

правде, расхватывали отцовскую газету и журнал молниеносно. Человек деловой, европейский, отец расширил «рынок», начав распространение газеты и журнала в тогда еще существовавшей ГДР среди наших воинских формирований. Мечтал создать отель для российских туристов возле озера Мюриц, начал переговоры с Аэрофлотом (обеспечить специальные рейсы для групп) и местными немцами, владевшими землей. За всю свою деятельность назначил себе символическую зарплату — 1 рубль в год и жил исключительно гонорарами. Жизнелюб, умевший и любивший веселиться, папа в чем-то оставался аскетом. Ему по-прежнему было абсолютно неважно, что есть: «Бросил в топку — и ладно», что надевать. Пришлось купить для презентаций черный костюм, но все остальное время он таскал джинсы или военную маскировочную форму, подаренную друзьями-никарагуанцами. Даже в ЦК, куда его иногда вызывали по писательским делам, заявлялся в таком виде. Часто заходившая в гости кузина Галя семенила за ним по квартире, картаво упрашивая: «Юленька, братик, надень в ЦК твой строгий черный костюм, ну очень тебя прошу!» — «Обойдутся, суки», — лаконично отвечал папа и решительно хлопал входной дверью.

Зато когда газета и журнал стали приносить миллионные доходы, отец, по примеру русских промышленников XIX века, занялся благотворительностью и перечислил 100 тысяч рублей (в то время на эти деньги можно было купить прекрасную дачу в Подмосковье) в Детский фонд, 100 тысяч — Армении, пострадавшей от землетрясения, 100 тысяч — фонду «Мемориал», отдал свой гонорар за «Ненаписанные романы» воинам-интернационалистам и открыл для них и жертв сталинских репрессий палату в 15-й городской больнице.

...Это было замечательное время, папа работал без передышки. Первый офис газеты находился в гостинице «Украина». В двухкомнатном номере весь день толпились журналисты, сотрудники, помощники. Встречи начинались в восемь утра и заканчивались около полуночи. В конце концов отец решил спать в офисе, и я иногда оставалась, чтобы составить ему компанию.

В романе «Тайна Кутузовского проспекта», который он тогда чудом успел написать, Костенко спрашивает писателя Степанова (альтер эго отца), открывшего, по сюжету, либеральную газету: «Слушай, а на кой черт тебе эта суматоха? Жизнь прожил вольной птицей, зачем под занавес навесил на себя вериги?» Степанов отвечает: «А кто демократии поможет? Болтать

все здоровы...» — «Демократии в этой стране никто помочь не в силах, — убежденно замечает Костенко. — Утопия»...

...Руководя газетой и журналом, папа продолжал возглавлять Международную ассоциацию писателей детективного и политического романа — МАДПР. Регулярно проводились съезды писателей, дважды папа организовал их в Ялте. Весь день в городе проходили конференции, встречи с читателями, интервью — благодаря феноменальной семеновской энергии маленький городок превращался в кипучую столицу детективного жанра. Вечером наработавшиеся писатели расслаблялись в каком-нибудь ресторане.

Я очень хорошо помню их всех: веселый голубоглазый добряк, отец пятерых детей, Арне Блом — шведская знаменитость в очках с толстенными стеклами, аргентинский писатель бородач Мигель Бонассо, француз Роже Мартан, известные американские детективщики Дональд Вестлейк и Роджер Саймон, поляк Рышард Капуцинский, испанец Андреу Мартин, уругвайский писатель Даниэль Чаваррия, очаровательная японская детективщица Масака Тагава — всегда с макияжем, длиннющими ресницами и массой позвякивавших на запястьях браслетах, и, конечно, старый папин приятель, автор сериала «Четыре танкиста и собака» чех Иржи Прохаска.

В тот вечер все писатели собрались на ужин в отеле «Ореанда». Папа и один болгарский писатель были особенно веселы. Неожиданно отец, гораздый на озорные выходки, решил показать красоту своих мышц (бицепсы у него действительно были будь здоров) и, сняв майку, встал в позу чемпиона по культуризму из Люберец. Болгарский коллега вскочил со своего места с притворно-грозным криком: «Юлиан, этим ты меня не напугаешь!» — и, выйдя на круг, тоже сорвал рубашку. Не умевший сдаваться папа снял, под хохот и аплодисменты самых знаменитых детективщиков мира, ботинки и брюки, оставшись в одних трусах. Болгарин, театрально испепеляя папу глазами, проделал то же самое. Некоторое время они вставали друг перед другом в позы качков, изо всех сил напрягая мышцы. Папа — крепкий, с широченной спиной, и длинный, худой болгарский писатель без намека на мускулатуру. Это было зрелище. Потом «борцов» одели, писатели, похохатывая, разбрелись по номерам, а я повезла папу в Мухалатку. Всю дорогу он по-богатырски храпел. А я первый раз села за руль одна. Дорога на дачу крута, извилиста, темень — хоть глаз выколи. И каким-то чудом, каждый раз, когда мне нужна была помощь, папа, за секунду до этого безмятежно спавший, приоткрывал левый глаз и уверенно говорил: «Притормози!», или «Га-

зуй!», или «Поворачивай бесстрашно, Кузьма, вывернешь!» — и снова засыпал. А с двух сторон узенькой дороги был обрыв — и днем водители туда улетали, но рядом с отцом я никогда ничего не боялась...

Папа настолько любил Ялту, что не только проводил там съезды писателей, но и организовал фестиваль под девизом «Детектив. Музыка. Кино».

Вспоминает журналистка Татьяна Барская.

На приглашение фестиваля откликнулись добрые знакомые Юлиана — Микаэл Таривердиев, Валентин Гафт, Леонид Ярмольник, Георгий Гречко. Не побоялся Семенов пригласить и известного на всю страну следователя по особо важным делам Тельмана Гдляна (тогда на него начались гонения). Августовским вечером 1989 года к концертному залу «Юбилейный» устремились толпы горожан и отдыхающих. В воздухе висел вопрос: «Нет ли лишнего билетика?!» Его, конечно, не было. Увлекательные детективно-литературно-музыкальные шоу продолжались в течение пяти вечеров. Главным героем в них оставался Юлиан Семенов. В совершенно необычном для него белом одеянии он напоминал мифологического героя. Он был счастлив, потому что сбывались все его мечты — зрители ликовали при встречах с актерами, с удовольствием смотрели западные кинодетективы, привезенные с XVI Московского кинофестиваля, на ура проходил аукцион книг его издательства ДЭМ, а главное, — средства, полученные от фестиваля, переводились на благоустройство Пушкинского и Чеховского музеев в Гурзуфе.*

Папа мечтал превратить Ялту в город европейского уровня — привлечь серьезных инвесторов и открыть отели — не пятизвездочные, а доступные для всех, построить трассу Париж — Москва — Ялта, новый большой аэропорт в Симферополе — чтобы принимать туристов. К сожалению, он не успел этого сделать, и Крым на долгие годы остался в заброшенном состоянии и неимоверной нищете. После развала Союза киевские власти им принципиально не занимались, — средней руки дельцы предпочитали ездить на отдых в Турцию и Италию, украинских президентов и премьеров вполне устраивали госдачи, а на развитие туристического бизнеса и инфраструктур плевали — это дело будущего, а им, хорошо усвоившим уроки московских коллег, было не до него — урвать бы свое побыстрее...

---

* Национальный афганский наряд, подаренный отцу в Кабуле.

Я САМ СЕБЕ ДАВНО НЕ МИЛ

Вспоминает писатель Иржи Прохаска.

В 1987 году, во время второй встречи исполкома МАДПР в мексиканском городе Сан-Жуан дел Соль, Юлиан вдруг спросил меня:

*— Тебя исключили из партии?**

Надо сказать, что перед этим из Праги в Москву поступило сообщение, что Семенов общается с человеком, который из-за своей политической позиции недостоин его доверия.

— Да.

— За что?

— Я не согласен с вводом ваших войск в Чехословакию в 68-м году.

— Но ты прав. Это был идиотский поступок. Рано или поздно нам все равно от вас придется уходить, потому что это крупнейшая политическая ошибка, которую придется исправлять. Слава богу, что тут рядом со мной от вас сидит хоть кто-то порядочный.

И с тех пор на многочисленных заседаниях он с гордостью сообщал, что рядом с ним сидит человек, который не согласен с оккупацией Чехословакии.

...Незадолго до начала съезда МАДПР в Праге, в феврале 1989 года, который созывался по инициативе Иржи Прохаски, чешские власти посадили Вацлава Гавела. Отец сразу поехал в Прагу ходатайствовать за него в ЦК КПЧ у Рудольфа Гегенберга и министра внутренних дел Кинцла. Те ему гарантировали, что Гавела выпустят еще до начала съезда писателей. Но... обманули. Американская делегация отказалась приехать, отправила письмо протеста. Отец, как прези-

* Незадолго до этой встречи писатель был исключен из коммунистической партии Чехословакии.

дент ассоциации, оказался в сложнейшем положении. Молчать он, как честный человек, не мог, но и резко выступить не мог. Сам-то он по большому счету ничего не боялся, но тут испугался за свои детища — газету и журнал, — слишком долго мечтал о них. Слишком много сил отдал, чтобы пробить через чудовищную бюрократическую машину. Слишком много интересного и важного надеялся там напечатать для российских читателей. Потому что знал — не то еще время, не простят ему этого: выступит резко — назавтра закроют газету и журнал, и никакие связи не помогут. Да и своего верного друга Прохаску подставлять не хотел. Подними он большой шум, Иржи бы просто-напросто посадили. Поэтому отец и составил «умеренную» петицию, прося президента ЧССР воспользоваться своим правом в духе хельсинкских и венских договоренностей и Вацлава Гавела выпустить. Но даже столь умеренную резолюцию чешские власти опубликовать отказались. Весь ход заседания бойкотировался официальными органами и печатью. Большинство писателей отца поняли, кто-то не захотел. Один истеричный французский писатель, автор «черных» романов Церраль, в знак протеста вышел из ассоциации, опубликовал в Париже возмущенную статью.

А что отец? Он по-прежнему писал, редактировал, печатал запрещенные вещи, первым говоря правду, только вот пить и курить стал еще больше. Делал это с какой-то мстительной радостью самоубийцы, — и затылок у него, хронического гипертоника, болел все чаще мучительной, тупой болью.

Снег идет и слава Богу,
Отдыхаю понемногу,
Скоро, видимо, в дорогу,
Что ж, наверное, пора.

Снег идет. Катанья нет,
Александр и бересклет,
Склон другой, в Николке осень.
В облаках заметна просинь,
Восемь бед, один ответ,
Кому страшно, а мне — нет.

Ожидание барьера —
Звук разорванный холста,
Жизнь прошла, не жизнь — химера.
Сделанное — полумера,
Да, наверное, пора.

Долги ль сборы, коль решил?
Сам давно себе не мил,
Боль в лопатке, индерал,
Срок отпущенный так мал,
Холода стоят всю осень,
Нет Николки, не та просинь,
Восемь бед, один ответ:
Бузина и бересклет.
До свиданья, не до встреч,
Встану снова. Дайте лечь.

Сказать, что отец переживал за перестройку — ничего не сказать. Он сходил с ума, видя, что не туда вел Михаил Сергеевич угрожающе, как «Титаник», кренившуюся огромную страну, не то делал с союзными республиками, колхозами и нетрудовыми доходами, и, как человек неравнодушный, писал ему письма, каждый месяц публиковал передовицы в «Совершенно секретно». Зная историю России как профессиональный историк, отец мечтал для нее о том же, что и Радищев — республике с одинаковыми для всех правами и мудрыми, всеми соблюдаемыми законами. Он не был членом компартии, но был социалистом, хотя справедливо считал, что если Сталин уничтожил в два раза больше коммунистов, чем Гитлер, Муссолини, Франко, Пиночет, Салазар, Чан Кайши и Стресснер вместе взятые, то о нашем отечественном социализме, как о таковом, речи идти не может, ибо определил его люмпен, пришедший на смену убитым партийным интеллектуалам, и писал: «Сталин надругался над кооперативным планом и нэпом, сделал из крестьян — крепостных, погубил всех героев Гражданской войны, построил концлагерей в двенадцать раз больше, чем Гитлер, превратил народ в безмолвное и безликое сообщество следящих друг за другом особей, но при этом мы строили социализм?!» Нет, отец ратовал за социализм европейской или сегодняшней китайской модели — с частной собственностью и мелким и средним частным бизнесом. Видя, с одной стороны, политизацию народа, бесстрашие в отстаивании точек зрения, плюрализм и, с другой, — очереди в магазинах, продолжавшееся царство тотальных запретов, громадное число бедных, все более явные тенденции к шовинизму и национализму, отец, знавший, что голодная свобода — поле для появления новых тиранов, предлагал разумные экономические изменения.

Вот лишь краткие отрывки его статей с реальными предложениями, воплоти которые в жизнь Горбачев, не было бы у нас сейчас капитализма столь дикого, дремучего и безжалостного по отношению к детям и старикам.

Отрывки из статей отца.

1. Немедленно превратить рабочих государственных заводов, фабрик, шахт в собственников этих предприятий, выплачивая им процент с прибыли. Если рабочий и инженер смогут купить акции своих заводов и НИИ, то тем лучше они будут работать. Если пакет акций в капиталистическом обществе схвачен буржуазией, то ведь у нас таковой нет.

2. Немедленное упразднение всех министерств, кроме иностранных дел, финансов, обороны, внутренних дел, здравоохранения, социального обеспечения, просвещения, госкомитета госбезопасности, переведя все остальные в систему концернов, которые координируют работу отрасли, получая за помощь (а не запрещающие инструкции заводам и фабрикам) определенный процент прибыли, в зависимости от того, сколь квалифицированно и быстро помогли своим партнерам. До тех пор, пока министерства забирают у заводов до 80 процентов прибыли, — страна будет продолжать катиться в пропасть.

3. Организация защиты фермеров от пьяного, лентяйствующего люмпен-пролетариата.

4. Немедленно повысить заработную плату учителям, врачам и медсестрам — не символично, а в два раза, как минимум, нет ничего важнее физически и духовно здоровых людей.

5. Заводы, фермеры, шахтеры должны получить право из своих прибылей — справедливых, а не нищенских, брать в аренду, покупать, строить.

6. Немедленно конвертировать рубль, чтобы каждый гражданин получил возможность с помощью ссуды в банке путешествовать и работать (учась работе) за границей.

7. Французская пословица гласит: «Наше — это значит ничье». Сравните подъезд кооперативного дома с подъездом дома жэковского и вы убедитесь в истинности французской мудрости. То же происходит и с землей. Инфляцию и денежную эмиссию можно в какой-то мере победить или уж во всяком случае резко приостановить выпуском акций и продажей земли гражданам Союза ССР.

8. Как-то Хрущев сказал: «Вперед к коммунизму — значит назад, к Ленину». Позволю скорректировать Никиту Сергеевича. «Вперед к величию Родины — назад к Петру Великому, к Петру Столыпину, к НЭПУ!»

Пора принимать закон и переходить от увещеваний к реальным поступкам, как это принято в правовом государстве. В стране катастрофически не хватает валюты. Что может дать немедленный приток валюты? Туризм. Я наблюдал начало туристского бума в Испании — наперекор Франко и его камарильи «ветеранов», стоявших насмерть против того, чтобы открыть границы иностранцам, которые «принесут беспочвенность и цинизм и этим сотрясут основы Фаланги — истинно народного движения испанцев». Франкисты ушли в небытие, а туризм вывел Испанию из отсталости. Нашу Родину сейчас посещает не более миллиона «валютных» туристов. Болгарию — более шести миллионов, Испанию — не менее сорока миллионов. Бюрократия утверждает: «В стране не хватает отелей, нет школы сервиса». Верно, лет пятнадцать назад я написал: «Советский сервис не навязчив». Сейчас он такой же, только хамства прибавилось и кадры фарцовщиков наработали высочайшую квалификацию. Отелей в стране мало, они отменно плохи, но живут в Советском Союзе миллионы людей, которые с радостью примут иностранных туристов и угостят их так, как умеют у нас, — радушно, от всего сердца, щедро. Так почему же не открыть границы и не давать визу непосредственно в Выборге, Чопе, Ялте, — требуя от гостей лишь одно: обменять по льготному туристическому курсу не менее 500 долларов? По приблизительным подсчетам в страну приедет не менее 5 миллионов туристов. Умножим 500 на 5 миллионов. Получим два с половиной миллиарда долларов. Конечно, если начать таскать это предложение по ведомствам, согласовывать и утверждать (помните Маяковского, главначпупс — главный начальник по управлению согласованием), то, глядишь, в начале будущего века мы этот вопрос решим. Не слишком ли мы вольно обращаемся с таким грозным понятием, как время?! Воистине, «не думай о мгновеньях свысока»...

Где закон, который бы всенародно объявил об отмене сотен тысяч нормативных актов, которые по сей день висят дамокловым мечом над местными руководителями?! А ведь они — всей трагичной историей нашей — выращены пугливыми! Их же таинственно и закулисно назначали!

Я не ставлю сейчас вопрос, каким образом и как скоро нам следует освободиться от некомпетентных руководителей — сановных держиморд всех уровней, — безграмотные дураки, знающие только «тащить и не пущать», не могут управлять великой страной, но знаю, что правовое государство — без и вне экономической реформы, которая бы стимулировала, а не привычно, обирающе запрещала — невозможно, сие — фикция.

Право и экономика неразрывны. Подтягивать «бедных» до уровня «богатых», а не низводить «богатых» до уровня бедных — в этом смысл правового государства. Можно по-разному относиться к Столыпину, но его требование, чтобы законы создавались для сильных и трезвых, а не для слабых и пьяных, — справедливо... Мы получили шанс. И этот шанс — последний. Если история может повториться двояко, то наша — лишь Трагедией, размеры которой невозможно себе представить. Забвение этого постулата — преступно. Мы ждем новых законов, но прежде всего необходимо отменить те старые, которые кандалами висят на ногах общества.

...Папу слушали на встречах с читателями и аплодировали, папу взахлеб читали, Ярославский полиграфический комбинат единогласно выдвинул его в депутаты от своего округа (от депутатства отец скрепя сердце отказался — слишком много мечтал еще написать, цейтнот), не прислушивалась только власть. Михаил Сергеевич, округляя руками угловатые фразы, задушевно беседовал с народом и ничего не делал.

...Папа уехал в Мухалатку и написал последнюю свою, пророческую вещь «Синдром Гучкова», которой завершился цикл «Версий». Эта вещь поразила меня отсутствием перестрелок и погонь, к которым все так привыкли в книгах отца, и трагичным напряжением, в котором ему удается держать читателя без всех этих атрибутов. Повесть эта построена как цепь ретроспективных картин и размышлений героя о судьбе России. Гучков, в эмиграции уже, вновь и вновь возвращается к прожитому — началу революции, когда интриги двора, бюрократические склоки, разброд и шатание в Думе неуклонно подводили страну к кровавому краху. Вот как в произведении Гучков анализирует ситуацию, создавшуюся в стране накануне Октября (и идентичную ситуации конца 80-х — начала 90-х):

Отрывок из книги «Синдром Гучкова».

Государственный корабль потерял курс. Не внушая к себе ни доверия, ни симпатий, власть не может внушить даже страха. То злое, что она творит, она творит шарахаясь, без разума, какими-то рефлекторными, судорожными постановлениями и указами. Ныне в торжественных случаях произносятся старые, всем знакомые слова, но им не верят ни сами ораторы, ни слушатели. Развал центральной власти привел к дезорганизации властей на местах. Местная администрация дове-

ла произвол до невероятных размеров, переходя подчас в безумные озорства. Каков же исход того кризиса, через который мы проходим? Все сходятся на одном — грядет катастрофа. Сановники, озабоченные лишь собственной карьерой, готовят государственный переворот.

Далее герой задает себе мучительный вопрос о России. «*Рок? Врожденное отторжение западной модели? Презрение к личности? Желание страдать? Верить в Патриарха? Понятие очищающего страдания тоже ведь у нас родилось. Несчастный мой народ, такой нежный, умный, добрый, совестливый. Отчего тебе именно выпала столь страшная божья кара?!*»

...Всю жизнь папа перечитывал Салтыкова-Щедрина — творчество этого провидца потрясало его и он всерьез изучал его жизнь.

Из дневника 1963 года.

Трагикомедия получилась с великим, гениальным, лучше всех понимавшим все Салтыковым-Щедриным. (Прозорливость, по-моему, это хорошее знание того, что было и точное понимание происходящего. Это и есть два главных компонента прозорливости.) Работу о нем много лет готовил Каменев. После расстрела в 37-м году рукописями завладел с помощью Ежова Эльксберг — провокатор и одновременно лит. секретарь Каменева. Он и издал монографию о Салтыкове-Щедрине, написанную Каменевым, получил за нее звание доктора филологических наук, титул российского литератора и, кажется, премию Сталина. Такого оборота событий вряд ли мог предвидеть сам Салтыков-Щедрин, а коли мог бы, видимо, весело б посмеялся. Ему не нужны были кружки и жаркие споры о лучезарном будущем. Он все понимал, послужив в ссылке чиновником для особых поручений и вице-губернатором. А все поняв, жил один, ориентировался на себя и писал пророческие вещи, особенно ответ рецензенту по поводу «Истории города Глупова».

Отец тоже, безусловно, обладал даром политического провидения. Еще в 83-м году он сказал мне поразительную вещь:

— Скоро начнется раскачка. Если не действовать с умом, ситуация может стать неуправляемой.

— То есть? — не поняла я.

— Союз перестанет существовать. Сначала отвалятся

прибалты, потом Грузия и Средняя Азия, за ними — все остальные.

— А как же Россия? — испуганно спросила я.

Отец тяжело помолчал и, громко хрустнув пальцами, ответил:

— Всегда есть альтернативы, но, боюсь, при нашем отсутствии законов и обилии запретов власти угоднее будет воровство. В этом случае Россию ждет превращение в страну третьего мира, некий аппендикс Европы...

Отец сделал для «альтернативы» все, он был смел и честен, не его вина, если его не услышали, вернее, не захотели услышать. Весной 90-го года, давая интервью французским журналистам в связи с выходом в Париже его повести «Репортер», он еще раз сказал: «Нам дали шанс. Он — последний. Другого уже не будет». Папа редко когда ошибался, жаль, что и тогда он оказался прав.

Прошлое чревато будущим,
Минус чушь настоящего.
Мир захомутан таинством,
Памяти, связей, тягот.

Факторы предопределения,
Неучтенные логикой.
Суть горестей,
Счастья и катастроф.

Все, что когда-то грезилось
Пенно-пурпурным, чистым,
Стало чернильно-черным,
То есть, наоборот.

Начала бывают всякие.
Как правило, с пункцией веры,
Концы, увы, одинаковы, —
Птица сбита влет.

И В ЧЕРНОМ ВИЖУ БЕЛИЗНУ

Из рассказа «Дюкло».

Все чаще и чаще я ощущаю в себе натужно-звенящий звук острого топора. Его не существует самого по себе: он рождается из яростного удара бело-синего металла по медовой обнаженности беззащитной сосны «и так неистовы на синем разбеги огненных стволов...». Звук — первооснова бытия, он рождает предчувствие: до ломящей боли в сердце, явственно и близко я вижу крепкие ухватистые пальцы, упирающиеся в ствол, слышу сопение, вижу фрагмент ватников, обтягивающих плечи, натужно толкающие ствол смертельно раненной сосны и, за мгновение перед тем, как наступит момент расщепления живых тканей, — слышу рождающийся стон дерева, и потом ужасаюсь медовой ране, месту летального перелома.

Я любила встречать отца в Шереметьево-2. Атмосфера грязноватого аэропорта казалась мне почему-то праздничной, монотонный голос невыспавшейся девахи-диспетчера — привлекательным, а люди, ожидавшие своего рейса или приземлявшиеся, — счастливыми и добрыми, впрочем, так оно, наверное, и было: конец 80-х, время надежд, а сбывшихся или нет, это другой вопрос.

Вернувшись в 88-м из Франции, отец познакомил меня в депутатском зале (единственная привилегия сильных мира сего, которой он пользовался) со своим новым знакомым — инженером из Парижа: обговаривалась возможность совместной работы. Близоруко щурясь, тот смешно поправлял очки и лучезарно мне улыбался — я поняла, что с ним смогу прожить всю жизнь. Сейчас-то он, став примерным семьянином, самозабвенно возится с нашими детьми. А тогда, через полтора года, после бурного романа и еще более бурных скандалов, я оказалась в Париже одна, на седьмом месяце... Папа, бросив все дела, приехал. Он нянчился со мной, как в

детстве, не обращая внимания на мою кислую физиономию и глаза на мокром месте. Без него в редакции начинался полный разброд, интриги и хаос, но он, наплевав на бизнес, терпеливо сидел со мной в Париже. Как иначе мог поступить идеальный отец? По утрам тихонько стучал в дверь моей комнаты. Я недовольно бурчала: «Что?» — «Кашка готова, Олечка», — говорил он и шел накрывать на стол. Потом, надев голубой спортивный костюм и свои любимые черные ботинки (купил в Испании в 1975 году), отправлялся по магазинам. В рыбной лавке на соседней улочке придирчиво выбирал камбалу и карпов. Шутя и балагуря, варил на обед уху. Приговаривал, изображая местечкового еврея: «Таки я вам приготовлю такую маму, что вы закачаетэсь». Вечером, вернувшись с покупками — кроваткой, ванночкой, памперсами и прочей младенческой дребеденью, устраивал чаепитие, вырабатывая «стратегию» (его любимое выражение) моей жизни и работы и уверяя, что все идет замечательно. Затем мы смотрели обязательный детектив, и я злилась, что надо переводить (я тогда злилась ох как часто), а он делал вид, что ничего не замечает, и с увлечением, будто маленький, следил за происходящим на экране, и волосы у него на затылке, подстриженные мной коротко, под бобрик, — он так любил, смешно топорщились.

Когда ночью, по-утиному тяжело переваливаясь, я уходила к себе, отец долго ворочался на кожаном диване, кашляя и куря. Из столовой открывался потрясающий вид: весь Париж, море огней. На соседнем балконе зорко оглядывала окрестности старушенция с седыми кудельками, в доме напротив, завешанном, как флагами, сушащимися разноцветными простынями, пронзительно визжала женщина, выясняя отношения с мужем, и доносилась откуда-то тоскливая арабская музыка.

Что горше — страдать самому или видеть страдания другого? Что жальче — бессилие слабого или слабость сильного? Как научиться прощать, и забывать, и начинать все сначала? Кто скажет? Кто знает?

Вскоре приехал заместитель отца в «Совершенно секретно» Александр Плешков. Молодой — 43 года, замечательный организатор, он был незаменим, разрешая каждодневные проблемы, принимая бесконечных посетителей со статьями, предложениями и идеями. Плешков привез готовящийся к печати номер, последние новости, письма, сувениры. Мы вместе приготовили обед, после чая он принял пару таблеток.

— Что-нибудь серьезное, Александр Николаевич? — спросила я скорее из вежливости.

— Да нет, — рассмеялся тот, — травки для желудка, профилактические.

Сразу после этого Плешков ушел на встречу с вдовой писателя-эмигранта Исой Яковлевной Паниной — обговорить возможность издания его книги. Потом встретился с Эдуардом Лимоновым, печатавшимся в журнале «Детектив и политика». Вечером поехал на ужин в ресторан с коллегами (вместе работали в Москве) — журналистами Франсуа Моро и Марком Симоном из журнала «ВСД». Им подали жареные грибы, обязательную бутылку вина. По дороге в отель Плешкову стало нехорошо, начались рези. Марк Симон заволновался: «Александр, заедем в госпиталь?» — «Чепуха, пройдет», — отмахнулся тот. Через два часа Плешков, смертельно бледный, после приступа жестокой рвоты, с трудом спустился в холл отеля и, проговорив только: «Помогите, мне очень плохо», умер...

Первый раз я видела папу плачущим, когда маленькой попала под машину на Пахре. Он приехал в Филатовскую больницу прямо из аэропорта — прилетел с Кубы. Сел возле моей кровати — здоровый, сильный, загорелый, бородатый, в джинсовой рубахе нараспашку — и заплакал, но наверное оттого, что плакать не умел, сначала глаза у него стали красные-красные, как у кролика, а уж потом потекли слезы. Второй раз отец заплакал, когда утром к нам позвонили из отеля и сказали, что Плешкова не стало. Он как-то по-детски, растерянно всхлипнул и заплакал, трясясь всем телом и повторяя: «Какой ужас, какой ужас!»

Спустя несколько дней мы получили притянутое за уши заключение врача-патологоанатома о смерти в результате алкогольного отравления. Но не умирает молодой, здоровый человек от кружки пива и бокала вина! Понимали это мы, понимала и французская полиция, и тайком, опасаясь скандала, проводила расследование. Результаты его остались неизвестны. Несчастный случай или убийство? Кто мог быть заинтересован, кому была выгодна эта смерть? Что знал Плешков и кому мешал? Был ли этот удар направлен лишь против него или и против отца? На все эти вопросы ответа найти не удалось...

Через неделю отец отвез меня в утопающую в цветах клинику «Бельведер» в Булонском лесу и до вечера сидел, посеревший от ужаса (мне делали кесарево сечение), в зеркальном холле с обитыми голубым бархатом диванами и лепными потолками. Утром завалил меня и внучку Алису цветами, громко стрелял шампанским, созвал друзей: переводчицу Жоржетту Кларсфельд, жену своего издателя Бель-

фона — Франку, доктора Безыменского, Марка Симона из «ВСД», Льва Артюхина из ЮНЕСКО.

Дни эти — конец апреля — начало мая — были неистово солнечны, пронзительна зелень каштанов, лиловость и белоснежность сирени. Ночи стояли теплые, на редкость короткие, и еще затемно, до рассвета, сад вокруг клиники наполнялся пением птиц. Почти все дни папа проводил со мной и Алисой. К бело-розовой внучке, спавшей в маленькой кроватке, подходил боязливо-почтительно, заложив руки за спину, и, наклонившись, долго разглядывал. Довольно ухмылялся: «Хороша макака!» И я не обижалась, помня, что для него все младенцы макаки.

В середине мая я проводила отца в Москву: «Держитесь, Кузьмины, в августе приеду!» На столе оставил два стихотворения, написанные накануне ночью.

1

Судьбу за деньги не поймешь —
Десятки и тузы: забава,
Провал сулит — там будет слава,
Прогноз на будущее — ложь,
Ты лишь тогда поймешь судьбу,
Когда душа полна тревоги,
А сердце рвут тебе дороги,
И шепчешь лишь ему мольбу,
Простой закон — всегда люби,
Прилежна будь Добру и Вере,
И это все, в какой-то мере,
Окупит суетность пути.

2

Трагедия поколений: верил или служил?
Аукнется внукам и правнукам
Хрустом сосудов и жил,
Аукнется кровью бескровного,
Ломкостью хребта,
Аукнется ложью огромною,
Нелюди, мелкота.

Лучше уж смерть или каторга,
Лучше уж сразу конец,
Что ты у жизни выторговал?
Сухой негодяйский венец!

...А через две недели отца парализовало — инсульт. Накануне ночью, после щедро «орошенного» ужина Буратино, в очередной раз, устроила ему сцену. У папы поднялось давление, нестерпимо заболел затылок. Рано утром позвонил ко мне в Париж, говорил с трудом: «Как у вас, все хорошо?

А мне что-то совсем плохо. Ну целую вас, девочки». Через час, в машине, по дороге на переговоры с американским миллиардером Мердоком, у него отнялась речь. В Боткинской медсестры стали подробно составлять опись вещей — часы, цепочка золотая, крест.

Буратино рыдала: «Если только он выживет, я больше никогда, никогда не буду его нервировать!» Отец лежал синюшно-белый на каталке в коридоре — остановка дыхания. Дарья пыталась к нему прорваться, а пьяный врач, обдавая перегаром, не пускал: «Нельзя к нему, понимаете, не-е-льзя!» Сообразив, что случилось, другие медики отца реанимировали. Дарья с Темой Боровиком бросились в Институт нейрохирургии к папиному приятелю академику Коновалову. Валентин Шток поставил приговор: «Работать, как раньше, Юлиан не сможет никогда, а чтобы сохранить жизнь, нужна операция. Семья не возражает?» — «Не возражает».

Считается, что каждому отпущено свыше ровно столько испытаний, сколько он может выдержать. Папе, будто в наказание за его недюжинную силу, их досталось сверх всякой меры. Но он все-таки выдержал. Когда не осталось сил, держался на самоиронии, когда иссякло и это, пришло то единственное, чего ему, с его бойцовским характером, недоставало — смирение, но это позднее. А тогда, всю ночь после операции, папа лежал без сознания, под капельницей, палату освещал холодный неоновый свет, и руки у него были совсем ледяные (как же он не любил, когда они холодели). На следующий день он пришел в себя, через сутки стал заигрывать с медсестричками, пытался встать и начинал драться, когда подняться не позволяли, пришлось врачам привязать его к постели. Они только диву давались: «Ну и сила, ну и мужик! Не может он этого на четвертый день после операции делать!» Все это время папа силился спросить у Дарьи: «Где Ольга?» Она успокаивала: «У Ольги все хорошо, скоро приедет». А я и не знала ничего — от меня произошедшее скрывали, чтобы не летела с трехнедельной Алисой.

Врачи разрешили посещения друзьям и знакомым, но предупредили: «Восьмой день — кризисный, сосуды так плохи, что возможен рецидив». Ночью он наступил. Медбрат и медсестра, дежурившие тогда, сообщили Дарье, что накануне вечером к отцу приходили двое мужчин в штатском, с удостоверениями. После их визита и произошел второй удар. Ему сделали повторную операцию, и он впал в кому на долгих полтора месяца...

Кто были эти посетители? Зачем им понадобилось навещать отца поздним вечером, тайком, наедине? Что они ему

сказали? Что сделали? Через несколько дней медбрат с медсестрой вдруг заявили, что никто не заходил, показалось им это, и все тут.

...Папа часто читал Библию, по-бунински гадал по ней и не раз, особенно в последние годы повторял: «Многие знания — многие печали».

Я уверена, что уход отца был угоден многим. Он слишком многое знал и понимал, чтобы его не боялись. Папа был прав, предсказав, что российской власти будет угодно воровство, но, пожалуй, даже он не мог представить себе его размаха. Начиналась величайшая, невиданная еще «ловля рыбы в мутной воде», наступала воровская воля. Присутствие знаменитого писателя, публично, в собственной газете, ратовавшего за свободу — для всех, закон — для всех, а главное, — выпуск и распределение акций всех предприятий между рабочими, становилось все более нежелательным. «Эвон, что "прыткий" придумал, акции им давать! Жили нищими, и будут жить». Папа превратился в своеобразный взрывной механизм замедленного действия — ждать, когда «рванет», кто-то не захотел. Тут и последовала необъяснимая смерть Плешкова, затем «срежиссированные» истерики Буратино, потом ночные визитеры. Неизвестно, что они ему сказали или сделали, но своего добились — отец хоть и выжил, но выпал из обоймы и перестал быть опасен. «Многие знания — многие печали...»

Каждый день в течение полутора месяцев Коновалов приходил и разговаривал с неподвижно лежащим отцом, брал за руку: «Юлик, ты меня слышишь? Юлик, пожми мне руку!» Бесполезно. Коновалов виновато улыбался, похлопывал Дарью по плечу и уходил... Дыхание — через трубку, трахеотомия, кормление — через тоненький шланг, вставленный в нос. Медсестрички никак не могли понять, почему заблокирована правая ноздря, Дарья объяснила, что это со времен боксерских боев, когда сломали нос.

Пришел папин любимый экстрасенс Владимир Иванович Сафонов. Двадцать лет назад отец лежал со страшным прострелом — не мог шевельнуться. Сафонов, появившись тогда впервые, подержал несколько минут руки над его спиной (папа почувствовал в тот момент обжигающее тепло) и сказал:

— Вставайте.

— Не смейтесь, я и повернуться-то не могу, — простонал отец.

— Вставайте! — повторил Сафонов.

Отец боязливо приподнялся на кровати, потом встал: боль исчезла. Вот и не верь после этого в чудеса...

В больнице, цепко оглядев папу пронзительно-светлыми глазами, Сафонов сказал: «Надежда умирает последней». Приходил еще несколько дней кряду, подолгу оставался, пассировал... Вскоре Дарья, мо́я папу с двумя сестричками, прошептала: «Не дай бог подумает, что мы его обмываем». И тут отец, всхлипнув, открыл глаза и из них потекли слезы. Сама того не зная, она применила шоковую терапию, и это подействовало. Появилась гвардия врачей: речевик, иглотерапевт, массажист. Папу начали поднимать, сажать. (Лицо у него в эти моменты становилось синюшно-белым.) Я уже приехала, и мы с Дарьей по очереди сидели подле него. Пришел Александр Мень. Знавший папу прежним, в первую минуту растерялся. Потом встал рядом, тихо говорил что-то доброе, благословил, оставил свою книжку. Ушел, пообещав навещать. Через три недели его убили — зверски, цинично, подло.

Вскоре приехал некоронованный король мюнхенской мафии — Фима Ласкин. Маленький, широченный, как шкаф, хриплоголосый. Отец, узнав его за год до этого в Германии и пожалев (Фима рвался в Россию, а его не пускали), сделал невозможное: ему разрешили приехать на несколько дней на родину. Фима тогда ликовал: «Все обещали, а не получалось! Даже Иося Кобзон не смог, а Юлик сделал! Разрешили приехать, через шестнадцать лет, а разрешили!»

Вскоре Фиму зарежут в центре чистенького Мюнхена, возле его красной гоночной машины, которой он так гордился. Полиция насчитает 14 ножевых ударов, почти все смертельные...

...Через несколько месяцев газета и издательство отправили отца на восстановление в знаменитую инсбрукскую клинику в Австрии. Городок Инсбрук провинциален и тих. Величественны старинные каменные мосты, загадочны старинные улочки с совсем по-андерсеновски сказочными домиками XV столетия (в одном из них останавливался маленький Моцарт с отцом). Красивы белоснежные, под стать склонам, на которых они стоят, современные дома с необъятными балконами и бассейнами на плоских крышах. Огромная клиника находится в самом центре города и уважаема из-за замечательных профессоров, прилетающих каждый понедельник из Вены, а на выходные возвращающихся к себе в столицу. В клинику приезжают пациенты со всего мира, много иностранцев было и в неврологическом отделении, куда положили отца.

Уже на следующее утро с ним начали работать логопед и специалист по восстановлению движения — обе молоденькие женщины. Речью, как истинный литератор, отец занимался охотно, а занятия по движению возненавидел. Ему-то и сидеть долго было тяжко, а тут заставляют ходить и укреплять спину, привязывая ремнями к специальному тренажеру — хочешь не хочешь — стой. Мне его было мучительно жалко, я подходила, подбадривала. Папа сердито смотрел в сторону невозмутимой «мучительницы» в белом халате и тихонько говорил: «Олечка, она — гадина»... Зато после обеда, когда заканчивались занятия, я надевала на него дубленку, смешную ушанку, сажала в кресло на колесиках, и мы ехали на прогулку вокруг клиники, или, если было солнечно, в старый город, или еще дальше — в парк, где уже в феврале расцветает мать-и-мачеха, хрустит гравий под ногами, пахнет хвоей и совсем по-подмосковному перекликаются синички. В одну из прогулок мы проезжали мимо городского кладбища: из ворот вышла крохотная сухонькая старушка. На мгновение почувствовав ее одиночество, я, как когда-то у Шагала, спросила: «Что же у нее осталось?» — «Память», — снова ответил отец.

Память. Все верно... Когда вам становится тяжело, ночь тянется бесконечно, леденеют пальцы и мир видится бессмысленным и злым, вспомните их, ушедших. Ярко, как на экране, вы увидите лица, смеющиеся глаза, услышите голоса, почувствуете тепло рук. И оттает что-то внутри, и отступит комок от горла, и жизнь не будет уже казаться жестокой самодуркой, потому что станет ясно: пусть в конце, но примирение со всеми, а значит, с собой неизбежно, и вы перестанете страшиться прощаний, ведь, прощаясь, пусть даже навсегда, мы все равно обречены на встречу...

Первую неделю отцовским соседом по палате был молоденький паренек. По утрам медсестры умело перестилали ему постель. Он смотрел на них и тихо говорил «данке». Каждый день приходила его сестра — Сааля, маленькая женщина в длинном черном пальто и поношенных кожаных сапогах. Сначала она подходила к отцу: «старший», почтительно здоровалась, потом шла к брату. Протирала его лицо губкой, доставала из пакета прозрачный, светившийся на солнце виноград, мыла его, тревожно улыбалась и говорила, говорила...

За окном падал крупный снег, поэтому, наверное, и горы, и домики на склонах, и высокие ели казались нереально красивыми, кукольными.

Потом приехала его мама-старушка. Она смотрела на сына сухими глазами и гладила по голове. Раз во время тихого

часа, когда отец задремал, Сааля сказала мне: «Пойдем с нами, я угощу тебя настоящим турецким кофе. У нас есть дом, где мы собираемся, — все, кто приехал из Курдистана. Там хорошо, тебе понравится».

С гор дул холодный промозглый ветер, он зло трепал расклеенные по всему городу плакаты с призывом помочь детям Курдистана. Снег таял, день был сер и неприветлив. Сааля шла торопливо, если попадались лужи, брала меня под руку и заботливо обводила. «Осторожно, мама, — предупреждала она старушку, — лужа». Но та лишь поправляла на голове платок и беззвучно шептала что-то, щуря сухие, как прежде, глаза.

В доме было людно. Когда мы вошли, все повернулись в нашу сторону, но в глазах не было мелкого любопытства, только спокойный, достойный интерес. К Саале подошли подруги — стеснительные женщины с золотыми браслетами на запястьях, подбежали ее дети — удивительно красивые девочка и мальчик.

— Здравствуй, — сказал мне мальчик, — меня зовут Рахмат, но в школе я — Майк.

Он задрал рукав майки — на руке красовалась переводная картинка — страшная морда с клыками.

— Тебе нравится моя татуировка? — строго спросил Рахмат, испытующе глядя мне в глаза.

— Очень, — честно ответила я, — обожаю татуировки.

Мальчик закатал другой рукав: там гримасничала еще одна страшная рожа.

— Красиво, — похвалила я.

Рахмат крепко пожал мне руку и отошел к мужчинам. А девочка с огромными, доверчивыми, как у олененка, глазами лишь улыбнулась и поцеловала меня в щеку... Потом мы пили крепкий, ароматный кофе. Вспомнились Пицунда и кафе среди сосен, которое папа так любил. «Брат очень болен, — сказала Сааля, — мой муж тебе лучше объяснит, он вчера говорил с доктором». И муж Саали рассказал, как ее двадцатилетний брат приехал в Тироль и как хорошо работал. Как радовался, что может помогать старенькой маме, и как в один день все кончилось, потому что он не смог встать с кровати, и никто не понимал почему. И только недавно умные доктора (здесь, в Тироле, прекрасные доктора, спасибо им) выяснили, что это опухоль в голове.

Я вспомнила далекую Москву, институт Бурденко, где папа лежал, и маленького Коленьку — десятилетнего паренька, мечтавшего, когда вырастет, стать историком. У него была неоперабельная опухоль мозга. Он лежал много

месяцев, и к нему приходила мама. Она была блондинка, но все равно я замечала, как с каждым днем она седела. Она читала сыну сказки, тихонько попискивало что-то в аппарате искусственного дыхания, а за окном, во дворе, сердито чирикали воробьи и пыльно шумели деревья. Когда «уходил» кто-то тяжелый из реанимации, там кричали безутешные вдовы и матери, и крики их еще долго потом отзывались жалобным эхом в лабиринтах больничных корпусов... Я вспомнила и сказала: «Все обойдется, вот увидите. Сейчас это лечат облучением». И мы заговорили о новых методах лечения, лекарствах, о частых случаях выздоровления, и глаза Саали и ее мужа стали такими же по-оленьи доверчивыми, как у их детей, и только старенькая мама по-прежнему что-то беззвучно шептала, поправляя платок.

Утром, как всегда, я пришла в клинику к отцу: пустая кровать паренька белела чистыми простынками. Что-то в груди, похожее на теннисный мячик, оборвалось, отрикошетило от пола и быстро заколотилось о солнечное сплетение. Подошла медсестра в белоснежном халатике. «Этого пациента нет, — тихо сказала она и добавила, поясняя: — Его забрали на Рождество домой»... В клинику он больше не вернулся, на его место положили старенького, кротко улыбавшегося пастора...

...В турецком доме, как всегда, людно. Пахнет кофе и морем. Здесь обсуждают дела, узнают новости, делятся бедами.

— Салям алейкум, — говорит входящий.

— Алейкум асалям, — негромко отвечают ему.

А снег все идет и идет. Он уже укутал горы и засыплет скоро весь городок.

В перерывах между папиными занятиями я читала ему книги, иногда написанные накануне стихи. Спрашивала с замиранием сердца, как всегда, когда ждала отцовской оценки: «Что-нибудь переделать?» — «Ничего не переделывай, хорошо», — хрипло шептал папа: связки порвали, когда переводили в Москве на искусственное дыхание, и голос не восстанавливался.

Папа, папа... Как же он умел слушать, как умел направлять (никогда не исправлять), как умел и любил хвалить, как баловал похвалами, когда Дарья показывала ему свои картины, а я читала детские, наивные стихи.

«Раскрепоститесь, Кузьмы, — повторял он, — творчество не терпит зашоренности. Дунечка, это гениально, но не бойся цвета, бесстрашно-яркого... Олечка, замечательные стихи, только не прячься, не бойся первого лица, это не есть выпячивание себя, лишь утверждение себя, как личности. Смелость и еще раз смелость!»

Благодарю тебя за добрые стихи,
И ветер стих, и улеглось ненастье,
Конечно, это штрих, еще не счастье,
А мы до горя больно все легки;
Я чую — знак беды угас,
Как зимняя звезда — на небосклоне,
И, честно говоря, хоть жизнь на склоне,
Теперь уж и минута, словно час,
Умру я ненадолго — отоспаться —
И завтра к вам вернусь со склона Мухалатки,
Целую вас, пока, мои ребятки.

Через два месяца отец, с трудом, правда, приволакивая ногу, обязательно со мной или медсестрой под ручку, начал ходить. Педантичная врач заново научила его пользоваться вилкой и ножом, и он послушно «пилил» тонкие ломтики ветчины и диетические хлебцы. Но потом улучшение прекратилось. Может, оно было невозможно с медицинской точки зрения — у любого, перенесшего инсульт, есть «потолок». Но, вернее всего, отец просто понял, что отныне не будет прежней работы в редакции «Совершенно секретно», до ночи, когда рядом молодые Тема Боровик и Дима Лиханов со скептическим прищуром умнющих глаз, и старенькая секретарь Зоя Ивановна, проведшая в сталинских лагерях четверть века и оттого злая на вид, но на самом деле очень добрая. Не будет больше Мухалатки с письменным столом, за которым, спрятавшись ото всех, можно работать по шестнадцать часов в сутки. Не будет многокилометровых прогулок с Рыжим, когда только небо, деревья и море внизу загадочно и огромно. Не будет горнолыжных спусков, Памплоны, чаепитий с Сименоном, встреч, друзей, планов, книг, одним словом, всего, что прежде было его жизнью. Он понял это и отверг, посчитав ненужной комедией, и ходьбу на помочах, и лечебную гимнастику... Отец возвращался в Москву на коляске, похудевший, — Тема внес его в самолет на руках, как перышко. В Шереметьеве ждала вся команда «Совершенно секретно», но подошедшей Багале он тихо сказал: «Я хочу в Мухалатку, один». Но даже этого врачи разрешить не могли: «Сосуды истончены донельзя, смена климата и высоты чревата новым ударом». Отец вернулся на Пахру.

Приехал Кеворков — как всегда, элегантный, веселый. Посидев с папой, вышел к нам, улыбка с лица сошла, глаза потемнели: «Уберите все ружья. Если Юлик до них доберется, то сомневаться не будет ни секунды».

Летом 1991 года на съезде исполкома МАДПР в Москве было решено, что Артем Боровик, начавший работать в «Совершенно секретно» обозревателем, а после смерти А. Плешкова ставший папиным заместителем, на время болезни заменит его на посту главного редактора. Несмотря на формулировку, всем было ясно, что шансов вернуться к активной жизни у отца нет.

Третий инсульт случился через год. После него отец целыми днями лежал, безучастно глядя перед собой. По-бычьи крепкий, взрывной, хохочущий, работающий по шестнадцать часов в сутки Семенов исчез. Остался худой белобородый старик с измученным, страдальчески-прекрасным, почти иконописным лицом. Два раза в неделю приходил здоровенный массажист и деловито, по-мясницки как-то растирал его. Мама аккуратно давала прописанные таблетки и перестилала простыни.

Что значит — «сердце переполнено любовью»?
Я слышу в этой фразе моментальность,
Которая, как вспышка, ослепит,
А после темнота еще теснее станет.

Тогда как светлячок,
Зеленый страж ночей,
Всю жизнь свою
Подвержен только тленью...
Не объяснишь же тленье — ленью?
А постоянный шум запруд
Желаньем «не пускать».

Я славлю постоянство — сопутствие запруд и светляков,
Я против «вспышек» и «переполнений».
Как только «пере» — значит, через край,
И ад не в ал и рай не в рай.

Больше всего бойтесь моментальности.
Моментальное фото — фото уродов...
И даже моментальность смерти уродлива,
Потому что умиранию должно предшествовать раздумье...

Старайтесь медленнее жить,
И не спешите,
Старайтесь видеть все вокруг —
Без ослепления...

Только тогда вы сможете нести в себе
Заряд того спокойного добра,

Который так нужен людям,
Уставшим от битв, предательств, глупости
И ослепительных деклараций, «переполняющих сердца».

...Утром 19 августа 1991 года мама в ужасе заметалась: «Юличка, что это?! Сколько продлится?» Отец шепотом ответил: «Дня три» — и повернулся к стене. А когда через несколько месяцев началась полная политическая неразбериха и она пыталась разговорить его снова, он отрешенно, глядя в никуда, ответил: «Какое нам с тобой до этого дело». Вот и все... Оживал, когда сестра приводила сыновей: Максима и Филиппа, или плясала Алиса, или мы читали «Гиперболоид инженера Гарина»: сначала оживали глаза, а потом он улыбался своей прежней улыбкой и в комичных местах беззвучно смеялся. Приехал профессор Шкловский, давнишний папин знакомый. После осмотра вышел, обратился к маме: «Сигарету дайте! Вообще-то я бросил, но сейчас надо закурить». Успокоился, выпив коньяку. Уезжая, сказал: «Сосуды плохи, четвертый инсульт может произойти в любую минуту и будет последним... Радуйтесь, что он жив, пока».

Отец ушел 15 сентября 1993 года, не дожив до шестидесяти двух. Как Хем.

Произнесены речи. Отслужен молебен. Разъехались поминавшие. Пусто. Захожу в отцовскую комнату. Фотографии, сувениры, кинжалы, арбалеты.

У отца было два имени: данное при крещении — Степан, по-гречески — венец, и мирское — Юлиан, в переводе — солнечный. Значит, вместе — солнечный венец — красиво и очень точно...

За окном темень, шумит холодный осенний ветер, срывая последние листья с деревьев. Льет дождь, и оттого, что отца нет, кажется, что утро, когда, как он любил цитировать фразу Фадеева из «Разгрома», «надо будет жить и выполнять свои обязанности», не наступит никогда. Ложусь на папину медицинскую кровать — железное дно, железные загородки — тюрьма какая-то.

Медленно, неуклюже ворочаются мысли. Разобрать архив... Полное собрание сочинений... ДЭМ не успел закончить его выпуск, а отец так мечтал... Его дом в Мухалатке... ведь там каждый сантиметр кричит о нем. Большая часть фотографий и писем, два магнита по сторонам стола — защита от злой энергии, лампа — аквариум, а в нем — смешные плюшевые песики — его талисманы, и запах его табака,

и трубка деда, и книги, книги... Открыть дом для визитов... Уже сейчас забредают туристы и пугливо отрывают листики дикого винограда с забора... Леля очень больна, где-то найти человека, чтоб следил... Мысли, тяжелые, как булыжники, голова горит. Тишина в доме оглушительна. Вдруг где-то совсем рядом, у окна, в изголовье, начинает петь сверчок — как в повести отца «Он убил меня под Луанг-Прабангом». «Возле окна запел сверчок. Файн долго слушал, а потом — неожиданно для самого себя — заплакал. Он включил диктофон и поднял микрофон, чтобы песня сверчка явственнее записалась на пленку. Он долго сидел с вытянутой рукой и, улыбаясь, плакал, слушая, как пел сверчок. А когда он замолчал, Файн сказал в микрофон: "У времени добрая песня"».

В своей диссертации Тавриз Аронова сравнила книги отца с книгами Гарсия Маркеса, утверждая, что у обоих обилие имен, фамилий, дат, названий городов и деревень, частые перечисления создают у читателя ощущение огромности мира, только Маркес таким путем показывает разобщенность, бессмысленность всего и вся, а отец, наоборот, убеждает во взаимосвязанности всех нас, в логичности всего происходящего, в высшей мудрости и доброте. Что ж, она права.

Не говори: «Последний раз
Я прокачусь сейчас по склону».
Не утверждай: «В рассветный час
Звезда бесстыдна в небосклоне».

Не повторяй ничьих причуд,
Чужих словес и предреканий,
Весна — пора лесных запруд
И обреченных расставаний.

Не плотью измеряют радость,
Не жизнью отмечают смерть.
Ты вправе жить. Не вправе падать
В неискренности круговерть.

Упав — восстань! Опрись на лыжу,
Взгляни на склона крутизну.
Я весел. Вовсе не обижен.
И в черном вижу белизну.

Сверчок пел всю ночь. А потом наступило утро. У времени добрая песня.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА ЮЛИАНА СЕМЕНОВА

1931, 8 октября — в Москве родился Юлиан Семенов.

1941—1942 — эвакуация с мамой Г. Н. Ноздриной в город Энгельс.

1945, май — август — поездка в Берлин к отцу.

1949, июнь-июль — поступает в Институт востоковедения.

1952, апрель — арест отца — С. А. Ляндреса. Исключение из института и комсомола.

1954 — восстановление в институте. Сдача государственных экзаменов. Рекомендован в аспирантуру МГУ. Работает старшим лаборантом на историческом факультете и преподает афганский язык в МГУ.

1955, 12 апреля — женитьба на Е. С. Михалковой.

1956 — знакомство с ответственным секретарем «Огонька» Г. А. Боровиком. Пишет первые рассказы, а также репортажи для «Огонька». Командировки в Среднюю Азию, Сибирь, Афганистан.

1958, июнь — рождение дочери Дарьи.
Поездка в Китай с Н. П. Кончаловской. Командировки в Ирак, Ливан и Исландию.

1959, июнь-июль — поездка с женой и дочерью в Эстонию. Работает над книгами «Дипломатический агент» и «Чжунго нинь хао», которые в этом году выходят в свет.

1960, 14 сентября — вступление в Союз писателей СССР. Поездка в Финляндию на Фестиваль молодежи от ЦК ВЛКСМ.
Работает корреспондентом журнала «Смена». Командировка в Ирак. Работает над рассказами под общим названием «Уходят, чтобы вернуться», повестью «49 часов 25 минут», которые в этом году выходят в свет.

1961 — поездки на Северный полюс, в Коктебель, Махачкалу. Работа над повестью «При исполнении служебных обязанностей».

1962 — командировка на Дальний Восток от «Огонька», работа в архивах. Стажировка на Петровке. Поездка в Гагры. Пишет роман «Петровка, 38», пьесу «Дети отцов».

1963 — покупка дачи в поселке «Красная Пахра». Знакомство с Романом Карменом. Работа над романом «Пароль не нужен».

1964—1965 — поездка в Монголию, съемки фильма «Исход». Поездка в Польшу для сбора материалов к роману «Майор Вихрь». Работает над повестью «Дунечка и Никита».

1966 — выход в свет романа «Майор Вихрь», книги рассказов под названием «Новеллы».

1967, февраль — рождение дочери Ольги.
Март — поездка с дочерью Дарьей в Чехословакию.
Май — поездка на Северный полюс.
Декабрь — командировка во Вьетнам военным корреспондентом «Правды».

1968, январь — поездка во Вьетнам. Знакомство с принцем Суфановонгом.
Май — поездка в США.
Июнь — смерть отца.
Поездки в ГДР, Западный Берлин, Чехословакию для сбора материалов к роману «Семнадцать мгновений весны», сборнику репортажей «Вьетнам — Лаос». Выход в свет этих произведений.

1969 — командировки в Австралию, Японию, Малайзию и Сингапур корреспондентом «Правды». Знакомство в Токио с подругой Рихарда Зорге — Исии-сан. Выход повести «Он убил меня под Луанг-Прабангом». Начало работы над сценарием «Семнадцать мгновений весны».

1970 — первая поездка в Испанию от Комитета кинематографии. Поездки в США, Сингапур, ГДР. Работа над романами «Бомба для председателя», «Бриллианты для диктатуры пролетариата». Награжден медалью «За доблестный труд».

1971 — поездка в Испанию по приглашению испанских друзей.
Декабрь — поездки во Францию, Бразилию (Буэнос-Айрес), Чили (Сантьяго). Работа над сценарием «Семнадцать мгновений весны».

1972, июль-август — поездка с семьей в Болгарию и Венгрию.
Ноябрь — командировка во Францию от Комитета кинематографии. Работа над романом «Огарева, 6», повестью «Нежность», фильмом «Семнадцать мгновений весны».

1973 — командировки в Испанию, Андорру, Францию. Поездки в Югославию (Загреб, Белград), Венгрию.
Июнь — знакомство с Шандором Радо в Будапеште.
Пишет романы «Альтернатива», «Испанский вариант».

1974 — поездка в Испанию. Встреча со Скорцени. Работает над рассказом «Скорцени — лицом к лицу», историческим детективом «Третья карта». В этом же году они выходят в свет.

1975 — поездки в Японию, Испанию, США. Встреча с Эдвардом Кеннеди. Выход романа «Третья карта», книги рассказов под названием «Возвращение в Фиесту». Начало работы над романом-хроникой «Горение» о Ф. Э. Дзержинском (1-я и 2-я книги).

1976, апрель — командировка от «Литературной газеты» в Португалию.
Июль — поездка на Кубу.
Август — путешествие по Абхазии с дочерью Дарьей. Вручение Государственной премии РСФСР им. Горького.

1977 — поездка в Италию. Работает над повестью «Каприччиозо по-сицилийски».
Август — поездка в Абхазию с дочерьми.

1978, март — командировка в Польшу на съемки советско-польского фильма о Ф. Э. Дзержинском.
Апрель — поездка в ГДР на съемки фильма «Жизнь и смерть Фердинанда Люса» по повести «Бомба для председателя».
Август — поездка в Крым с дочерьми. Работа над романом «ТАСС уполномочен заявить».

1979—1982 — работа собкором «Литературной газеты» по Западной Европе. Встречи с Карлом Вольфом и Альбертом Шпеером. Знакомство с Сержем Лифарем, бароном Фальц-Фейном, А. Штайном, М. Шагалом, Ж. Сименоном. Поездка в Крым. Работает над романами «Смерть Петра», «Приказано выжить». «Противостояние», «Лицом к лицу». Выход в свет этих романов, а также книги рассказов и повестей под названием «Дождь в водосточных трубах». Работает над сценариями к фильмам «ТАСС уполномочен заявить» и «Крах операции “Террор”». Награждается орденом Дружбы народов, присваивается звание заслуженного деятеля искусств.

1983 — строительство дома в Крыму, в Мухалатке. Поездки во Францию и Швейцарию. Работает над произведениями «Аукцион»,

«Гибель Столыпина», «Псевдоним», «Пересечения», «Пресс-центр», «Межконтинентальный узел», сценарием к фильму «Противостояние». В этом году эти романы выходят в свет.

1984 — поездки в Аргентину (Буэнос-Айрес), Чили, Парагвай. Работа над романами «Экспансия-1» и «Псевдоним». Выход их в свет.

1985 — поездки в Китай с делегацией советских писателей, в Афганистан и Никарагуа с дочерью Дарьей. Поездка в Чехословакию (Карловы Вары). Работает над романом «Экспансия-2» и повестью «Научный комментарий». Выход в свет этих произведений. Работает над сценарием «Лицом к лицу».

1986, апрель — поездка в Англию с дочерью Ольгой на съемки фильма «Лицом к лицу» от Госкино СССР. Поездка в Латинскую Америку. Работа над романом «Экспансия-3».

1986 — избрание президентом Международной ассоциации писателей детективного и политического романа.

Май — поездка в США с дочерью Ольгой на вручение премии Эдгара По. Поездка во Францию. Знакомство с Себастьяном Жапризо. Избрание в члены Нью-Йоркской Академии наук.

1988, июль-август — поездки с дочерью Ольгой в Испанию, Францию, Италию. Создание советско-французского издательства ДЭМ. Работа над произведениями «Репортер», «Ненаписанные романы», «Отчаяние».

1989, 13 мая — создание Московской штаб-квартиры Международной ассоциации писателей детективного и политического романа. Выход в свет первых номеров журнала «Детектив и политика», газеты «Совершенно секретно».

Июль-август — трансантарктическая экспедиция на самолете Ил-76 (Москва — остров Кинг Джордан — Москва). Проведение съезда МАДПР в Ялте. Поездки в Германию, США, Мексику (Акапулько) на очередной съезд Международной ассоциации писателей детективного и политического романа. Работа над романами «Тайна Кутузовского проспекта», «Синдром Гучкова», пьесой «Процесс-38».

1990, февраль—апрель — поездки в Германию, Францию.

20 мая — в Москве у писателя произошел инсульт.

Ноябрь — поездка в Австрию на лечение в инсбрукскую клинику.

1991, апрель — возвращение в Россию.

1991—1993 — болеет, живет на даче в Пахре.

1993, 15 сентября — в кремлевской больнице умер Юлиан Семенов. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

Абрамов С. Лицом к лицу // Правда. 1984. 26 мая.

Аннинский Л. А. Спор двух талантов // Литературная газета. 1959. 20 октября.

Он же. О политическом романе // Дружба народов. 1984. Декабрь.

Он же. Ядро ореха. М., 1965.

Аронова Т. И. Альтернатива Юлиана Семенова как цикл политических романов (проблемы, герои, жанр). Диссертация. М., 1986.

Медведев Ф. Воспитывать доброту // Огонек. 1981. № 40.

Чемесова А. Кто же виноват в сталинизме? // Посев. 1962. Июль.

Barbara Nasaroff. Julian Semenov // Lire. Mars.1990.

Christine Nasso. Contemporary authors. V. 85—88. 1980.

David Remnick. A Russian who has fun with secrets // International Herald Tribune. 1989. November 23.

Walter Laqueur. Julian Semyonov and the Soviet political novel // Culture and society. 1986. August 7.

СОДЕРЖАНИЕ

Семенова О. Ю.

С 30 Юлиан Семенов. — М.: Молодая гвардия, 2006. — 277[11] с.: ил. — (Жизнь замечат. людей: Сер. биогр.; Вып. 1012).

ISBN 5-235-02924-0

Эта книга о жизни и творчестве легендарного писателя, автора известных остросюжетных политических детективов «Семнадцать мгновений весны», «ТАСС уполномочен заявить», «Петровка, 38», «Огарева, 6» и многих других. Талантливый писатель предстает перед нами как крупная цельная личность — принципиальный человек, заботливый отец и любящий муж. Автор — дочь писателя Ольга Семенова удачно включила в канву повествования воспоминания друзей и коллег писателя: академика Евгения Примакова, актера Льва Дурова, барона Эдуарда Фальц-Фейна, письма родных, отрывки из произведений писателя. Именно благодаря этим документам мы можем более полно представить личность родоначальника жанра политического детектива в нашей стране.

УДК 821.161.1.0(092)
ББК 83.3(2Рос=Рус)6

Семенова Ольга Юлиановна
ЮЛИАН СЕМЕНОВ

Главный редактор **А. В. Петров**
Редактор **Е. М. Лопухина**
Художественные редакторы **Е. В. Кошелева**
Технический редактор **Н. И. Михайлова**
Корректоры **Т. И. Маляренко, Г. В. Платова, Т. В. Рахманина**

Лицензия ЛР № 040224 от 02.06.97 г.

Сдано в набор 05.04.2006. Подписано в печать 03.07.2006. Формат 84x108/32. Бумага офсетная № 1. Печать офсетная. Гарнитура «Таймс». Усл. печ. л. 15,12+1,68 вкл. Тираж 5000 экз. Заказ 63536.

Издательство АО «Молодая гвардия». Адрес издательства: 127994, Москва, Сущевская ул., 21. Internet: http://mg.gvardiya.ru. E-mail:dsel@gvardiya.ru

Типография АО «Молодая гвардия». Адрес типографии: 127994, Москва, Сущевская ул., 21.

ISBN 5-235-02924-0